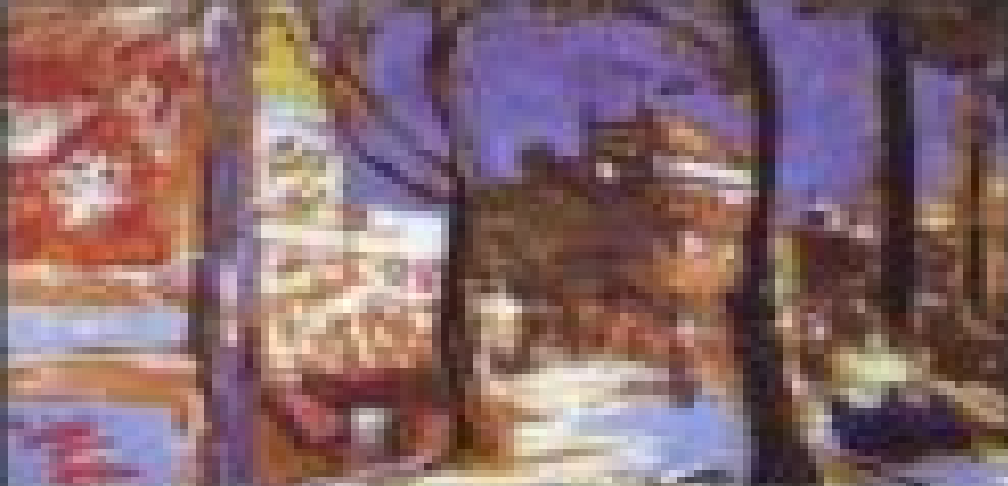


# БОДЛЕР



Анри  
Мруэзия



ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

## Annotation

Шарль Бодлер — одно из ключевых имен французской литературы XIX века. Его «Цветы зла» стали настольной книгой и в России, в каком-то смысле определив направление, по которому стала развиваться русская литература в конце XIX — начале XX столетия. Его жизнь, полная страстей, увлечений и разочарований, — еще одно произведение искусства, которое оставил нам Бодлер.

Автор книги Анри Труайя (настоящее имя Лев Тарасов) — старейший и общепризнанный мастер биографического жанра, его перу принадлежат многочисленные биографии деятелей литературы и искусства, а также крупнейших исторических персонажей XVIII–XX веков.

- [Анри Труайя. Бодлер](#)
  - [КНИГА ОБ ОТЦЕ СОВРЕМЕННОЙ ЕВРОПЕЙСКОЙ ПОЭЗИИ](#)
  - [Глава I. ОТЕЦ](#)
  - [Глава II. МАТЬ](#)
  - [Глава III. ОТЧИМ](#)
  - [Глава IV. УЧЕБА](#)
  - [Глава V. ЮНОСТЬ](#)
  - [Глава VI. ПРИЗВАНИЕ](#)
  - [Глава VII ВЕЛИКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ](#)
  - [Глава VIII. ОПЕКУНСКИЙ СОВЕТ](#)
  - [Глава IX. ЖАННА](#)
  - [Глава X. РАЗРЫВ С СЕМЬЕЙ](#)
  - [Глава XI. ПЕРВЫЕ ШАГИ В ЛИТЕРАТУРЕ](#)
  - [Глава XII. РЕВОЛЮЦИЯ 1848 ГОДА](#)
  - [Глава XIII. ЭДГАР ПО](#)
  - [Глава XIV. ГОСПОЖА САБАТЬЕ И МАРИ ДОБРЕЙ](#)

- [Глава XV «ЦВЕТЫ ЗЛА»](#)
- [Глава XVI. ПРИТЯЖЕНИЕ ОНФЛЁРА](#)
- [Глава XVII. ВОСХИЩЕНИЕ](#)
- [Глава XVIII. НОВЫЕ «ЦВЕТЫ»](#)
- [Глава XIX. АКАДЕМИЧЕСКАЯ ГОРЯЧКА](#)
- [Глава XX. БЕДНАЯ БЕЛЬГИЯ!](#)
- [Глава XXI. ПРОКЛЯТЬЕ!](#)
- [ИЛЛЮСТРАЦИИ](#)
- [ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА ШАРЛЯ БОДЛЕРА](#)
- [КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ](#)
- [notes](#)
  - [1](#)
  - [2](#)
  - [3](#)
  - [4](#)
  - [5](#)
  - [6](#)
  - [7](#)
  - [8](#)
  - [9](#)
  - [10](#)
  - [11](#)
  - [12](#)
  - [13](#)
  - [14](#)
  - [15](#)
  - [16](#)
  - [17](#)
  - [18](#)
  - [19](#)
  - [20](#)
  - [21](#)
  - [22](#)
  - [23](#)
  - [24](#)

- [25](#)
- [26](#)
- [27](#)
- [28](#)
- [29](#)
- [30](#)
- [31](#)
- [32](#)
- [33](#)
- [34](#)
- [35](#)
- [36](#)
- [37](#)
- [38](#)
- [39](#)
- [40](#)
- [41](#)
- [42](#)
- [43](#)
- [44](#)
- [45](#)
- [46](#)
- [47](#)
- [48](#)
- [49](#)
- [50](#)
- [51](#)
- [52](#)
- [53](#)
- [54](#)
- [55](#)
- [56](#)
- [57](#)
- [58](#)
- [59](#)
- [60](#)

- [61](#)
  - [62](#)
-

# **Анри Труайя. Бодлер**

## КНИГА ОБ ОТЦЕ СОВРЕМЕННОЙ ЕВРОПЕЙСКОЙ ПОЭЗИИ



*Charles Baudelaire.*

Когда-то в молодости я работал в Большом Спиридоньевском переулке и часто любовался стильно-экзотическим зданием на соседней улице Алексея Толстого — настоящим итальянским палаццо, по верху которого бежали латинские буквы: Gabriel Tarassoff, —

там находилось польское посольство. Позже я узнал, что этот дом, построенный Иваном Владиславовичем Жолтовским в 1912 году для очень богатого купца (торговца текстилем) Гавриила Тарасова, действительно представляет собой почти точную копию палаццо Тьене, возведенного Андреа Палладио в Виченце еще в XVI веке (Жолтовский любил говорить: «Я по крайней мере знаю, у кого что украсть, а молодые [архитекторы] и того не умеют»). Каково же было мое изумление, когда позже я узнал, что итальянский дворец на Спиридоновке принадлежал семейству Тарасовых, один из отпрысков которого — всем известный член Французской академии и лауреат Гонкуровской премии Анри Труайя.

Впрочем, все по порядку. Будущий французский лауреат и академик Леон (Лев) Тарасов родился 1(14) ноября 1911 года в Москве в особняке у Никитских Ворот, на углу Скатертного и Медвежьего переулков (палаццо на Спиридоновке тогда еще только строилось). А дальше начинаются сплошные загадки. В любом современном справочнике можно прочесть, что Анри Труайя — французский писатель русского происхождения. Но вот только что появилась в русском переводе подробнейшая автобиография писателя — «Моя столь длинная дорога» (М.: Эксмо, 2005), написанная в форме бесед с французской журналисткой М. Шавардес, и из нее мы с удивлением узнали, что по происхождению Льва Тарасова как раз русским-то вроде и не назовешь. В самом деле, по отцу он черкес-гай, то есть черкес-христианин. Его предка звали Торос, и царские чиновники подарили ему русифицированную фамилию Тарасов. Родом он был из Армавира, тогда черкесско-армянской крепости, а точнее — большого аула. Отца Льва Тарасова звали Аслан, в доме все говорили по-черкесски. В Екатеринодаре (ныне Краснодар) Аслан Тарасов встретил красавицу Лидию



Абессаломову, и эта встреча решила его судьбу. Лидия по матери была немка, по отцу же — армяно-грузинского происхождения. Вот мы и докопались до армянских корней Льва Аслановича Тарасова, будущего Анри Труайя. А как же с русским происхождением? Очень просто: Россия была гигантской многонациональной империей, в богатой московской семье Тарасовых Лев получил русское образование, хотя французская гувернантка (впрочем, родом из Швейцарии) с самого нежного возраста также участвовала в его воспитании. Попав во Францию, кем же должен был стать черкесско-армянско-грузинско-немецкий Лев Асланович Тарасов? Разумеется, русским. Так что по большому счету справочники все-таки правы. Ни черкесского, ни армянского языка Лев Тарасов не знал и не знает. Зато русский и французский стали для него двумя родными языками.

Журналистка М. Шавардес спросила его: мог бы он писать на родном, русском языке? Он ответил: «Я мог бы написать по-русски письмо, но мне было бы чрезвычайно трудно написать по-русски книгу. Для этого мне нужно было бы долго жить в России, погрузиться в самую атмосферу языка, выработать свой собственный словарь, найти собственный ритм, словом, заново научиться ремеслу писателя. Нет, я только французский писатель». Но несколькими строками ранее «только французский писатель» делает поразительно интересное наблюдение над особенностями русского языка: «Сравнивая французский язык с русским, я прихожу к выводу, что слова русского языка гораздо теснее связаны с предметом. Когда я произношу многие русские слова, образ предмета тотчас с какой-то жизнеутверждающей силой возникает в моем сознании. Русский язык — простой, сочный... тогда как французский отшлифован веками употребления. Французский, кроме того, язык

более абстрактный, и чтобы добиться выразительности на этом языке, я не могу довольствоваться обычным словом, как я сделал бы это по-русски, часто мне приходится подбирать к обычному слову эпитет, который усилил бы его воздействие». Иначе говоря, в русском языке эпитет как бы вплавлен в само слово, и это слово не требует другого для усиления выразительности. Драгоценное признание!

Льву Тарасову было девять лет, когда в 1920 году его родители, после многих испытаний и приключений, выбрались из России и через Константинополь попали во Францию. К этому времени Лев знал французский язык не хуже русского и после лицея поступил на юридический факультет Сорбоннского университета, который и закончил в 1933 году. Уже в 1935-м вышел первый его роман «Обманчивый свет» (русский перевод вышел в Ленинграде в 1989 году), а в 1938-м его третий роман «Паук» получил высшую литературную премию Франции — Гонкуровскую. Так в 27 лет Анри Труайя стал литературной знаменитостью. Роман «Паук» написан в традициях Достоевского: холодный эгоцентрик-литератор подчиняет своей власти трех своих сестер, выдает их замуж за ненавистных для них торговцев и в конце концов кончает с собой, чтобы даже посмертно приковать их к своей особе чувством вины за его несложившуюся жизнь.

После этой книги Труайя был в замешательстве. Как повторить успех «Паука»? И тут пришла спасительная идея: можно ведь написать не роман, а книгу документального, биографического жанра. Так появился «Достоевский» (1940), за которым последовали «Пушкин», «Странная судьба Лермонтова», «Николай Гоголь», «Лев Толстой», «Максим Горький» и даже «Марина Цветаева». Все эти книги теперь переведены на русский язык. Не менее внушителен и список биографий Анри Труайя, посвященных русским

царям и деятелям русской истории: «Иван Грозный», «Петр Великий», «Екатерина II», «Николай I», «Александр II», «Николай II», «Распутин». Все эти книги тоже переведены на русский язык (главным образом в московском издательстве «Эксмо»). Поразительно, что за 85 лет своей эмиграции писатель ни разу не побывал на родине, хотя за последние 20 лет, наверное, никаких внешних препятствий для этого не было. Наверное, были тому какие-то внутренние причины. Зато в книгах своих Труайя постоянно пребывает на родине. Одна из них даже называется «Повседневная жизнь в России во времена последнего царя» (1959). Писатель нашел необычную форму для своего повествования: придумал некоего вполне ординарного француза Жана Русселя, который отправляется в загадочную для него Россию в 1902 году. Отдельные главы рассказывают о православной церкви, царе и его окружении, суде и армии, крестьянах и рабочих, трактирах и ночлежках. Три главы посвящены регионам: Нижний Новгород и Макарьевская ярмарка, Волга и «Сто ликов Москвы». Книга вышла в парижском издательстве «Ашетт» в популярной серии «Повседневная жизнь», многие выпуски которой в переводе на русский продолжают выходить в издательстве «Молодая гвардия».

Имеют ли биографические книги Анри Труайя научную ценность, вводят ли они в оборот новые, неизвестные ранее даже специалистам материалы? Безусловно. Это относится особенно к тем биографиям, для которых в архивах Франции можно отыскать немало документов. Приведу только один пример. В 1946 году вышла биография Пушкина, принадлежащая перу Анри Труайя. Автор изучил семейный архив Дантесов в городе Сультсе (Франция) и нашел там неизданные письма Жоржа Дантеса к своему приемному отцу Геккерену. В одном из них Дантес пишет: «Сейчас у меня роман с самой красивой

женщиной Петербурга. Она отвечает мне полной взаимностью, но муж безумно ревнив». Первоначально эти несколько слов о взаимности повергли в настоящее смятение пушкинистов Франции и России. Правда, к чести наших исследователей, надо сказать, что уже через три-четыре года письма были переведены и изданы в Москве в одном из серьезных научных сборников — «Звенья». Разумеется, много нового исторического материала и в биографиях Александра II, и в биографии Ивана Сергеевича Тургенева.

Но пора обратиться и к нашему изданию биографии Бодлера. Она вышла в издательстве «Фламмарион» в 1994 году. Пожалуй, это будет первая подробная биография великого поэта на русском языке. Читая ее, невольно вспоминаешь бесконечно грустную историю последних лет жизни Пушкина: вечное отсутствие денег, растущие долги, неудачи в литературных и издательских начинаниях... Если бы только Бодлер мог знать, что в XX веке он станет одним из самых влиятельных поэтов не только Франции, но и всей Европы! Русский символизм, например, немыслим без Бодлера, в частности без его программного сонета «Соответствия».

Что, собственно, совершил Бодлер? Он впервые в Европе показал и доказал, что можно создавать поэзию, находясь внутри технизированной и насквозь коммерциализированной цивилизации. Конечно, это уже совсем другие стихи. Не случайно Виктор Гюго сказал, что Бодлер создает «новый трепет». Сам Бодлер назвал эти стихи «Цветами зла».

В свое время Жан Поль Сартр провозгласил Стефана Малларме величайшим поэтом, которого создала Франция. Но сам Малларме говорил, что начал там, где кончил Бодлер, то есть продолжил его путь. Более того, из биографии Малларме мы знаем, что родители будущего поэта дважды отнимали у юноши

«неприличную» книгу стихов Бодлера. Напрасно: юный Стефан нашел третий экземпляр «Цветов зла» и не просто «усвоил» его, а заучил наизусть. Бодлер перевел на поэтический язык все прозаические рассказы Эдгара По — Малларме перевел все стихи великого американца, — правда, честной французской прозой, не дерзнув на стихотворное переложение обожаемого поэта.

Из книги Анри Труайя читатель узнает много нового о Бодлере. Например, я со студенческих лет помню почти наизусть «Альбатрос» Бодлера и, пожалуй, догадывался, что Бодлер мог видеть альбатросов во время знаменитого своего путешествия на остров Маврикий в Индийском океане. Но только из книги Труайя узнал, что все описанные в сонете издевательства матросов над раненым альбатросом поэт видел своими глазами на палубе корабля и, конечно, вступился за птицу, за что и был изрядно избит. Сонет же заканчивается сравнением альбатроса с поэтом: и тому и другому гигантские крылья, предназначенные для небес, мешают ходить по земле.

Т. С. Элиот в своей замечательной статье «Бодлер» (1930) называет его «фрагментарным Данте», то есть он полагает, что 125 стихотворений «Цветов зла» дают как бы фрагменты «Божественной комедии» XIX века. Позволю себе привести в своем переводе только одну цитату из замечательного дневника Бодлера «Мое обнаженное сердце»: «Истинная цивилизация не в газе и не в паре... Она в умалении следов первородного греха». Нужна была острота зрения Элиота, чтобы увидеть в безвольном декаденте великого христианского поэта.

Станислав Джимбинов

## Глава I. ОТЕЦ

После кончины своей жены Розали, ушедшей в мир иной 22 декабря 1814 года, Жозеф-Франсуа Бодлер считал, что ему уже нечего ждать от жизни. В пятьдесят пять пора отказаться от желаний, борьбы и надежд, не так ли? Вспоминая прошлую жизнь, он обнаружил, что она слишком отягощена событиями, и желал только мира и уединения. Родился он 7 июня 1759 года в Ланевиль-о-Пон (департамент Марна) в зажиточной семье землевладельцев-виноделов. Единственный сын в семье, он изучал философию и теологию в Парижском университете и был рукоположен в сан священника в 1785 году. Однако его больше привлекало преподавание, чем богослужение. Тотчас после посвящения в духовный сан аббат Франсуа Бодлер был приглашен герцогиней и герцогом Антуаном де Шуазёль-Праслен в качестве наставника их сыновей. Но очень скоро разразилась Революция... С благородной самоотверженностью Франсуа Бодлер взял под свою защиту детей бывших аристократов и постарался смягчить участь родителей, брошенных в тюрьму санкюлотами. Между тем 19 ноября 1793 года он официально отрекся от сана священнослужителя. Впрочем, это отречение, которого требовала республиканская власть, не означало каких-либо сделок с совестью. Через три с половиной года, 9 мая 1797 года, в эпоху Директории, аббат-расстрига женился и зарегистрировал во второй мэрии Парижа свой брак с Жанной-Жюстиной-Розали Жанен.

Затем режим опять сменился: после Конвента наступил период Консульства; потом началась эпоха Империи. К счастью, у Франсуа Бодлера были знакомства во всех слоях общества. Благодаря своему

умению вести себя он получил тепленькое местечко начальника канцелярии в Сенате и обеспечил достойную жизнь своей семье. Но семье не хватало для счастья главного: у Франсуа и Розали, к великому их огорчению, не было детей. И вдруг, после почти восьмилетнего супружества, свершилось чудо: 18 января 1805 года у них родился сын, его назвали Альфонсом. Все свои надежды они стали возлагать на него. Увы, не успел он выйти из детского возраста, как семью постигло несчастье. У Розали обнаружилась болезнь легких, стремительно подтачивавшая ее силы. После нескольких месяцев ужасных мучений она умерла. Отпевали ее, как и полагалось, в церкви Сен-Сюльпис. Так что в десятилетнем возрасте Альфонс остался сиротой. С ним рядом — надломленный горем отец. Чтобы отвлечься от мрачных мыслей, вдовец занялся живописью. Талант у него, бесспорно, имелся, а среди друзей было несколько известных художников. Их поддержка помогла ему пережить горе. Некоторые приходили к нему в Сенат в надежде получить официальный заказ от сильных мира сего. Один из них, Жан-Батист Реньо, написал его портрет: выющиеся волосы, густые черные брови, крупный нос, тонкие губы в иронической улыбке, прямой, властный взгляд. По мнению современников, этот высококультурный человек с насмешливым умом, равно сильный и в дискуссии, и в живописи, пронес через все политические бури убеждения республиканца.

Среди близких людей дороже всех ему был Пьер Периньон, бывший соученик по коллежу «Сент-Менуль». Еще при жизни Розали он часто посещал эту многолюдную веселую семью своего однокашника, проживавшую в Отёе. Дочки хозяина дома, известного адвоката, не скрывая восторга, встречали Франсуа Бодлера, приезжавшего в карете с гербами Сената, с лакеем на запятках. Слуга, в напудренном парике и

ливрее с золотыми галунами, по обычаю стоял во время обеда за спиной господина и обслуживал его. На самом деле этот слуга был по совместительству сторожем, выделенным в распоряжение Франсуа Бодлера соответствующей службой Верховной Ассамблеи. Среди роя девчонок, замороженных гостем, его непринужденностью и блеском речей, оказалась и некая Каролина Аршембо-Дюфаи, чья юная грация тронула Франсуа Бодлера, хотя он сам этого поначалу не заметил. Дочь бедного офицера, эмигрировавшего в Лондон во время Революции, она осталась сиротой в семилетнем возрасте и выросла у Периньонов, удочеривших и воспитавших ее. Ей исполнился двадцать один год, когда скончалась Розали. Всем сердцем она жалела благородного и печального господина, продолжавшего посещать их дом, пытавшегося как-то развеять свою печаль. Говорили, что этот человек с седеющей головой и черными как уголь бровями обладает не только блестящим умом, но и «наивной добротой, подобно Лафонтену».

После падения Империи Франсуа Бодлер оставил свою должность в Сенате, а вместе с ней и апартаменты в Люксембургском дворце, ушел в отставку и принялся заниматься живописью ради одного только удовольствия находить все новые и новые сочетания красок. Теперь вместе с сыном Альфонсом он проживал на улице Отфёй в доме 13 с фасадом, украшенным башенкой. И продолжал регулярно посещать семью Периньон. С годами он все больше подпадал под очарование юной Каролины. Иногда ему приходило в голову, что если бы не его шестьдесят годков да не утрата всех жизненных иллюзий, то он, может быть, и решился бы просить руки двадцатипятилетней девушки. В течение некоторого времени он отгонял эту мысль как совершенно абсурдную. А потом внезапно решился. И, к великому своему изумлению, получил



согласие. В самом деле, озабоченный прежде всего тем, как бы пристроить свою воспитанницу, Пьер Периньон не увидел ничего предосудительного в том, чтобы уложить невинную девушку в постель к старику, к тому же лучшему другу семьи. А юная девственница, по тем временам уже очень и очень взрослая, с гордостью сменила надоевшее звание «мадемуазель» на важное и представительное «мадам». Брачный контракт подписали 6 сентября 1819 года в доме в Отёе, а 9 сентября Франсуа и Каролина зарегистрировали свой брак в одиннадцатой мэрии Парижа, на улице Гарансьер, 10.

Это вторжение молодости в жизнь безутешного вдовца пробудило пылкость Франсуа Бодлера. Не прошло и года после свадьбы, как жена забеременела. Весьма гордый этим своим подвигом, он с нетерпением ожидал начала новой жизни. Радость его достигла апогея, когда 9 апреля 1821 года Каролина родила ему сына, Шарля-Пьера. В четверг, 7 июня, младенца крестили в церкви Сен-Сюльпис. Крестными стали, естественно, г-н и г-жа Периньон. Они поставили свои подписи в церковной книге рядом с подписью отца, Франсуа Бодлера, начертавшего в графе, где требовалось указать профессию, — «художник».

И действительно, его страсть к живописи все усиливалась. Квартиру на улице Отфёй украсили как собственные его картины, написанные гуашью, пастелью и маслом, так и статуи или слепки, выполненные скульпторами того времени. Мебель он подобрал строго из эпохи Людовика XVI, повсюду расставил разные художественные поделки. Из приличия супруги обзавелись отдельными спальнями. В спальне Каролины — мебель из красного дерева и черешни, много старинной керамики. Спальня Франсуа служила ему одновременно и библиотекой, и

кабинетом. Детская выходила окнами в сад, а комната Альфонса — во двор.

Когда Шарль еще пешком под стол ходил, Альфонс уже учился на юридическом факультете. В 1824 году он получил диплом лиценциата, а на следующий год начал работать адвокатом, мечтая стать со временем судьей. Отношения с мачехой у него сложились вполне доброжелательные, и к своему сводному братишке он не питал никаких враждебных чувств. Эту счастливую семью обслуживали две служанки. Утомленный возрастом Франсуа Бодлер мало бывал в свете, отчего и жена его свыклась с сидячим, даже затворническим образом жизни. Каролина научилась сдерживать свои порывы, живя рядом с мужем, который был старше ее на целых тридцать четыре года. Ведь замуж она вышла, руководствуясь чувствами благодарности и смирения. Вся ее радость состояла в том, чтобы любоваться маленьким Шарлем, восторгаться его улыбками, капризами, первым лепетом. Не оттого ли, что отец у него оказался преклонного возраста, мальчик рос и умненьким, и шумливым, и очень легко возбудимым? Из-за пустяка он приходил в восторг, а то и испытывал первые приступы гнева.

Чтобы приобщить сына к прелестям искусства, Франсуа Бодлер часто водил его в Люксембургский сад. Там, сжимая в своей большой сухой ладони легонькую ручонку мальчика, он шел ровным шагом, останавливаясь перед статуями и стараясь объяснить, в чем состоит их красота. Шарль не понимал и половины того, что говорил отец, но слушал его с уважительным вниманием, поднимая глаза к его морщинистому лицу, с седой шевелюрой над черными густыми бровями. Порой Франсуа Бодлер предавался воспоминаниям и рассказывал, горестно вздыхая, о событиях времен Революции и Империи. В сознании мальчика формировался образ беспокойного мира, наполненного

абсурдными событиями, насилием и — элегантными видениями и удовольствиями. В глазах юного Шарля его компаньон по прогулкам был стар, как самое старое дерево Люксембургского сада, и отягощен буквально всеми познаниями и о земле, и о людях.

К сожалению, на шестом году жизни мальчика назидательные прогулки по Люксембургскому саду стали более редкими. Франсуа Бодлер жаловался на постоянную усталость, из-за которой он практически перестал выходить из комнаты. Приходил врач и подолгу сидел у его изголовья. В Доме пахло лекарствами. Каролина выглядела обеспокоенной и потихоньку плакала, прижимая сына к себе. 10 февраля 1827 года, в три часа пополудни, больной в присутствии своей жены испустил последний вздох. Через два дня его похоронили на Монпарнасском кладбище, без отпевания в церкви. Священник-расстрига не имеет права на божественное утешение перед смертью. Пусть сам занимается своим спасением в ином мире!

## Глава II. МАТЬ

Еще больше, чем потеря отца, ребенка удручало горе матери. Видеть ее бледной, печальной и в черном траурном платье было тяжело. Вместе с тем он странным образом чувствовал себя счастливым от сознания, что теперь она любит только его. Он хотя и восхищался мужчиной с густыми темными бровями, но все же угадывал в нем соперника. Ему казалось, что знаки внимания, которые оказывала мужу его нежная покорная супруга, были украдены ею у сына. Теперь никаких препятствий между нею и Шарлем не существовало. Ни с кем не надо было больше делиться. Она принадлежала ему отныне целиком, со своим печальным взглядом и нежной полуулыбкой, с мимолетной лаской и благоуханием, которыми он упивался, когда она прижимала его к своей груди. Он знал в деталях все ее платья со всеми их финтифлюшками, все драгоценности, потихоньку вдыхал запах ее белья, сложенного в шкафу, ее мехов. Самая сладкая минута — это когда мать склонялась над его кроватью, чтобы поцеловать на ночь. Тут он испытывал такую таинственную сладость, что хотел бы упиваться ею долго-долго. Обнимая мать за шею и касаясь губами ее нежной, теплой щеки, он был убежден, что после смерти отца может и даже должен лелеять ее за двоих. И она тоже, казалось, ни о чем другом не думала, кроме как о том, чтобы ему угодить. Конечно, для неприятных обязанностей, таких как умывание, чистка зубов, причесывание, одевание, потребление пищи, посещение туалета, существовала Мариэтта, ворчливая служанка, грубоватая и преданная. Но зато все, что касается нежности, забав и

загадочности, исходило от мамы, и он только и думал о том, как бы почаще пробуждать эту ее нежность к нему.

Однако Каролина тяготилась своим вдовством. Пока был жив муж, она не знала материальных забот. А тут они обрушились одна за другой на нее, еще не пришедшую в себя от утраты. Был срочно созван семейный совет, чтобы решить, как защитить интересы сына-сироты. Каролине разрешили на правах законной опекунши получить после описи имущества наследство, оставленное Франсуа Бодлером на имя Шарля. Но как только список имущества был составлен, Альфонс потребовал своей доли отцовского состояния. Началась долгая процедура раздела, и в результате доходы Каролины, запутавшейся в цифрах, оказались сведены к ренте в две тысячи франков — эта сумма была предусмотрена Франсуа Бодлером при подписании брачного контракта.

Летом 1827 года она уехала с сыном на несколько недель в домик, снятый в Нёйи, недалеко от Булонского леса. Там ей удалось отдохнуть от всех хлопот и неурядиц, еще больше внимания уделяя Шарлю, который потом с восторгом вспоминал об этом побеге на природу:

Средь шума города всегда передо мной  
Наш домик беленький с уютной тишиной;  
Разбитый алебастр Венеры и Помоны,  
Слегка укрывшийся в тень рощицы зеленой,  
И солнце гордое, едва померкнет свет,  
С небес глядящее на длинный наш обед,  
Как любопытное, внимательное око;  
В окне разбитый сноп дрожащего потока;  
На чистом пологe, на скатерти лучей  
Живые отблески, как отсветы свечей. [\[1\]](#)

Увы, уже в конце сентября им пришлось вернуться на улицу Отфёй. Квартира в доме с башенкой была слишком велика и слишком обременительна для вдовы с ребенком. Каролина благоразумно продала на аукционе часть мебели и картин и переехала в более скромную квартиру на площади Сент-Андре-дез-Ар.

Новое жилище тоже понравилось Шарлю, хотя он и воспринял переезд как чересчур резкое расставание с прошлым. Зато тут он почувствовал себя еще ближе к матери. Его страстная любовь к ней усиливалась с каждым днем. Вспоминая об этом светлом времени, он написал много лет спустя в той части личных дневников, которые назвал «Фейерверками»: «Раннее влечение к женщинам. Запах мехов я путал с запахом женщины. Помню... В общем, я любил мать за ее элегантность». В этом же духе, в «Опиомане» («Искусственный рай») он описал, намекая на собственный опыт, детство английского писателя Томаса де Квинси, где речь идет о первых переживаниях его героя в мире, населенном одними женщинами: «Мужчины, воспитанные женщинами и среди женщин, не совсем похожи на других мужчин [...] Мужчина, с самого начала и надолго оказавшийся в мягкой атмосфере женщины, в аромате ее рук, ее груди, колен, волос, ее просторных и мягких одежд [...] перенимает у нее нежность кожи и особенности интонации, некую двуполость, без которых гений, даже самый самобытный и мужественный, остается по отношению к совершенству в искусстве существом неполноценным. В общем, я хочу сказать, что именно ранний вкус к женскому „миру“, *mundi muliebris*, ко всей этой изменчивости, к блеску и аромату, порождает гениев высшего порядка».

Шарлю хотелось, чтобы эта их идиллия между матерью и сыном длилась бесконечно. То было безгрешное сладострастие, счастье до возникновения

Зла, ощущение надежности и ощущение телесного единства, уютный замкнутый мирок, живущий по законам эгоистических привычек влюбленной пары. Но с некоторых пор Каролина явно переменялась. Весной 1828 года к ней стал наведываться с визитами некий офицер в безукоризненной форме, с увешанной наградами грудью и взглядом победителя. Время от времени они выходили вместе в свет, оставляя Шарля на попечение Мариэтты, которой вроде бы нравилась подобная перемена в укладе жизни. На вопрос мальчика она ответила, что этого господина зовут майор Опик. Шарля заинтриговала странная фамилия. Не правда ли, похоже на название куста с острыми колючками? Уже одно звучание этого слова заставляет насторожиться. В действительности же Жак Опик — военный с замечательным послужным списком. Сын ирландского офицера, погибшего в войне за Францию, он окончил училище для детей военнослужащих — Сен-Сирский коллеж, участвовал в походах императора в Австрию, Испанию, Саксонию, затем присоединился к Наполеону во время «Ста дней», но при Реставрации не пострадал — благодаря покровительству князя Хлодвиг Гогенлоэ. Получив орден Почетного легиона, а затем большой крест Святого Людовика, он быстро продвигался по службе. Находясь на хорошем счету, он очень скоро занял должность командира батальона. Когда он познакомился с Каролиной, ему было тридцать девять лет, а ей тридцать пять. И возраст, и вкусы оказались вполне совместимыми. Каролина все чаще и чаще произносила в присутствии Шарля с подчеркнуто безразличной интонацией имя этого любезного, но чопорного и словно выросшего в свой мундир человека.

Однажды, постаравшись все же смягчить удар, она сообщила сыну, что скоро вторично выйдет замуж. Со дня похорон Франсуа Бодлера прошло к тому времени немногим больше полутора лет. Срок для вдовы не

слишком долгий! Шарль был ошеломлен. Первой его реакцией стал бунт. Он-то полагал, что мать думает только о нем, а тут какой-то чужак тайком занял его место. Лаская и обнимая сына, она коварно изменила ему. Теперь он становился действительно сиротой. Снедаемый ревностью, он сперва избегал майора Опики, когда тот приходил в их дом, но потом, видя, что этот человек полон наилучших намерений по отношению к нему, смирился. Со своей стороны, Альфонс, все еще живший в квартире на площади Сент-Андре-дез-Ар, начал подумывать о женитьбе на некой девице, Фелисите Дюсесуа. Он считал вполне нормальным, что его мачеха готовится «начать жизнь заново». Его одобрительное отношение к планам Каролины привело к тому, что и сводный брат в конце концов смирился с грядущими переменами. Шарль пришел к выводу, что этот «претендент», надо надеяться, будет не хуже любого другого и что, если уж так складываются обстоятельства, приятнее иметь отца, у которого не стариковская внешность. Главное ведь, чтобы мать была счастлива, не так ли? Судя по тому, как Каролина выглядела, она находилась на вершине женского блаженства. Похоже, она даже похорошела.

Получив от начальства разрешение жениться на вдове Каролине Бодлер, майор Опик поспешил опубликовать в газете объявление о предстоящем бракосочетании в десятой мэрии Парижа. 31 октября 1828 года семейный совет принял к сведению проект брачного договора и назначил будущего супруга вторым опекуном Шарля. 4 ноября в присутствии мэтра Лаби, нотариуса в Нёйи, был подписан брачный контракт, а 8 ноября в присутствии нескольких свидетелей из близких людей мэр назвал Жака Опики и Каролину мужем и женой. Во время первого бракосочетания Каролина не имела права на церковное



венчание, а вот на этот раз она не преминула им воспользоваться. Чета получила брачное благословение в церкви Святого Фомы Аквинского. Шарль в торжестве, скорее всего, не участвовал. Оставшись дома с Мариэттой, он и сам не знал, радоваться ли тому, что у него теперь есть новый отец, или горевать оттого, что мать впускает чужака в свою спальню.

Молодожены поселились в доме 17 по улице Бак, но пробыли вместе совсем недолго: вскоре после свадьбы Опику пришлось уехать в Люневиль, где его ждала должность адъютанта при маршале Гогенлоэ. Перед этим он отправил супругу в деревню Во, вблизи Крейя, в департаменте Уаза. Она направлялась туда как бы затем, чтобы отдохнуть у хорошей знакомой мужа, г-жи Энфрэ. Но были и другие причины:

2 декабря 1828 года у нее случился выкидыш, произошло это в присутствии врача, который и сообщил об этом случае в мэрию. Мертворожденная девочка была зачата до бракосочетания, что могло бы запятнать репутацию матери. По-видимому, именно неуместная беременность и побудила Опику ускорить оформление своего брака с Каролиной. С пустой утробой и безоблачным настроением та провела в деревне положенные три недели, а незадолго до Рождества вернулась в Париж, где ее радостно встретили Шарль и Мариэтта. Они отправились навстречу ей на остановку прибывшего из Крейя дилижанса, а затем на извозчике все вместе добрались до улицы Бак. «Я помню одну прогулку в фиакре, — писал Бодлер матери 6 мая 1861 года. — Ты приехала тогда из больницы, где тебе пришлось некоторое время пожить, и показывала мне, чтобы доказать, что думала обо мне, рисунки пером, сделанные специально для меня».

После этого выкидыша, о котором она старалась никому не рассказывать, Каролина стала наслаждаться удовольствием быть образцовой супругой при

великолепном муже, в почтенной семье, наслаждаться привилегированным общественным положением, квартирой, где есть все, чего ни пожелаешь. Овик опять был рядом с ней. Все вернулось на круги своя. Месяц спустя она писала своему пасынку, по-прежнему жившему на площади Сент-Андре-дез-Ар: «Спешу сообщить Вам, дорогой Альфонс, что я приехала из деревни и наконец обустроилась в Париже. Если окажетесь вблизи улицы Бак, заходите к нам, поболтаем, пообедаем по-семейному; Ваш братишка все время говорит о Вас и будет очень рад Вас повидать. Господин Овик тоже будет счастлив увидеть Вас в нашем доме, а я, дорогой Альфонс, питающая к Вам материнские и дружеские чувства, жду Вас просто с нетерпением».

Она горячо приветствует идею женитьбы Альфонса на мадемуазель Фелисите Дюсесуа, за которой двадцатичетырехлетний юноша настойчиво и деликатно ухаживал на протяжении уже нескольких месяцев. 30 апреля 1829 года Шарль присутствовал на венчании и свадьбе, где песни перемежались с речами. Овик в своем мундире, увешанном орденами, выглядел за свадебным столом очень эффектно. Однако скоро в его карьере произошел серьезный сбой. После смерти 31 мая 1829 года его покровителя, князя Гогенлоэ, Овика отправили в особый запас. Бездействие угнетало его. Он метался по квартире, как зверь в клетке. Наконец, в июне 1830 года, его прикомандировали к штабу Африканской экспедиционной армии, и он, оставив в Париже восхищавшуюся им и объятую тревогой супругу, отправился в Алжир. Там его военно-организаторский талант быстро позволил ему получить звание подполковника.

Пятнадцать месяцев длилось отсутствие отчима, и Шарль каждый день и час наслаждался возможностью быть единственным властелином материнского сердца.

Но как только воин вернулся, небо для сына вновь затянулось тучами. Опик, выглядевший еще более торжественно, чем прежде, раздражал своей самоуверенностью, своими безапелляционными высказываниями обо всем на свете. Шпоры на его сапогах звенели, и голос его разносился далеко за пределами супружеской спальни. Шарлю было неприятно видеть, как мать поддакивает буквально во всем этому решительному сабленосцу. Она не спускала с него влюбленно покорных глаз и просила сына называть его «другом» и «большим другом». Шарль нехотя подчинялся. Хотел он того или нет, он полностью находился во власти человека в мундире. Мир женственности, в котором он так любил укрываться, оказывался оскверненным этим мужским присутствием. Даже воздух в квартире изменился. К тонким маминым духам примешивался теперь запах казармы.

По настоянию Опики Шарль 3 октября 1831 года поступил в седьмой<sup>[2]</sup> класс королевского коллежа Карла Великого. Но не успел он завести друзей, как произошла еще одна перемена в его жизни. 25 ноября 1831 года подполковник Опик получил приказ выехать в Лион, где вспыхнуло восстание ткачей. Привыкший незамедлительно повиноваться, Опик упаковал чемоданы и, поцеловав жену и пасынка, отправился к месту назначения. А тем временем в доме не стало Мариэтты. То ли ее уволили, то ли она тихо скончалась, во всяком случае ее заменила безымянная служанка. В доме никогда не было недостатка в прислуге. Много позже, вспоминая о няньке, ухаживавшей за ним в детстве, Бодлер написал:

Служанка скромная с великою душой,  
Безмолвно спящая под зеленью простой,  
Давно цветов тебе мы принести мечтали!

У бедных мертвецов, увы, свои печали...<sup>[3]</sup>

Шарль, которому шел тогда одиннадцатый год, надеялся, что разлука родителей будет долгой, а может быть, и окончательной. Но и муж, и жена скучали друг без друга. И вот в январе 1832 года Опик решил вызвать в Лион Каролину с ее сыном. Перспектива переезда взбудоражила Шарля — забыв о своих неудовольствиях, он радостно ждал перемен. Путешествие в дилижансе от Парижа до Лиона, по бургундской дороге через Осер, в те времена длилось три с половиной дня, приходилось часто менять лошадей. Дождь ли, ветер ли или крутой подъем — пассажиры выходили из экипажа. Шарля веселили эти приключения, и он вышагивал впереди всех, словно маленький разведчик. Кто-то за спиной у него однажды произнес: «Этот маленький господин бежит один впереди по большой дороге!» Он был преисполнен гордости оттого, что незнакомый человек назвал его «господином».

Тотчас по приезде в Лион он отправил Альфонсу письмо: «Первое проявление маминой рассеянности: когда вещи ее грузили на империал, она спохватилась, что нет ее муфты, и театрально воскликнула: „А где же муфта?“ А я ей спокойно отвечаю: „Я знаю, где она, сейчас принесу“. Она забыла ее в кабинете на банкетке. Сели в дилижанс и наконец тронулись в путь. Что касается меня, то первое время меня очень раздражали все эти муфты, грелки, меховые мешки для согревания ног, мужские и дамские шляпы, пальто, подушки, большое количество одеял, всякого рода колпаки, туфли, теплые тапочки, ботинки, корзинки, варенья, фасоль, хлеб, салфетки, всякие вареные куры, ложки, вилки, ножи, ножницы, нитки, иголки, булавки, гребенки, платья, огромное количество юбок,

шерстяных чулок, хлопчатобумажных чулок, надетых один на другой корсетов, сухарей и еще всего такого, что я уже всего и не помню. Понимаешь, брат мой, каково было мне, такому непоседе, ехать, сидя неподвижно, только поглядывая в окошко. Но скоро я стал опять веселым, как обычно. В Шарантоне мы сменили лошадей и поехали дальше; названий следующих станций я не помню и поэтому перехожу к вечеру. В конце дня я видел очень красивое зрелище: закат солнца. Его красноватый цвет очень интересно контрастировал с темно-синими горами. Я надел шелковый ночной колпак и, откинувшись на спинку экипажа, подумал, что мне очень понравилось бы провести всю жизнь в путешествиях [...] Твой братишка Шарль Бодлер».

Закончив письмо, он добавил в постскриптуме: «Не забудь поцеловать от меня мою сестру<sup>[4]</sup> [...] Мама и папа шлют тебе наилучшие пожелания». На этот раз он написал слово «папа», имея в виду подполковника Опики, без всякого над собой усилия. После короткого периода ревности, протеста и бунта он понял, что повторный брак его матери имеет не только отрицательные стороны. В ту пору его мятущаяся душа не знала покоя: Шарль склонен был считать себя исключительной личностью, несчастным сиротой, и в то же время стремился быть таким, как все другие дети, быть частью целого, быть частью семьи, где есть не только мама, но и папа (подполковник Опики), и брат (Альфонс), и сестра (жена Альфонса), ибо семья, особенно большая, — это залог солидности и надежности. То он хотел быть, как все, то — единственным в своем роде; то — благословенным, то — проклятым. Он и не подозревал тогда, что всю свою жизнь будет вот так метаться между желанием

выделяться из общего числа и желанием чувствовать себя счастливым вместе со всеми.

## Глава III. ОТЧИМ

Детство прочно ограждено от исторических событий. Беспорядки в Париже в июле 1830 года, падение Карла X, воцарение вместо него Луи-Филиппа не оставили в сознании маленького Шарля никаких воспоминаний. Когда он приехал в Лион, восстание ткачей уже было потоплено в крови. На какое-то время потрясенный бунтом рабочих этот старинный город быстро обрел свое прежнее чопорное спокойствие и буржуазное достоинство. Очень скоро там перестали вспоминать о тех несчастных, которые заплатили жизнью или свободой за дерзкое требование повысить им зарплату. А Опику за активное участие в восстановлении порядка в Лионе назначили начальником штаба 7-й дивизии в Лионе, находившейся под непосредственным началом герцога Орлеанского.

Поначалу Шарлю понравилась перемена в его жизни, но разочарование не заставило себя ждать. Лион показался ему грязным, серым, туманным и скучным городом. К тому же он надеялся счастливо жить в семье, а его записали в пансион Делорм, а затем в интернат при королевском коллеже. Он не понимал, почему мать согласилась расстаться с ним, коль скоро он мог бы днем учиться в коллеже, а по вечерам возвращаться домой. По-видимому, г-н Опик, сторонник дисциплины, хотел, чтобы пасынок воспитывался в строгости. По убеждению этого военного человека коллеж являлся не более чем этапом на пути к казарме. Для того чтобы вырос мужчина, достойный называться мужчиной, необходимы строгий режим, барабанный бой, обтирание холодной водой, отвратительная еда и непременно грубые простыни. И Каролина, по-прежнему

податливая, против своей воли соглашается с таким приговором.

Смирившись, Шарль учил уроки, корпел над сочинением стихов на латинском языке и тщетно пытался завести друзей среди однокашников, хотя те и казались ему скрытными и замкнутыми. «Мне нечего тебе сказать, если не считать того, что теперь я не выношу жителей Лиона, что они нечистоплотные, скупые и корыстные, а также, что я числюсь одним из лучших учеников, а вот по греческому оказываюсь то на восьмом, то на девятом, то на одиннадцатом месте...» — писал он Альфонсу. Немного позже он сообщил ему, что родители с трудом устанавливают отношения в ревниво замкнутом обществе этого города: «Мы не знакомы ни с одной женщиной в Лионе; наши знакомства ограничиваются военными, интендантами и жандармами». Зато он был в восторге от новой квартиры семейства Орик в доме 4 по Овернской улице. «Да, забыл рассказать тебе о нашей квартире, — сообщал он в том же письме. — Она просто очаровательна. Без преувеличений могу сказать, что у нас один из самых прекраснейших видов на Лион. Ты не можешь себе представить, как это красиво, как великолепно, как это красиво [так], как эти зеленые холмы живописны».

И вот на дворе октябрь, начало учебного года. Он учится уже в пятом классе, гордый новой школьной формой и новыми тетрадями. Даже еда со временем стала ему нравиться. «Я очень доволен, что учусь в лицее, — писал он Альфонсу, только что назначенному заместителем судьи в Фонтенбло. — Я уверен, что наши предки не ели в коллеже, как мы, варенья и компотов, пирогов и паштетов, курятины, индеек, компотов [так] и многого другого... Буду изучать английский язык и надеюсь, что скоро смогу как-то объясняться на нем».



Столь доброму расположению духа способствовало среди прочего и то, что нашелся однокашник, который мог бы стать его другом: «Он не эгоист, как некоторые, для товарища он все сделает. Наши успехи в учебе способствуют нашей дружбе, и как только учитель выходит, мы садимся рядом и можем улыбаться друг другу сколько угодно». Несмотря на прилежание, учился Шарль неровно. Побывав в начале учебного года среди десяти лучших, во второй четверти он скатился вниз, но потом выправился и даже поднялся на четвертое место по французскому языку. Но вот в марте 1833 года мирную жизнь коллеги нарушило чрезвычайное происшествие. Один преподаватель так «проучил» недисциплинированного ученика, что тот оказался в больнице. Его товарищи устроили во дворе бунт. Шарль полностью принял сторону бунтовщиков. «Я тоже среди „мятежников“, — писал он Альфонсу. — Я не желаю уподобляться тем подлизам, которые боятся учителей. Отмщение тем, кто злоупотребил своими правами! Так было написано на баррикадах в Париже<sup>[5]</sup>. Если учитель не уйдет после этого, мы поместим статью в газете „Ле Курье де Лион“».

Но возмущение его ограничивалось школьными событиями. Протестовал ученик, а вовсе не гражданин, недовольный режимом. В политике он был скорее сторонником умеренности и достоинства. Так, он сожалел о том, что жители Лиона проявляют мало уважения к королю, чей день рождения — 1 мая — прошел почти незамеченным. «Как парижанин, я возмущен тем, насколько мало чтят имя Луи-Филиппа в Лионе. Несколько бумажных фонариков в двух-трех местах, вот и все. Думаю, что в Париже был устроен настоящий праздник». А рассказывая о демонстрации республиканцев в Лионе, он сетовал: «Все эти молодые люди шли с красными галстуками, что говорило больше

о их безумии, чем об убеждениях. Они пели (кстати, очень тихо), но стоило только появиться полицейскому, как они умолкали. Сторонники Сен-Симона присоединились к республиканцам и объявили, что на площади Белькур будут танцы. Но в назначенный день ни бала, ни вообще ничего подобного не было. Говорили, что в нескольких лье от Лиона началось вооруженное восстание. Генерал Эмар послал туда четырех жандармов. Они увидели там полсотни людей с ружьями. Спросили их, что они намерены делать, а те ответили: мы охотимся на волчицу. По этим двум фактам ты можешь сам судить, что это было за восстание, то есть, что собственно ничего и не было».

Не правда ли, похоже на письмо подполковника Опики о смехотворных всплесках активности черни? Сам того не замечая, Шарль поддался консервативному влиянию семьи. Дома он слышал, как «отец» ругает все крайности в политике. Он даже хотел бы, причем признавался в этом — стать своеобразным папой римским, но только «папой военным», или же актером. Эти мечты о величии мешали учебе. Однако учение все-таки давалось ему легко и, несмотря на лень, он удерживался в числе средних учеников. «Через две или три недели у нас будет проводиться конкурс на лучшее сочинение, — сообщал он Альфонсу. — Весь год я ничего не делал, но получал хорошие отметки, что доказывает, что я могу хорошо учиться. Сейчас зубрю и надеюсь, что получится... Не знаю, не знаю... Поздно спохватился. Ладно, смело вперед!» В следующем письме сквозило разочарование: «Получил устное поощрение (четвертый в классе) и поощрение за сочинение (пятый). Жалкий результат, но я полон решимости исправить положение и своего добьюсь».

Тем не менее во время каникул, проведенных в пансионе, он мало занимался, предпочитал разыгрывать комедию и переглядываться с соседскими

девочками. Что не помешало ему, когда возобновились занятия, повторить свое обещание Альфонсу: «В этом году хочу заниматься как следует, чтобы, даже если не добьюсь своего, сознавать, что сделал все что мог. Все-таки приятно слышать свою фамилию среди победителей: „Семь первых мест!“ По всем предметам! После чего мать или же отец возлагают тебе на голову венок».

Однако мираж ученической славы постепенно рассеивался. Вместо упорных занятий Шарль пользовался любым поводом, чтобы не раскрывать учебники. Отвращение к коллежу росло у него пропорционально неудачам в учебе. «До чего же скучно в коллеже, особенно в коллеже лионском! — пишет он Альфонсу 1 января 1834 года. — Сами стены его такие унылые, такие грязные и сырые, классы такие мрачные, а лионский характер так непохож на парижский... Я скучаю по бульварам, по конфетам Бартельмо, по универсальному магазину Жиру<sup>[6]</sup>, по богатым магазинам, где продается так много вещей, пригодных для отличных подарков. В Лионе всего одна лавка торгует красивыми книгами, две — пирожными и конфетами, и так далее... В этом городе, черном от угольного дыма, есть разве что крупные каштаны да тонкие шелка...» Теперь он рассчитывал только на какой-нибудь особый приступ гордости, чтобы получить хорошую отметку за сочинение: «Впрочем, будем надеяться, что, увидев, как те, кто был позади меня, шагают по моему трупу и занимают лучшие места, я очнусь и трудом своим заслужу будущие подарки».

Через месяц благие намерения так и остались намерениями, а Шарль опять обещает матери: «Пишу тебе, чтобы сказать, что я в последний раз лишаюсь права выйти в город, что отныне я намерен трудиться и не получать наказаний, из-за которых меня могут

лишить увольнения в город. Это в последний раз, клянусь, даю честное слово [...] Наверное, отец очень сердится; скажи ему [...] что я очень раскаиваюсь в том, что мало занимался последние три месяца [...] И хотя я сильно отстал, у меня еще есть порох в пороховницах, и я не обману твоих надежд, особенно теперь, когда я дал тебе слово».

Поскольку отметки за учебу и поведение у него были по-прежнему плохие и его по-прежнему не выпускали в город, родители, чтобы усилить наказание, перестали навещать Шарля в коллеже. Тогда он написал общее письмо матери и подполковнику Опику: «Папа и мама, пишу вам, чтобы попытаться убедить вас, что еще есть надежда, что я выйду из того положения, которое вас так огорчает [...] Приезжайте в последний раз, чтобы дать мне добрые советы, чтобы поощрить меня [...] Из-за легкомыслия и лени я забыл о тех чувствах, которые владели мною, когда я писал свои обещания. Исправлять надо не душу мою, она добрая, а ум, который надо укрепить, чтобы он стал основательным и чтобы мысли в нем задерживались надолго [...] Вы потеряли веру в меня, полагая, что ваш сын неисправим, ко всему безразличен [...] Какое-то время я был малодушным размазней и ни о чем не думающим лентяем [...] И только мысль, что вы можете посчитать меня неблагодарным, придала мне мужества [...] Если вы действительно решили не приезжать больше в коллеж, пока мое поведение полностью не изменится, напишите мне, и я буду хранить ваши письма, часто их перечитывать, чтобы победить свое легкомыслие, буду проливать слезы раскаяния, чтобы лень и ветреность не смогли заставить меня забыть о недостатках, которые я должен исправить [...] Хочу убедить вас, что не надо отчаиваться во мне [...] Я привязан не к дому и не к комфорту в нем, а к той радости, какую я испытываю, когда вижу вас, к тому

удовольствию, которое получаю, беседуя с вами и слыша похвалы в мой адрес».

На следующий день, в письме к сводному брату, он вновь выражал сожаление по поводу своего столь долгого «отупения» и клялся, что очень скоро преодолеет его и пробудится. И действительно, уже через месяц ему удалось направить матери «похвальный лист» от дирекции коллежа со следующими словами: «Я стану одним из самых сильных учеников в моем классе. Только не подумай, что меня заставляет работать страх перед наказанием. Мною движут более благородные мотивы. Отблагодарить родителей за заботу обо мне, стать образованным человеком, в конце учебного года получить в присутствии многочисленного собрания награду — вот эти мотивы. За два дня я набрался ума больше, чем набрался глупости за три месяца».

Едва учащийся Шарль Бодлер вернулся в строй, как город восстал. Доведенные до отчаяния ткачи 9 апреля возобновили борьбу. Против них направили войска. Коллеж оказался между двух огней: войска, с одной стороны, повстанцы — с другой. Пули и осколки снарядов рикошетом попадали в стены заведения. Занятия были тут же прекращены. Испуганные и обрадованные неожиданным перерывом в учебе ученики жадно следили за перипетиями неравного боя. В нескольких домах по соседству вспыхнули пожары. Директор коллежа ломал голову над тем, что ему делать с взвинченными учениками и с повстанцами, которые время от времени ломались в ворота, требуя помощи, в чем им, естественно, отказывали. Наконец, после шести дней и шести ночей боев, жандармы одолели бунтовщиков. Когда спокойствие было восстановлено, воспитанников пансиона отправили по домам, чтобы побыстрее отремонтировать помещения.

Вернувшись к своим, Шарль счел нужным с возмущением комментировать дерзость черни, поднявшейся против властей. И его родители, и их друзья считали, что доблестный гарнизон Лиона спас город от кровавой революции. Еще не пришедший в себя от пальбы на улицах мальчик восхищался подполковником Опиком — тот умело и быстро организовал расправу с повстанцами. Кстати, за эти подвиги отчим получил звание полковника.

Коллеж вновь открылся 18 апреля. Но десять дней спустя ученики, вкусившие беспорядков и безделья, последовали примеру ткачей: они подняли бунт. Предлогом послужила излишняя грубость одного из учителей. Через некоторое время учащиеся, подобно их старшим предшественникам, рабочим шелкоткацких фабрик, вернулись к занятиям, вынужденные отсиживать дополнительные уроки в наказание и лишившись права на отлучки.

На этот раз, верный своим обещаниям, Шарль принялся так старательно трудиться, что стал лучшим учеником в классе по всем предметам. Мать с удовлетворением пишет Альфонсу: «С большой радостью узнали мы, что Шарль совершил чудо: всю четверть был первым или вторым в классе из 50 человек. Для него это удачный период [...]. Он далеко не обычный ребенок, но такой легкомысленный, такой взбалмошный, так любит играть! Что касается сердечных качеств и характера, то он обладает всем, что нужно: общителен, добр, очень чувствителен и любвеобилен. Единственное, в чем его можно упрекнуть, так это в том, что он любит играть во время уроков, вместо того чтобы заниматься, и в том, что привык откладывать на последний момент приготовление домашних заданий».

Итоги учебного года подводили 31 июля 1834 года. Полковник Опик отсутствовал на торжестве: ему было

поручено организовать общий парад в Компьене в присутствии короля. Очень жаль — ведь он мог услышать, как имя его пасынка пять раз упоминается среди лучших: первое поощрение за перевод с греческого и анатомию, третье поощрение за латинскую поэзию, пятое поощрение за самый лучший перевод с латинского! Каролина ликовала, гордая и полная нежности. Шарль, оказавшись на вершине славы, клялся в следующем году добиться еще лучших результатов.

Но, как обычно, его легкомыслие, склонность к шалостям и болтовне оборачивались дополнительными уроками, стоянием в углу и лишением права уходить домой. Придя в коллеж в тот день, когда Шарль был наказан, мать назвала его неблагодарным. Во взволнованном письме он писал ей: «Я, неблагодарный. Даже если бы с начала года я и не настроился на отличную учебу, одного этого слова было бы достаточно, чтобы меня исправить [...] Мне очень горько слышать про эту твою обиду. Прошу тебя, приди повидать меня [...] Попроси за меня прощения у отца».

Он снова принялся за работу, но учился все равно нерегулярно, рывками. Умение схватывать материал на лету позволило ему добиваться хороших отметок, не слишком утруждая себя. К концу учебного года он получил второй приз по рисованию, «а в дополнение — пять поощрений, очень понравившихся отцу», как он писал в письме к Альфонсу. Он заканчивал словами: «Только, пожалуйста, не будь более требовательным, чем он, требовательным, как мама, например, которая вообразила, что я должен быть первым по всем предметам. Я не могу обижаться на нее за ее требовательность; ее исключительная любовь вечно заставляет ее мечтать о моих успехах».

Соученики считали Шарля мальчиком со странностями, думали, что он сторонится их, да еще к

тому же любит красоваться перед всеми, во время перемен декламирует стихи Гюго и Ламартина. У него был только один друг, Анри Иньяр, с которым он веселился, сочиняя стихи в подражание своим любимым авторам. Эти развлечения помогли ему переносить скучную монотонность учебы.

Лето он проводил с родителями где-нибудь в деревне, но оно пролетало для него слишком быстро. В октябре приходилось снова возвращаться в коллеж с его строгим расписанием, с раздраженными учителями, с бесконечными заданиями и переписыванием «строк» за малейшее прегрешение, с удушающей теснотой спален. Однако привычка все же выработалась. Шарль трудился, трудился столько, сколько нужно, чтобы родители и учителя были довольны. «Чувствую себя отлично, — писал он Альфонсу. — Я сейчас сильно растолстел, и мне здесь очень скучно. Но работаю, зубрю, получаю хорошие отметки. С начала учебного года занимаю места: четвертое, второе, десятое, первое, второе, шестое, первое. Дважды первый и дважды второй — вот, по моему, отличные результаты». Он научился кататься на коньках, чтобы получить «еще одно удовольствие», высказывая сожаление, что нет возможности охотиться, поскольку «порох пугает матерей», денно и нощно мечтал вернуться в Париж, город удовольствий и света. «Мне сейчас четырнадцать лет и девять месяцев, — напоминает он своему сводному брату. — Можно сказать, пятнадцать. Три месяца пройдут так быстро. Время бежит быстро для тех, кто хорошо его использует».

Едва отправил он это письмо в Фонтенбло, как стало известно, что приказом от 9 января 1836 года полковник Опик назначен начальником штаба 1-го военного округа, включавшего Париж и Иль-де-Франс. Поистине, его отчим делал карьеру успешнее, чем



Шарль учился. Блестящий офицер, сверкающий галунами и медалями, получал только отличные отметки. Опик был рожден для роли победителя на конкурсах, для роли круглого отличника, а Шарлю приходилось довольствоваться второстепенными успехами. Ему хотелось бы, чтобы мать гордилась сыном так же, как она гордилась мужем. Не получалось. Опик успевал забрать себе все: и почести, и любовь. Ну как Шарлю было соревноваться с таким чемпионом? Ах, если бы заставить себя быть более прилежным! Его губила невнимательность. Очень одаренный, он, по-видимому, не мог сконцентрироваться для постоянных усилий. Выполнял ли он письменное задание, зубрил ли текст наизусть, стоило мухе пролететь, и он уже отвлекался. Но виноват во всем был этот дьявольский город! Шарль ненавидел Лион, центром которого для него являлся Королевский коллеж, эта тюрьма, в которой нелюбимые дети были осуждены учиться ненужным вещам.

По вечерам ему казалось, что он слышит зловещие завывания умалишенных, запертых в больнице Антикай, на холме Фурвьер. Впоследствии он долго еще вспоминал эти мрачные звуки, этот «нестройный хор из криков, сливающихся на расстоянии в жуткую гармонию, наподобие нарастающего прибоя или надвигающейся бури».

К счастью, полковник Опик получил новое назначение — в Париж. Шарль был уверен, что там-то он покажет, на что способен. Он заранее предвкушал утонченные радости, ожидавшие его в столице. Лишь бы не отменили в последнюю минуту приказ военного министерства!.. Но нет, назначение полковника было окончательным. Семья Опик попрощалась с немногочисленными друзьями, которых они завели в Лионе. Шарлю не терпелось отправиться в путь. Когда он сидел перед раскрытыми чемоданами, ему казалось,

что это его назначили начальником штаба 1-го военного округа в Париже.

## Глава IV. УЧЕБА

В январе 1836 года полковник Опик приступил к выполнению своих новых обязанностей в столице и временно поселился в доме 36 по Университетской улице, известном как «особняк министров». Туда к нему через некоторое время приехали и жена с сыном. «Итак, мама, папа и я, все мы, наконец, вместе, в Париже», — сообщил Шарль Альфонсу 25 февраля 1836 года. Вскоре семья переехала в здание штаба, расположенного в доме 1 по Лилльской улице. Тем временем мальчика представили господину Пьеро, директору Королевского коллежа Людовика Великого. Войдя с пасынком в кабинет директора, полковник произнес напыщенную, как обычно, фразу: «Вот мой вам подарок. Вот ученик, который прославит ваш коллеж». Услышав столь увесистый комплимент, Шарль опустил голову. Нимало не смущенный подобной характеристикой, г-н Пьеро задал мальчику несколько вопросов и, хотя тот учился в Лионе уже во втором классе, решил записать его в третий, предыдущий по той простой причине, что, по его мнению, обучение в провинции на год отставало от обучения в Париже. Несмотря на это, Шарль все равно боялся оказаться среди последних учеников. «Может быть, предубеждение ко мне со, стороны учителей окажется еще более сильным, чем со стороны учеников, — писал он в том же письме, — и когда я скажу, что приехал из Лиона, меня посчитают слабее, чем я есть на самом деле».

Несмотря на эти опасения, в конце учебного года он получил шесть поощрений, в том числе первые места за латынь и за английский. Мало того, его сочинение по латинской поэзии, посланное на общий конкурс, также оказалось в числе лучших. Полковник мог надеяться,

что уж теперь-то пасынок займется коллекционированием лавровых венков.

Но это значило плохо знать пятнадцатилетнего подростка, у которого часто и совершенно непредсказуемо менялось настроение, менялись планы и намерения. В декабре 1836 года его основной преподаватель Ашиль Шарден так характеризовал ученика Бодлера: «Очень легкомыслен... Недостаточно работает над исправлением своих недостатков... Очень капризен, работает неровно... Поверхностный ум...» Однако в то же время и этот преподаватель, и директор, рассчитывая на способность Шарля хорошо писать латинские стихи, интенсивно готовили его вместе с группой учеников к общему конкурсу. Лекции для «сверходаренных» читались три — пять раз в неделю, с десяти до одиннадцати часов вечера. Учителя с пафосом восклицали: «Работайте над латинскими стихами! Это — путь в ваше будущее!» Но, подстегивая своих воспитанников, эти педагоги загоняли их в тупик. В конце июня 1837 года лучшие ученики коллежа стали умолять директора отменить принудительные ночные «бдения». Возмущенный этой просьбой, поданной за несколько недель до конкурса, г-н Пьеро лишил всех их права покидать коллеж. Шарль принял удар покорно. «Для меня, — писал он матери, — это новый стимул к работе, и во всем остальном тоже я, насколько возможно, стараюсь избегать столкновений с директором, который был вне себя от этой просьбы. Он громко кричал, что этот проклятый класс огорчал его с самого начала и, разумеется, подведет на конкурсе. Так что нам придется долго ждать, прежде чем он разрешит нам отпуск домой [...] Итак, я лишен возможности видеть его [полковника Опики] Бог знает еще сколько времени — из-за этого г-на Пьеро, который считает странным, что ученики хотят лишний час поспать, вместо того, чтобы мечтать завоевывать для

него награды на конкурсе. Прощай, я буду много работать и постараюсь забыть, что меня лишили права побывать дома».

В конце учебного года его усидчивость была вознаграждена — он был четырежды отмечен как лучший ученик, получив первую премию за латинское стихосложение и вторую — за перевод на латынь. Отличился он и во время конкурсного экзамена: второй приз за знание латинской поэзии и второе поощрение за перевод с латинского. Г-н Пьеро и г-н Шарден сияли. Шарль написал матери: «Я получил второй приз на конкурсе за знание стихов и, таким образом, вернул себе расположение директора и надзирателя. Скажи об этом папе и поцелуй его от меня».

До чего же милый мальчик! Как он любит родителей и как старается угодить им своими отметками! В октябре 1837 года, в классе риторики, предпоследнем классе лицея, он считался первым учеником. Чтобы отпраздновать событие, отчим предложил ему прогулку верхом «в сторону железной дороги». Шарль, неважный наездник, упал и сильно повредил колено. Хирург и терапевт, осмотрев его, предписали ему постельный режим в медпункте при пансионате. Там он лежал, ворча и стелая, полтора месяца. «Эти два старых идиота решили, что у меня в колене водянка и что мне надо накладывать компрессы с минеральной водой [...] И вот я опять в постели, в лапах двух палачей, которых я готов задушить».

Он продолжал заниматься по учебникам, писал сочинения, изучал «Историю Франции» по книге президента Эно<sup>[7]</sup>, прочитал среди прочего «Последний день приговоренного к смерти» Виктора Гюго. Мать регулярно его навещала. Каждый ее приход был для него праздником. Отчим, несмотря на свою занятость, тоже иногда заходил посидеть у его кровати. «Горячо

поблагодари папу за его приход, — пишет Шарль матери, — он доставил мне огромное удовольствие. Он не часто меня навещает, но чем реже удовольствие, тем оно дороже. Я очень люблю папу; не забудь сказать ему, какое я занял место [второй в переводе с латыни]. Нога моя заживает». В медпункт заходил еще один человек, чьи краткие визиты Шарль очень ценил. Это был один из преподавателей, г-н Ренн, который выгодно отличался от своих коллег интересом к современной литературе. Он с удовольствием рассуждал с мальчиком о модных авторах и подсказывал ему, какие книги следовало бы прочитать. Но Шарль был так увлечен сочинением стихов на латыни, что задавался вопросом, а существует ли иной способ самовыражения, достойный того, чтобы им заниматься.

Наконец 16 декабря 1837 года Шарлю разрешили покинуть медпункт. Он тотчас сообщил об этом матери: «О, радость! И для меня, и для тебя. В понедельник утром я возвращаюсь в класс. Так сказал врач [...] Если бы ты знала, как я хочу видеть тебя и папу на протяжении целого дня. Мне необходимо вернуться в жизнь. Я счастлив, доволен, безумно рад [...] Прощай, любовь моя, порадитесь вместе с папой этим добрым новостям».

Вынужденный длительный отдых придал ему еще больше рвения: он стал лучшим учеником по рисованию, лучшим в ораторском искусстве на латыни. Но при этом Шарль боялся будущего, сознавая, что ему не хватает настойчивости.

«Чем ближе день выхода из коллежа и вступления в самостоятельную жизнь, тем сильнее мой страх, — признавался он в письме к Альфонсу. — Ведь придется работать, причем серьезно работать, а это страшно». Его школьная жизнь по-прежнему была отмечена наказаниями, его лишают права покидать коллеж. Даже г-ну Ренну, любимому учителю, приходилось оставлять

его в классе после уроков. Правда, добряк-педагог извинялся за свою строгость и говорил провинившемуся: «Уверяю вас, наказывать друзей очень тяжело!» На что Шарль взволнованно отвечал: «С такими словами никакое наказание не страшно». Описывая матери эту сцену, он добавлял: «Господин Ренн единственный учитель, которому я говорю такие вещи, не краснея. Кому-ни-будь другому мне было бы стыдно грубо льстить, но говорить уважаемому тобой человеку то, что ты о нем думаешь, не стыдно никогда. И поэтому, что бы ты ни говорила, люди никогда не боятся поцеловать родную мать перед публикой. А живу я так: читаю книги, какие мне дают в библиотеке, работаю, пишу стихи, но теперь они ужасны. И, несмотря на свою занятость, скучаю. Причина же в том, что не вижу вас».

Это длинное письмо Шарль отправил в Барез, куда родители поехали отдыхать на воды. После их отъезда он чувствовал себя брошенным, его утомляла болтовня товарищей по учебе. «Я больше люблю нашу тишину, между шестью и девятью часами, когда ты работаешь, а папа читает», — признавался он в письме матери. Все больше опасался он и столкновения с действительностью, ожидавшего его по выходе из коллежа: «Сколько придется заводить знакомств, сколько ездить туда-сюда, чтобы найти незанятое место в этом мире, страшно даже подумать». Но, изложив Каролине свои опасения, он тут же старался ее успокоить: «Но ведь ты знаешь, какой я упорный и как я умею быстро действовать, когда меня принуждают к этому обстоятельства [...] Так что кто знает, может, я внезапно переменюсь навсегда, как я порой вдруг меняюсь, когда нужно готовиться к урокам? [...] Ну а если, милая мамочка, природа не наделила меня способностью радовать тебя, если я слишком глуп, чтобы твои надежды оправдались, тогда я до самой

твоей кончины не смогу, хотя бы частично, отблагодарить тебя за все муки, какие ты приняла из-за меня». Следующее письмо возвышенностью своего тона походило на объяснение в любви: «Смертельно скучаю и люблю тебя больше, чем когда-либо [...] Мне кажется, что мы узнаем истинную цену людям в их отсутствие. Образуется пустота, которая все увеличивается и увеличивается; правда, ко мне заходит господин Эмон<sup>[8]</sup>, но что я ему скажу, когда все темы для беседы окажутся исчерпанными? А с тобой мы можем говорить без конца, ты — о своей работе, я — о моей любви к тебе, и мы оба в восторге (...) Милая мамочка, если бы ты знала, как я хочу быть с тобой и делать тебя счастливой прежде, чем ты умрешь!»

Единственным событием, скрасившим монотонную серость дней, стала поездка учеников коллежа в Версальский дворец, где они гуляли по парку, посетили парадные залы, побывали в часовне и в театре, поужинали в зале с низким потолком и даже встретили короля, благожелательно приветствовавшего своих юных подданных. «Повсюду вдоль дороги, пока мы ехали, — писал Шарль отчиму, — прохожие останавливались, чтобы посмотреть на вереницу из сотни взятых напрокат экипажей». Шарль не преминул низко оценить картины, выставленные в галереях. Одобрил он только полотна Верне, Шеффера и Реньо, да еще «Битву при Тайбурге» Делакруа. «Все так расхваленные картины эпохи Ампира выглядят посредственными и холодными; люди часто расставлены, как деревья в лесу, или, как статисты в опере, — рассуждал он. — Быть может, я не прав, но таковы мои впечатления». Наверное, он спросил на этот счет мнение г-на Ренна, своего учителя и единомышленника. Они часто беседовали об искусстве и литературе: «Заметив, что я очень люблю



современных авторов, он сказал мне, что был бы рад разобрать со мной, не спеша, какое-нибудь произведение современного автора, дать мне почувствовать хорошие и слабые его стороны (...) Для меня господин Ренн — непреерекаемый авторитет».

Еще более теплое и нежное письмо отправил Шарль матери две недели спустя. Сообщая о своих переживаниях, он одновременно просил ее не возвращаться раньше срока из Барежа. «Во-первых, я злюсь на самого себя, так как боюсь, что не добьюсь успеха; признаюсь, что самолюбие мое жестоко страдает; сколько бы я ни философствовал, что школьные успехи мало что доказывают, и т. д., все же они доставляют большое удовольствие. Так что я сам себе противен, а остальные — еще больше». Единственным его утешением было чтение. Но какую же халтуру превозносили газеты! «Все это сплошь и рядом неправдоподобно, преувеличено, надуманно и высокопарно. Особенно мне неприятен Эжен Сю. Я прочел только одну его книгу и уже чуть не умер от скуки. Все мне это осточертело. Понравились мне только драмы и стихи Виктора Гюго да еще одна книга Сент-Бева („Сладострастие“). Литература мне совершенно опротивела. Право, с тех самых пор, как я научился читать, мне еще ни одна книга не понравилась от начала до конца; а посему я больше не читаю, перенасытился чтением, больше не разговариваю; я думаю о тебе; ведь ты — вечная книга; с тобой я беседую; любовью к тебе я заполняю свое время; от этого, в отличие от других удовольствий, я никогда не устаю. Честное слово, может, это даже и лучше, что мы оказались вдали друг от друга, я научился отворачиваться от современной литературы; я научился любить маму больше, чем когда-либо, потому что чувствовал ее отсутствие — вот увидишь, когда вернешься, я припас тебе еще больше поцелуев, забот и

предупредительности, и, хотя ты знаешь, что я люблю тебя, ты будешь удивлена, до чего же я тебя люблю. Прощай и — кто кого любит больше».

В том году по результатам конкурсных экзаменов он ничего не получил, но все же мог гордиться двумя наградами по результатам работы в классе: за французскую речь и за латинские стихи, а также несколькими поощрениями. Шарль ожидал катастрофы, а получился полууспех. Но радость его переполняла не из-за этих маленьких поощрений: он узнал, что родители приглашают его приехать к ним в Барез. Более того — ему разрешили проделать весь путь самостоятельно. «Теперь я сгораю от нетерпения, — писал он матери. — Чемодан уложен; не знаю, сколько дней продлится поездка, но знаю наверняка, что это будет слишком долго. Меня вовсе не страшит, что я еду один, я очень этим доволен, просто счастлив: наконец-то я обязан быть мужчиной, следить за собой, записывать расходы, осматривать достопримечательности, подниматься на холмы, гулять в Тулузе, и я с великим трудом удерживаюсь от громких криков радости». Чтобы подтвердить свою независимость, он писал матери, что если генерала Дюрье, друга семьи, вдруг не окажется в Тулузе, он переночует в гостинице: «Мне это нравится гораздо больше, чем спать в доме у знакомых, где мне придется разговаривать и проявлять любезность [...] Прощай, мамочка; через несколько дней приеду к вам, обогащенный опытом, покрытый пылью и обезумевший от радости. Поцелуй от меня папу». Видно, что это письмо такое наивное в своем энтузиазме, написано совершенно нормальным мальчиком, не имеющим ни задних мыслей, ни секретов, ни проблем в области чувств, любящим маму и отца, озабоченным тем, как завоевать их уважение, и желающим, подобно всем

мальчишкам, поскорее забыть про учебу в каникулярной круговерти.

В Бареже Шарль пробыл две недели, каждый день совершая с родителями прогулки верхом. Потом он сопровождал их в Баньеры, «в конец Кампанской долины». «Баньеры — райский уголок, самое прекрасное место во Франции», — решил он. Затем они все посетили Тарб, Ош, Ажен, Бордо, Руайян, «где маме было очень плохо от морской болезни», Рошфор, «где по воскресеньям ничего не видно», Ла-Рошель, Нант, «где есть замечательный музей»; и наконец, берега Луары, «не вполне заслуживающие свою репутацию». В Париж они возвратились через Блуа и Орлеан.

В середине октября семнадцатилетний Шарль с головой, еще гудящей от обилия впечатлений — пейзажи, музеи, замки, соборы, берега рек и снежные вершины Пиренеев, приступил к занятиям в последнем, так называемом философском классе коллежа Людовика Великого. Воспоминание о том восхищении, которое он испытал при виде озера Эскубу, над Барежем, вдохновило его на стихотворение в духе Ламартина:

Высоко, высоко, вдалеке от дороги,  
От селений, долин, где пасутся стада,  
Поднимаются гор каменистых отроги,  
А за ними — могучая пиков гряда.

Там, в ущелье, меж темных, обрывистых  
склонов,  
В окружении гордых вершин снеговых  
Воды озера дремлют, и кажется, словно  
Никогда не прервется молчание их<sup>[9]</sup>.

Сочиняя эти натужные стихи, Шарль испытал странное чувство, будто открыл для себя источник влаги посреди пустыни. Там, где были лишь учебники, наброски сочинений да латинские тексты, он обнаружил новый смысл жизни. Только что он был подростком, озабоченным, как и все остальные, лишь своими школьными успехами, а тут вдруг уподобился тем, для кого потребность в стихосложении важнее, чем еда и питье. Осмелился ли он показать свою первую пробу пера матери? Возможно. А отчиму? Вряд ли. В глазах полковника Опики он хотел оставаться прежде всего старательным учеником. Каролина — другое дело: поговаривали, что первый ее муж, Франсуа Бодлер, тоже баловался стишками. Так что она в состоянии понять сына.

Разумеется, она мягко его корит. Кропать стишки — почему бы и нет? Но только забавы ради. Не более того. Не надо увлекаться этим никчемным делом, литературой. Какую бы карьеру ни избрать, она должна быть стоящая, не шутовская. Только труд, серьезная работа, а не мечтания позволяют мужчине преодолевать трудности в жизни. А вот и доказательство: полковник Опик. Пусть Шарль берет с него пример, и тогда он пойдет уверенным шагом по дороге почестей!

## Глава V. ЮНОСТЬ

Переходя в класс философии, всякий юноша испытывает пьянящее ощущение, будто он покидает плоские берега школьной зубрежки и выходит в бушующее море больших чувств и больших проблем. Океан страстей, секреты жизни, значимость смерти, соединение души и тела, Бог, природа, мораль, справедливость — все эти вопросы вдруг одновременно начинают будоражить молодые умы. Шарль заранее предвкушал ожидавшие его открытия. «Я теперь изучаю философию, — сообщал он Альфонсу, — это ужасный класс, куда я перешел с великим трудом. Директору опять хотелось оставить меня на второй год. Но я избежал этого».

Ему нравились все его преподаватели. Особенно тот, который вел курс философии, Валетт, хотя он и считал Шарля «средним» учеником: «Бодлер недостаточно редактирует свои сочинения, у него много идей, но мало порядка». Со своей стороны, ведущий преподаватель, Ашиль Каррер, отмечал: «Вот уже несколько дней, как Бодлер опять ведет себя весьма странно. Я был вынужден очень строго его наказать. Жаль, что ученик, хорошо занимавшийся в начале учебного года, теперь — дурной пример для класса».

Надо сказать, что философией он занимался явно вполсилы. Изложение теорий великих мыслителей, от античности до современности, представлялось ему скучной болтовней. Его больше интересовали романы, драмы, сборники стихов, которыми его снабжал приятель Эмиль Дешанель, живший не в интернате, а дома. Читая Ламартина, Гюго, Мюссе, Виньи, Сент-Бева, он чувствовал себя в кругу друзей. Быть таким, как они.

Жить в музыке слов. Передавать миру биение своего сердца. На уроках он пописывал стихи, вместо того чтобы слушать преподавателя, и потихоньку пересылал их через других учеников сидевшему в отдалении Дешанелю. В этих импровизированных стихах он излагал, например, свои чувства при виде девушки, почти ребенка, которую он встретил, вероятно, в Лионе:

Нынче мы, как другие, бесстрастно и вяло  
Смотрим вдаль, на восток, где торжественно-  
ало  
Над землею встает золотая заря,  
Чтобы, скоро растаяв, уйти за моря [...]  
Он любил, когда в платье своем белоснежном  
Пробегала она перелеском прибрежным  
Или, юбками куст придорожный задев,  
Поправляла подол по обычаю дев [...]  
А теперь они снова в Париже, и он,  
Посещая ее сенжерменский салон [...]  
Называет ее «госпожой», не краснея,  
Словно все это было не с ним и не с нею [\[10\]](#).

Так начинающий поэт, «бесстрастный и вялый», уставший раньше времени, радуется свое сердце воспоминанием детской идиллии, а в конце цинично заявляет, что предмет его страсти, оказавшись по прошествии лет чьей-то почтенной и обожаемой супругой, не вызывает в его душе никакого отклика. Еще не успев пожить, Шарль представлялся себе холодным, ироничным и мрачным. Он инстинктивно выбрал эту манеру держаться — так, бывает, опрометчиво выбирают костюм. Однако под романтическим облачением еще угадывается прежний недисциплинированный мальчишка. «Что касается меня, — писал он Альфонсу в рождественские

каникулы, — то я больше всего хочу хорошо закончить класс, больше всего боюсь остаться на второй год, потому что дома меня считают маленьким. Не слишком я вроде бы похож на философа и чуть было вообще не остался на второй год в классе риторики; сколько ни стараюсь придавать себе серьезный вид, мать и отец упорно считают меня ребенком [...] Чтобы научиться важности, начну с того, что побываю в палате депутатов».

Довольно скоро Шарль убедил себя, что ему будто бы нужен репетитор, который помог бы глубже разобраться в интересующих его предметах. Отчим обещал Шарлю уроки фехтования и конной езды. А ему это было ни к чему. Разве нельзя вместо этого организовать общение с молодым, сведущим в науках человеком, который помог бы ему в учении? «У моего репетитора я попросил бы, — пишет он полковнику Опику, — устроить дополнительные занятия по философии, чтобы познакомиться с тем, что не изучается в классе, чтобы больше узнать о религии, изучение которой не предусмотрено университетской программой, а также дополнительные занятия по эстетике или философии искусств — об этом наш преподаватель наверняка не успеет нам рассказать. Я попросил бы его также научить меня древнегреческому языку, которого я совершенно не знаю, как и все, кто изучает его в коллеже, а изучить его самостоятельно, когда я буду перегружен многими другими вещами, мне будет очень и очень трудно. Ты же знаешь, что меня очень интересуют древние языки, греческий — в особенности [...] Изучение древнегреческого поможет мне, возможно, овладеть немецким. Думаю, что услуги репетитора обойдутся в 30 франков в месяц [...] Полчаса в день или один час в два дня. Я бы выбрал тогда г-на Лазега, молодого, превосходно образованного учителя, недавно окончившего Высшую

педагогическую школу, которого хорошо знают в коллеже Людовика Великого. Ну а если он не сможет давать мне такие уроки, я бы предпочел обойтись без репетитора. Это у меня не пустой каприз. Я уже столько раз менял свои решения относительно очень хороших проектов или вообще проходил мимо них, что боюсь, как бы вы с мамой не сочли меня чересчур легкомысленным [...] Недавно я проверил свои знания и понял, что знаю я довольно много вещей по всем предметам, но все эти знания какие-то неотчетливые, беспорядочные, которые друг другу противоречат, не подчиняются общей системе, а это значит, что я ничего не знаю, хотя мне скоро уже надо будет вступать в жизнь, а для этого следует иметь определенный багаж знаний. Что можно придумать сейчас лучшего, чем изучение языка, который позволит мне читать в оригинале очень полезные книги? Чем изучение самой интересной части философии — религии? [...] Крепко обнимаю, как хотел бы порою обнять тебя в зале свиданий нашего коллежа».

Эта просьба, несмотря на все красноречие, по-видимому, не убедила полковника Опика. Он подозревал, что репетитор для пасынка — лишь возможность поболтать в определенные часы с образованным молодым человеком на такие бесполезные темы, как искусство, наука о душе и тонкости греческого языка.

После этого в течение двух месяцев ни о каких частных Уроках речь уже не шла. И вдруг — словно бомба разорвалась!.. 18 апреля 1839 года полковник Опик получил от директора коллежа Людовика Великого письмо: «Милостивый государь, сегодня утром мой заместитель попросил Вашего сына отдать записку, которую ему передал один из его товарищей. Ваш сын отказался подчиниться, порвал и проглотил записку. В моем кабинете, куда его привели, он заявил, что скорее



согласится на любое наказание, чем выдаст секрет товарища, а когда я попросил его объясниться, в интересах самого же соученика, на которого он таким образом навлекает самые дурные подозрения, ответил ухмылками, наглость которых я не должен терпеть. Таким образом, я возвращаю Вам этого молодого человека, у которого были явные способности, но который все испортил дурным поведением, неоднократно наносившим урон порядку в коллеже. Выражая сожаление о случившемся, прошу Вас, милостивый государь, принять заверения в моих почтительных и искренних чувствах. Директор, Ж. Пьеро».

Во второй половине того же дня Шарль был отправлен домой, где его ждали гнев полковника Опики и слезы матери. Конечно же он был потрясен, что его выгнали из коллежа как паршивую овцу. Тем не менее он по-прежнему отказывался отвечать на вопросы о содержании проглоченной им записки. Что там было: намек на неэтичное поведение кого-нибудь из соучеников, злая шутка в адрес преподавателя или сентиментальные стишки, которые, прочти учитель их вслух, могли бы вызвать смех класса? Во всяком случае, виновник, хотя и признал свою вину, не представлял себе, как можно было поступить иначе. Когда человек обладает секретом, хороши все средства, чтобы его сохранить. Надо уметь переносить неприятности, чтобы помешать другим совать свой нос в твои дела. Пристыженный и одновременно возмущенный, гордый и растерянный, Шарль выслушал внушения родителей и, по их совету, написал директору коллежа: «Милостивый государь, я возвратился в семью. Когда я увидел горе матери, то оценил степень моего — а главное ее — несчастья. Поэтому я хочу попытаться исправить мою ошибку, если это возможно. Я отказался отдать бумажку, которая могла послужить основанием для

наказания товарища, бумажку ничтожную, как Вы понимаете. И Вы простили бы мне, наверное, мой проступок, хотя он и показался Вам возмутительным. Но когда Вы сказали, что я навлекаю позорные подозрения на моего товарища, то это показалось мне настолько странным, что я засмеялся, тем самым проявив неуважение к Вам. Приношу Вам свои искренние, глубокие и полнейшие извинения, какие только Вы можете пожелать (...) Если своими мольбами я смогу получить от Вас разрешение вернуться в коллеж, я полностью подчинюсь Вашей воле и готов понести все наказания, какие Вы сочтете нужным наложить на меня. Поскольку, возможно, это событие уронило меня в Ваших глазах, прошу Вашей милости не ради прощения моего, а ради моей матери, страдающей оттого, что карьера моя запятнана в самом начале».

Было ли это письмо отправлено директору? Поскольку оно найдено в бумагах семейства Опик, возможно, полковник просто показал его грозному г-ну Пьеро во время визита, который он нанес, чтобы полюбовно уладить конфликт. Мужчины решили, что Шарль покинет коллеж Людовика Великого, где его пребывание стало нежелательным, и поступит в коллеж Людовика Великого, но не пансионером. Было также решено внять его просьбам и позволить ему брать частные уроки у Шарля Лазега. Родители репетитора согласились поселить ученика у себя, в доме 24 по улице Вье-Коломбье. Договорились, что питаться он будет в соседнем пансионе, который содержала Селеста Тео, в доме 1 по улице Пот-о-Фер-Сен-Сюльпис<sup>[11]</sup>. Шарль еще нежил в родительском доме, когда 12 мая 1839 года произошло восстание, подготовленное Барбесом и Бланки. Повсюду слышались выстрелы. Против них были выдвинуты войска. «В эти беспокойные дни, — писал Шарль

Альфону, — мама страшно перепугалась, и мне стоило большого труда показать, что события не так уж и ужасны [...] Папа уехал верхом вместе со всем штабом и с генералом Пажолем<sup>[12]</sup> и не вернулся, пока не прекратилась стрельба; он ночевал в Карузели<sup>[13]</sup>». Бунт быстро подавили. После захвата ратуши, где Барбес зачитал зажигательную прокламацию, бунтовщиков разогнали, частично арестовали, и жизнь в Париже вернулась в привычную колею.

Покинув умиротворенную столицу, чета Опигов отправилась в Бурбон-ле-Бен<sup>[14]</sup>, поскольку у полковника усилились боли в ноге: он был ранен двадцать четыре года назад<sup>[15]</sup> в битве при Линьи<sup>[16]</sup>. Несмотря на доброжелательное отношение репетитора г-на Лазега и г-жи Тео, хозяйки пансиона, Шарль страдал от одиночества словно от незаслуженного наказания. Как всегда при разлуке с матерью, он принялся писать письма, наполненные жалобами избалованного ребенка: «Мне явно не хватает тебя. Не хватает присутствия человека, которому можно сказать что угодно, с кем можно смеяться, ничего не боясь. Одним словом, хотя физически я нахожусь в полном здравии, без вас мне тяжело [...]. Когда мать далеко, лучше уж быть совсем одному, чем с посторонними людьми». Среди этих посторонних — не поддающаяся описанию мадемуазель Селеста Тео. «Эта старая дева встретила меня, то и дело опуская глаза вниз, будто монашка, и что-то слащаво лепеча, — писал Шарль матери. — Один товарищ из коллежа Людовика Великого, которого я встретил у нее, рассказал мне, какой тон принят в этом доме, и мы долго потешались. Он сказал, что там идея религиозности и легитимизма настолько срослись друг с другом, что достаточно ненавидеть правительство, чтобы тебя приняли за

католика [...] Я рассказал об этом г-ну Лазегу, и мы оба долго смеялись».

Чтобы угодить родителям, Шарль одно время вынашивал мысль сдать конкурсный письменный экзамен по французской литературе, но потом отказался — он был утомлен и ему осточертели все эти лавры, эти побрякушки. Впрочем, он пренебрегал учебой вовсе не ради каких-либо удовольствий. Хотя квартал, где он теперь жил, изобиловал девицами легкого поведения и соответствующими гостиницами, он строго хранил свою невинность и думал только о матери, страдая от ее отсутствия. А она на целых два месяца уехала в Бурбон-ле-Бен. Как может она так долго обходиться без него? Ведь муж, каким бы важным он ни был, не способен заменить сына. Покинутый, отверженный, он страдал и изливал свою боль в письмах неблагодарной: «Я сожалею не об утраченных ласках и радостях, а о чем-то таком, благодаря чему мать всегда кажется нам лучшей из всех женщин, благодаря чему ее достоинства ценятся нами выше достоинств других женщин; между матерью и сыном устанавливается такое согласие, и они так славно живут друг возле друга, что, право же, с тех пор, как я поселился у г-на Лазега, я чувствую себя не в своей тарелке». Он находил, что, несмотря на свои прекрасные человеческие качества, чета Лазег не лишена некоторой «пошлости», и это его немного «отталкивает». В их доме царила «вечная веселость» дурного вкуса. Временами он даже спрашивал себя, не лучше ли ему было бы учиться в коллеже: «В коллеже я мало занимался в классе, но все же занимался. Когда меня выгнали, я испытал встряску и после случившегося позанимался еще немного у тебя, — а теперь я ничего, ничего не делаю, причем сейчас это безделье отнюдь не поэтичное и приятное, а глуповатое и хмурое [...] В коллеже я время от времени работал,

читал, даже плакал, иногда сердился, во всяком случае, жил, а теперь — нет, нахожусь в каком-то угнетенном состоянии, и недостатков у меня сейчас сколько угодно, причем теперь это уже не прежние, не лишённые некоторой приятности недостатки. И ладно бы еще это печальное состояние вынуждало меня к резким переменам, так нет же, от того духа активности, который толкал меня то к благим поступкам, то к дурным, нет и следа, осталось лишь безразличие, тоска и скука».

Выход из этого состояния неопределенности и лени виделся единственный: сдать экзамены на бакалавра. «Я уже начал готовиться и сделаю все возможное, чтобы за пару недель просмотреть весь материал и быть готовым к первым дням августа [...] В грустном моем одиночестве я рад, что любовь моя к маме растёт, и это уже немало».

Шарль предстал, не очень надеясь на успех, перед экзаменаторами, и 12 августа 1839 года получил, хотя и не без труда, звание бакалавра. Другьям он со смехом поведал, что своим успехом обязан рекомендации мадемуазель Селесты Тео, которая имела влияние на одного из экзаменаторов. А на следующий день газета «Монитёр» опубликовала датированный предыдущим днем приказ о присвоении Опику звания бригадного генерала. Так что для семьи день 12 августа принес двойной успех. Каролина плакала от радости, переполненная эмоциями и как жена, и как мать. Шарль тут же написал отчиму: «Я только что узнал прекрасную новость и хочу сообщить тебе еще одну. Сегодня утром я прочел в „Монитёре“ о присвоении тебе звания, а вчера в четыре часа дня я стал бакалавром. Экзамен я сдал довольно слабо, за исключением латыни и древнегреческого — на „отлично“, и это меня спасло. Я очень рад твоему назначению, и мои поздравления, сыновние поздравления отцу — это не обыденные

поздравления, каких ты получишь немало. Я счастлив, потому что видел тебя достаточно часто, чтобы знать, чего это тебе стоило».

Он надеялся, что эти два одновременно происшедших радостных события побудят родителей поспешить в Париж. Но они по-прежнему оставались в Бурбон-ле-Бене, и это его огорчило. Их присутствие казалось ему необходимым для обретения душевного равновесия и для принятия верных решений. Непостоянный в труде, неопределенный в намерениях, склонный к выходкам, которые озадачивали близких, он не был уверен, стоит ли ему радоваться в связи с получением среднего образования. В коллеже он был словно в тюрьме — обязанный соблюдать строгий режим, окруженный вежливыми надсмотрщиками, имеющий крышу над головой и пищу, получающий образование, наказываемый и поощряемый, как и все его товарищи. Учился он не для своего удовольствия, а чтобы угодить родителям. Будущее беспокоило его чисто теоретически. А теперь, когда двери темницы распахнулись, его испугало простирающееся перед ним бесконечное пространство. Куда идти? Что делать? Он дрожал, ежился и, как ребенок, боящийся темноты, хотел, чтобы папа и мама поскорее взяли его за ручку и помогли перешагнуть через роковой порог. Наконец 23 августа 1839 года он смог написать Альфонсу: «Мама вернется из Бур-бон-ле-Бена через несколько дней, а отец — чуть позже». Он был уже не один в мире. И вздохнул с облегчением.

## Глава VI. ПРИЗВАНИЕ

Как всякое почтенное семейство, семья Шарля желала для него карьеры достойной, спокойной и доходной. Отчим настойчиво предлагал ему выбрать между дипломатией и армией. Мать мечтала видеть его в чине атташе посольства. Оба уверяли, что их связи помогут ему подняться по иерархической лестнице. Но Шарль, человек, начисто лишенный здравого смысла, упрямо повторял, что хочет быть писателем. И как ни пытались родители объяснить ему, что это не настоящая профессия, что, за редким исключением, все писатели — бездельники и пустые мечтатели, он упорствовал. Когда обратились за советом к Альфонсу, тот, будучи усердным слугой Правосудия, предложил Шарлю поступить на юридический факультет. Это, по его мнению, позволило бы брату, не слишком изменяя своей тяге к литературе, подготовиться к различным видам деятельности, как на административном поприще, так и в судебных инстанциях или же в нотариальных учреждениях, в адвокатуре, а то и в политике.

Аргументы советчиков в конце концов поколебали убежденность Шарля. Устав сопротивляться, он согласился последовать совету Альфонса. Он до такой степени сблизился со своим сводным братом в дни долгих разлук с родителями, что открыл тому мучившую его весьма интимную тайну. Переспав с молоденькой еврейкой-проституткой Сарой, по прозвищу «Косенькая», он подцепил гонорею и не знал, к кому обратиться за помощью. Альфонс великодушно познакомил его с муниципальным советником Фонтенбло Дени-Александром Гереном, у которого в Париже, на Монетной Улице, была аптека и который

изобрел лекарство, «бальзамический опиа́т от болезней, как недавно приобретенных, так и застарелых». Тут же началось лечение.

Шарль не сердился на «Косенькую» за то, что она его заразила. Была ли она его первой женщиной или же он сблизился с ней — что правдоподобнее — после нескольких более благополучных опытов? Во всяком случае, он вспоминал о ней и в одном из первых своих юношеских стихотворений с бурной страстью написал:

Дамой сердца я выбрал не светскую львицу,  
А влюбился в одну потаскушку-девицу.  
От насмешливых взглядов и шуток вдали  
Ее прелести лишь для меня расцвели [...]

Косоглаза она и глядит исподлобья  
Сквозь густые ресницы, стилетов подобье.  
Этот взгляд иудейки мне краше всех глаз,  
От которых другие впадают в экстаз.

Двадцать лет ей, но словно две спелые груши  
Ее груди свисают... Их вкус обнаружив,  
От такого соблазна уйти я не смог:  
Что ни ночь, то — к соскам ее, как сосунок [...]  
[\[17\]](#)

Позже он вспоминал о ней в «Цветах зла»:

С еврейкой бешеной простертый на постели,  
Как подле трупа труп; я в душной темноте  
Проснулся... [\[18\]](#)

Она же вдохновила его на такой вопль:



Ты на постель свою весь мир бы привлекла,  
О, женщина, о, тварь, как ты от скуки зла![\[19\]](#)

Что же прельстило его в этой некрасивой и больной девке? Да как раз ее уродство, ее разложение, ее несчастливая судьба, ее порок! Раньше, когда он еще не знал плотской любви, единственной женщиной в мире была для него мать. И дабы ей не изменять, он стал выбирать в качестве партнерш для постельных забав тех, кто казался предельно далек от идеала, каким всегда представлялась ему мать. Занимаясь любовью с какой-нибудь «Косенькой», он мог быть уверен, что перед его глазами не возникнет образ матери, помешав удовольствию. Ему казалось, что, отказавшись от красоты и грации в постельных утехах, он избежит угрызений совести. И к тому же в столь низком падении есть свой тонкий дурман. Соединяя уродство со сладострастием, получаешь двойное удовольствие, во-первых, потому, что таким образом можно выделиться, а во-вторых, потому, что одновременно ты еще и попираешь устоявшиеся каноны эстетического совершенства. Обладание девкой-пугалом — своеобразная дань мрачной, издевательской гордыне — приносит ни с чем не сравнимое удовлетворение. И не так уж важно, что за такое наслаждение приходится расплачиваться здоровьем.

Болезнь Шарля продолжалась, и он информировал Альфонса о действии рекомендованного лекарства: «У меня прекратилась ломота, почти прошла головная боль, сплю гораздо лучше, но пищеварение ужасное, и постоянно что-то понемногу течет, хотя и без боли; при этом цвет лица отличный, так что никто ничего не подозревает». Поскольку не могло быть и речи о том, чтобы посвятить родителей в эту беду, Альфонс попросил любезного аптекаря (и муниципального

советника) Герена одолжить Шарлю немного денег на лекарства и на мелкие расходы. Шарль поблагодарил своего сводного брата и в том же письме объявил о твердом решении относительно будущего: «Я до того скучаю, что скоро начну работать. [...] Хочу быть независимым как можно скорее, чтобы тратить свои деньги, те, которые мне дадут люди за то удовольствие или за те услуги, которые я им предоставляю; хочу добиться этого любым способом. А пока, поскольку я трачу твои деньги, шлю тебе мою искреннюю благодарность [...] Погружусь в науку; хочу вновь изучать все: *право, историю, математику, литературу*. Забуду в стихах Вергилия всю мелочность и всю гадость этого мира».

На самом деле у него не было ни малейшего желания углублять свои знания в области права, истории и математики. Зато до безумия влекла к себе литература. Он читал, сочинял стихи, мечтал сравниться с великими. После спектакля «Марион Делорм» схватился за перо и написал Виктору Гюго: «Красота этой драмы так меня околдовала, доставила мне такое наслаждение, что мне невероятно захотелось познакомиться с автором и лично поблагодарить его. Я еще школьник и это, может быть, с моей стороны беспримерное нахальство, но я нахожусь в полном неведении относительно приличий этого мира и думаю, что Вы были бы ко мне снисходительны. Хвала и благодарность студента Вас, должно быть, мало тронут после всех похвал, какие выразили Вам много людей, наделенных вкусом [...] Но если бы Вы знали, как искренне и истинно любим мы, молодые. Ваши произведения, которые, как мне кажется (быть может, это зазнайство), я понимаю все. Я люблю Вас, как люблю Ваши книги [...] Мне кажется, что у Вас я научился бы делать добро и творить великое [...]. Ведь Вы тоже были молоды и понимаете эту любовь к автору книги и то,

как нам хочется поблагодарить его лично и почтительнейшим образом целовать его руки. Когда Вам было девятнадцать лет, Вы бы, наверно, так же написали бы автору любимых Вами книг, например, господину де Шатобриану? Все это плохо высказано, и я думаю лучше, чем пишу. Но Вы ведь были так же молоды, как и мы, а потому догадаетесь обо всем остальном, и надеюсь, что мой поступок, неожиданный и непривычный, Вас не шокирует и что Вы окажете мне честь своим ответом. Признаюсь, что жду его с нетерпением. Ответите ли Вы или нет, примите выражение моей вечной благодарности. — Ш. Бодлер».

Виктор Гюго, заваленный подобными письмами, надо полагать, не соизволил ни ответить юному читателю, ни тем более его принять. Если это молчание и огорчило Шарля, то оно несколько не уменьшило ни его любви к автору, ни его страсти к литературе. Конечно, он согласился начать изучение юриспруденции, но то была лишь уловка, чтобы успокоить родителей. Его решение не изменилось: жить как угодно, но добиваться совершенства в поэзии.

Внешне покорный, он поступил в Школу права и поселился в пансионе Байи и Левека, прозванном «Домом высшего образования» и располагавшемся в доме 11 на площади Эстрапад. Это заведение пользовалось доброй репутацией в буржуазной среде, туда принимали юношей из состоятельных семей, приехавших со всей Франции. Хозяин, Эмманюэль Байи, был одним из издателей католической ежедневной газеты «Юнивер» и чаще общался с типографскими рабочими, чем с учащимися, — за их неупорядоченной жизнью не было почти никакого контроля. Из «обиталища Байи» они выходили и туда возвращались, когда хотели, под предлогом различных занятий. Хотя двери и закрывались в девять часов, ничего не стоило получить разрешение отсутствовать до полуночи — это

называлось «театральным разрешением». Единственный категорический запрет: никаких женщин в доме! А вот сами проживавшие в отдельных комнатах студенты делали что хотели: все вместе ужинали, пили, спорили, курили. Шарль очень скоро нашел себе друзей в этой веселой компании: светловолосого толстячка с восторженным характером Гюстава Ле Вавассера, выходца из Нормандии, изучавшего право и лихорадочно писавшего стихи; еще одного нормандца по имени Филипп де Шеневьер, также страстно любившего литературу; Эрнеста Прарона, высокого здоровяка, «волосатого, как меровингский воин», посредственного поэта с пылким сердцем; также Луи де Ла Женвре, бывшего однокашника Шарля по коллежу Людовика Великого; Александра Прива д'Англемон, беспечного мулата, всегда готового прийти на помощь; Жюля Бюиссона, помешанного на живописи; Огюста Дозона, мечтавшего стать консулом в далекой стране, он изучал русский и румынский языки, ухаживая за молоденькими славянками-эмигрантка-ми, жившими в том же квартале... Вместе с несколькими товарищами Шарль создал группу под названием «Нормандская школа», поскольку большинство оказались выходцами из Нормандии. В этом студенческом кружке культивировались дружба, любовь к книгам и всякого рода шутки. Из-под их пера выходили и элегии, и сатирические произведения. Порой работали на пару, чтобы высмеять в песенке какую-нибудь знаменитость. Так, Бодлер и Ле Вавассер сочинили сатирическую песенку про Казимира Делавина<sup>[20]</sup> на мотив «Король д'Ивето»<sup>[21]</sup>.

Он академик, здесь его  
Все знают понаслышке,  
Он литератор — оттого.  
Что сочиняет книжки [...]

Талантом скромным одарен,  
Стихи его — как бисер,  
Зато Расином был бы он...  
В романтики записан.  
Его признали старики,  
Не прочитавши ни строки,  
Ловки!  
Ох, ох, ох, ох! ах, ах, ах, ах!  
Так, может быть, читали вы?  
Увы! [\[22\]](#)

Остальные товарищи по пансиону находили Шарля странным, скрытным, насмешливым и вместе с тем мрачным. Он всегда аккуратно одевался, и речь его была изысканна. Вот как описывает его Ле Вавассер в письме к Эжену Крепе: «Он был брюнет, а я — блондин, он — среднего роста, я — маленький; он — худой, как аскет, а я — толстый, как каноник; он — чистенький, как горноста́й, я же — грязный, как пудель; он одевался, словно секретарь британского посольства, я — словно базарный торговец; он сдержан, я шумлив; он вольнодумец из любопытства, я благоразумен от безразличия; он язычник из чувства непокорности, я послушный христианин; он — язвительный, я — снисходительный; он — изощряет свой ум, чтобы посмеяться над своими сердечными делами, я — даю свободу и уму, и сердцу, чтобы они поспешали рысцой». А Прарон так вспоминал Шарля, спускающегося по лестнице дома Байи: «Стройный, без галстука, в длинном жилете, с идеально белыми манжетами рубашки». Эта строгая элегантность, эта забота о чистоте особенно удивляли его товарищей, ведь молодежь в ту пору находила удовольствие в подчеркнутой небрежности. А еще им казалось

загадочным то, что при таких аристократических привычках, при таком сарказме он постоянно афишировал свое пристрастие к презренным, грязным и уродливым женщинам. «Косенькая» и ей подобные были королевами его желаний и вдохновительницами его сновидений. Во «Вступлении» к «Цветам зла» звучит дерзкое признание:

Сам Дьявол нас влечет сетями преступления,  
И, смело шествуя среди зловонной тьмы,  
Мы к Аду близимся, но даже в бездне мы  
Без дрожи ужаса хватаем наслажденья... [\[23\]](#)

Опику, назначенному командовать под началом герцога Орлеанского бригадой в лагере под Фонтенбло, было некогда заниматься семейными делами. Шарль, забыв дорогу в Школу права, посещал публичных женщин, сочинял стишки и решительно поворачивался спиной ко всем проектам будущего, которые планировали для него родители. Вернувшись с больших маневров, генерал с удивлением обнаружил, что пасынок бездельничает и спокойно дерзит в ответ на все увещевания. Под градом вопросов Шарль сообщил ему, что он отказывается портить свое зрение за чтением юридических трактатов. Правда, видя возмущение отчима и глубокое огорчение матери, он согласился возобновить учебу и пройти стажировку в конторе адвоката. Пустые обещания. 31 декабря 1840 года Шарль написал своему сводному брату, у которого перед этим жил несколько дней: «Думаю, тебе будет интересно узнать, как я провожу время в Париже. С тех пор, как ты отправил меня сюда, я ни разу не побывал ни в Школе, ни у адвоката и посему вынужден выслушивать жалобы на отсутствие у меня усердия. Я перенес на 1841 год генеральную реформу моего

поведения». К письму был приложен сонет с просьбой показать его сводной сестре Фелисите — в надежде, что эта шутка ее «позабавит». Последние строки стихотворения, должно быть, поразили добродетельную молодую женщину:

Я помню, было мне приятно, малолетке,  
«Мой ангел» — ворковать в ушко одной кокетке,  
Хоть пятеро других имели дело с ней.

Блаженные! Мы так на ласку эту падки,  
Что я опять любой подстёге без оглядки  
«Мой ангел» — прошепчу меж белых  
простыней<sup>[24]</sup>.

Кому можно сказать «мой ангел» между двух простыней...

Вскоре Альфонс и Фелисите приехали в Париж, в гости, и Шарль воспользовался случаем, чтобы попытаться выпросить еще немного денег у сводного брата. По его словам, родители присылали ему недостаточно, кредиторы берут за горло. Помогите! При всей симпатии к этому экстравагантному и расточительному парню Альфонс отказался поощрять его своеобразие. Прежде чем принять какое-нибудь решение, он потребовал, чтобы Шарль составил подробный список своих долгов.

Альфонс возвратился с женой в Фонтенбло, а 20 января 1841 года Шарль выслал ему требуемый список. Там были указаны вперемешку портной, сапожник, продавец трикотажных изделий, продавец рубашек, друзья, товарищ, взявший у него в долг деньги, чтобы одеть девицу, ушедшую из «заведения». Счет от портного точен: «...2 пиджака, из них один для домашнего употребления, другой — для выхода в город,

одно пальто на вате, один теплый халат, 4 пары брюк, 3 жилета, одно легкое пальто». «Во всем этом нет никакого обмана, никакого умышленного преувеличения, — уверял Шарль в письме. — Я был бы рад дать немного денег моему портному. А то, похоже, он относится ко мне без прежнего уважения [...] Если можешь мне помочь, умоляю тебя не говорить об этом родителям. И для того, чтобы не волновать маму, и в моих лично интересах. Клянусь тебе, что, преодолев эти трудности, я буду разумным в полном смысле этого слова. Если у тебя есть сомнения, я буду показывать тебе счета по мере того, как ты будешь давать мне деньги. Прощай. От всей души обнимаю тебя и мою милую сестричку [Фелисите], которой ты, наверное, рассказал всю эту историю и которая, должно быть, очень на меня сердита».

Просьба весьма и весьма покорная и вместе с тем весьма настойчивая. Но Альфонс заартачился. Обязанность старшего брата — приструнить этого сумасброда. Он гневно прокомментировал список долгов: «120 франков за 3 жилета. Это выходит по 40 франков за каждый жилет. А мне они обходятся всего по 18-20 франков, при том, что я огромного роста». Подведя итог, он получил колоссальную цифру в 2370 франков. И с возмущением написал 25 января 1841 года Шарлю: «Дорогой мой брат, ты, должно быть, понял, что я был очень огорчен, когда во время последней нашей встречи ты признался, что тебе нужны деньги, — это может означать только одно: в твоём поведении царит полный беспорядок. Я попросил тебя написать, в каком состоянии находятся твои финансы, и сообщить мне как брату общую сумму всех твоих долгов с указанием фамилий и адресов твоих кредиторов и причин долгов. Я ожидал, что получу письмо серьезного человека, а не запачканный каракулями клочок бумаги, прямо какой-то счет от аптекаря, из тех, что предъявляют в комедиях



родителям, которые оплачивают долги не глядя, оптом [...] Ты понимаешь, что я, твой старший брат, не могу делать тебе такие подарки, что мое благополучие достигнуто благодаря тому, что я не растранил доставшееся мне наследство, что я упорным трудом по 8 часов в день после пятнадцати лет учебы зарабатываю 1500 франков и не могу давать брату 2370 франков, чтобы оплачивать его безумия, его любовниц, одним словом — его глупости». Далее он писал, ссылаясь на авторитет и благоразумие генерала Опики, к которому он питал «глубочайшее уважение» и который воспитал Шарля «как собственного сына». «Ты неблагодарен по отношению к нему. Ты стучал во многие двери, прося денег, но все тебе отказали, потому что никто не хочет ссориться с человеком, пользующимся всеобщим уважением, каким является г-н Опик». В сложившейся ситуации Альфонс посоветовал Шарлю во всем признаться отчиму. И выразил готовность конкретно описать генералу, в случае необходимости, размеры долгов, собрать кредиторов и расплатиться с ними, позаимствовав из наследства Шарля. Конец письма привел его получателя в ужас: «Подумай хорошенько над тем, что ты должен делать. Ты уже ухудшил отношение генерала к тебе, и мне это представляется очень опасным. Ты доставляешь матери много огорчений, и ее жизнь в будущем видится мне очень несчастной. Что касается меня, то я как человек, тебя любящий, прошу тебя хорошенько подумать, во всем сознаться, порвать свои связи и исправить прошлое поведение лучшим будущим. Напиши мне, что ты собираешься сделать».

Получив это похожее на обвинительную речь письмо, Шарль задумался. Признавая, что до сих пор он вел разгульную жизнь и транжирил деньги, он тем не менее не решался снова предстать перед генералом Опиком. Между ним и отчимом уже не было прежней

доверительности. Теперь стоило только Шарлю увидеть генерала в его нарядном мундире, как он тут же чувствовал себя виноватым, беззащитным, никчемным. Этот человек, которым он восхищался и которого искренне любил в детстве и ранней молодости, теперь его пугал. 1 февраля 1841 года, усевшись в адвокатском кабинете среди кип исписанных каллиграфическим почерком досье, он наспех ответил Альфонсу: «Ты написал мне жесткое и унижительное письмо — *я хочу сам заплатить* то, что я одолжил у моих знакомых. Что касается поставщиков, то поскольку один я не могу с ними рассчитаться, я умоляю тебя заплатить два долга, два самых срочных: продавцу рубашек и бывшему портному, которому я остаюсь должен 200 франков и который *требует*, чтобы я заплатил их завтра, во вторник. Столько же я должен продавцу рубашек. Если ты поможешь мне с этими двумя, с остальными я рассчитаюсь сам, так, чтобы ни отец, ни мать ничего не знали. — Если ты не поможешь, я подвергнусь завтра тяжелому унижению [...] Ты опять назовешь это каракулями, но у меня под руками просто нет ничего другого. Я сижу у адвоката и взял лист бумаги наугад (...) Это — мое седьмое письмо к тебе. Шесть предыдущих я порвал одно за другим и, наконец, решил сам заплатить то, что я задолжал, но это будет не так скоро [...] Обнимаю и волнуюсь ужасно».

Альфонс тут же ответил Шарлю, что он не хочет ссориться с Опиком, действуя за спиной у семьи, и что ему непременно нужны фамилии и адреса кредиторов, чтобы подготовить решение всего дела. «Я берусь, — писал он, — сообщить генералу о твоих глупостях и послужить тебе громоотводом от его праведного гнева, а после того, как твои глупости перестанут быть новостью, собрать твоих кредиторов и договориться с ними таким образом, чтобы они согласились получить деньги постепенно».

Первого марта 1841 года генерал был назначен начальником Практической школы штабной службы, и чета Опик переехала из квартиры на улице Кюльтюр-Сент-Катрин, в которой они жили последнее время, в служебную квартиру, предоставленную им в доме 136-бис на улице Гренель-Сен-Жермен. Так что внимание Опики было сосредоточено на обустройстве нового жилья, а не на недостойном поведении пасынка. Но как только у него выдалось немного свободного времени, его охватило священное отцовское негодование. Хотя Альфонс, сдержав слово, не сообщил ему об отчаянном финансовом состоянии Шарля, до него дошли слухи о похождениях юноши — у Опики были хорошо информированные друзья, такие как депутат Эдмон Блан, входящий в министерство внутренних дел и в полицейское управление. Ему стало не под силу терпеть такое легкомыслие, такую недисциплинированность и наглость. С каких это пор новобранец позволяет себе спорить с генералом? Словесная перепалка переросла сначала в ссору, а затем вызвала взрыв гнева.

И 19 апреля 1841 года Опик написал Альфонсу: «Дорогой господин Бодлер, пришло время, когда надо что-то предпринять, чтобы не допустить гибели Вашего брата. Теперь я нахожусь в курсе или почти в курсе его положения, его поведения и привычек. Опасность велика, но, может быть, еще есть способ его спасти, и для этого мне надо увидаться с Вами [...] обсудить, до какой степени Шарль опустился морально и физически». Опик предложил в этом своем письме разумное решение, призванное уберечь Шарля от «скользкой мостовой Парижа»: «Длительное морское путешествие как в одну, так и в другую Индию, в надежде, что перемена обстановки, разрыв с недостойным окружением, возможность увидеть все, что достойно изучения, позволили бы ему вернуться на

путь истинный, быть может — поэтом, но таким, который черпает вдохновение из источников более возвышенных, чем дно Парижа». По мнению Опики, необходимо предварительно учредить опекунский совет, назначенный судом, который следил бы за соблюдением интересов провинившегося. «Моя жена очень несчастна!» — заканчивал он письмо.

Еще до того, как было принято официальное решение, Шарль догадался о его неизбежности и примерно 27 апреля сообщил Альфонсу, что готовится к отъезду. Тот поблагодарил его за «записку» и воспользовался случаем, чтобы подвести итог моральному и общественному падению своего сводного брата: «Когда ты был ребенком, ты был прелестен в общении с людьми, а юношей ты стал неуправляемым, подозрительным, вечно готовым взбунтоваться, когда, желая тебе помочь, мы предлагали тебе спасительный тормоз. Товарищи твои свели тебя с женщинами, и ты решил, что эти женщины, жертвы нищеты и тяги к распутству, должны стать примером свободной жизни. Ты залез в долги, чтобы содержать, кормить и одевать какую-то, как ты сам ее назвал, и, по-моему, очень точно, паршивку. Из ребенка, подающего надежды, ты превратился в экзальтированного юношу. Живя лишь сегодняшним днем и не думая о завтрашнем, порвав все связи с обществом, с его моралью и нравами, ты противопоставил себя тем, кто, будучи старше тебя, не мог смириться с твоим образом жизни [...] Вспомни, как гордилась твоя мама успехами сына в коллеже, когда целая библиотечка книг, которыми ты был награжден, подтверждала твои способности. Увы, ты презрел свои успехи в коллеже, а книги распродал. На твоём месте я бы решительно покончил с таким поведением, и сам, от всей души, в интересах своей совести взял бы на себя смелое решение отбросить прочь прошлое, приведшее к падению, к потере звания достойного человека, и

доказал бы, что если у меня и были моменты слабости, если я и позволил увлечь себя недостойным людям с худой головой, людям бессердечным, опорочившим славное звание друга, то я все еще могу — благодаря энергичному труду, хорошему поведению, искреннему желанию стать достойным человеком, — вознаградить и мать, столько из-за тебя пострадавшую, и генерала, любящего тебя, как родного сына, и брата, помогавшего тебе делать первые шаги в жизни, разлученного с тобой необходимостью твоего воспитания. Брата, всегда гордившегося тобой и желавшего бы представлять тебя всем тем, кто его знает, кто его уважает, кто дарит ему свою дружбу, как человека, получившего хорошее воспитание, отличающегося хорошими манерами, наделенного выдающимися способностями».

Из всей этой претенциозной и благочестивой патетики Шарля взволновала только мысль, что по его вине страдает мама. С годами отношения между ними изменились. В детстве он видел в ней существо очаровательное и одновременно нематериальное, единственным смыслом жизни которого был он сам. Даже присутствие Опики в супружеской спальне не слишком его смущало. Но созревание сильно изменило этот климат невинного обожания. Когда Шарль приобщился к любовным играм, ему вдруг открылось, что и его мать тоже является женщиной, что ей тоже присущи нечистые потребности, и роль генерала при ней стала казаться ему все более и более невыносимой. Отказ подчиняться какой бы то ни было дисциплине проистекал из все возраставшей враждебности, которую он испытывал по отношению к тому, кто украл у него «возлюбленную» и оскверняет ее по ночам за закрытой дверью спальни. Любые проявления доброжелательности Опики, любые его советы лишь подогревали обиду, причину которой Шарль не мог бы даже объяснить. Его бунтарство подпитывалось

зрелищем покорности Каролины своему супругу, ее кокетством осчастливленной самки, ее улыбками и вздохами, ее слезами, которые она проливала из-за позорящего семью сына. Предполагаемая поездка в Индию, о чем ему постоянно говорили, и радовала его, и пугала. Он видел в этом и возможность вырваться из скучной повседневной жизни и вместе с тем подозревал, что таким способом родители хотят отделаться от него. Потому ли мать настаивает на этом отъезде, что не любит его больше, или же она надеется, что вдали от нее он возродится?

Для начала его посылали в департамент Уаза, к другу генерала, подполковнику Дюфуру, жившему на хуторе Во. «Здесь меня окружают, — писал Шарль матери, — кабатчики на пенсии, разбогатевшие каменщики и женщины, похожие на племенных коров». А рядом, в замке, обитала шестидесятилетняя вдова, родственница Дюфуров, госпожа Энфре. Именно в ее доме жила Каролина, когда вскоре после свадьбы у нее случился выкидыш. Эта дама приняла Шарля с материнской нежностью, готовила его любимые блюда — луковую похлебку и яичницу на сале, — обставила специально для него комнату. «Она [...] велела оклеить комнату новыми обоями, повесить шторы и часы, сама обтянула ширму». Чтобы убить время, Шарль гулял по полям, грелся на солнышке и наблюдал за жизнью провинциального общества, где «все очень любят деньги» и «обожают посплетничать». Пока в Париже решалась его судьба, он выражал беспокойство по поводу здоровья матери, сильно пошатнувшегося в последнее время из-за семейных передраг. «Не правда ли, мамочка, хотя бы из любви к твоему сыну, ты будешь здорова, будешь хорошо кушать, чтобы твой муж [он уже не называет его „папой“] не мог меня упрекнуть, что я виноват в твоей болезни? Убеди его,

если можешь, что я никакой не злодей и не преступник, а хороший парень».

А тем временем Орик в Париже воспользовался отсутствием пасынка, чтобы ускорить решение вопроса. 4 мая 1841 года он написал Альфонсу, в котором видел энергичного, почтенного и разумного человека, одним словом, вполне приемлемого союзника: «Дорогой господин Бодлер, заморское путешествие требует расходов в сумме 4000 франков (3000 за путешествие туда и обратно пассажиром, примерно 1000 франков на необходимые мелкие расходы и проезд до Бордо и обратно в Париж). Пункт назначения — Калькутта. Продолжительность путешествия — приблизительно год. Капитан представляется мне именно тем человеком, который нам нужен». Кроме того, генерал уточнял, что он лично занял три тысячи франков, чтобы заплатить долги пасынка, но это проблему не решает и необходимо созвать семейный совет, чтобы сделать возможным другой заем, на этот раз из денег Шарля, пока еще несовершеннолетнего. «Отплытие корабля намечено на 15-е число этого месяца [потом оно было отложено]. Так что постарайтесь приехать, взяв отпуск на несколько дней (...) Я раздобуду 4000 франков, ибо убежден, что семейный совет согласится с нашим мнением о необходимости отправить Шарля в путешествие. Мы уладим формальную сторону займа за счет Шарля после его отъезда. Раньше не успеем: у нас мало времени. Жена моя очень хочет, чтобы Шарль не знал о семейном совете. Так что ничего ему не говорите об этом».

Когда, приехав в Париж, Шарль узнал о решении родственников, он не стал возражать. Эта поездка вдруг обрела для него символическое значение. Превратилась из ссылки в побег. Менее чем через год он становится совершеннолетним и, освободившись от опеки взрослых, сможет уже по своему усмотрению

располагать деньгами, завешанными ему отцом. Посетив чужие края, он обогатится массой новых впечатлений и посвятит себя поэзии, причем никто не будет иметь права упрекать его в этом. Он станет таким же независимым и великим, как Ламартин и Гюго. Но вдохновение его будет другим. Он смутно сознавал, что если хочет выделиться на фоне большинства модных поэтов, то должен культивировать в себе эту тягу к изображению мерзости, разложения, насилия, так огорчавшую его родных.

Теперь он торопился порвать со своим прошлым и стремился к новой судьбе. Быстро собрал вещи. Проводы получились эмоциональные и торжественные. Мать плакала. Отчим выглядел строгим и справедливым. Под гул советов и рекомендаций Шарль сел в дилижанс, который должен был отвезти его в Бордо. Там он поднялся на борт корабля «Пакетбот Южных морей». Родители заблаговременно вручили капитану Сализу пять тысяч франков, а Шарлю дали пятьсот франков на дорожные расходы. 9 июня 1841 года корабль отчалил. А 14 июня семейный совет под председательством мирового судьи заслушал объяснения генерала Опики и разрешил ему изъять из наследства, от имени Шарля, необходимую сумму.

Одним словом, все были довольны: Опики, избавленный на несколько месяцев от необходимости видеть этого шалопая, с облегчением вздохнул; Каролина благодарила небо за то, что удалось избежать трагического столкновения между мужем и сыном; Шарль, облокотившись о борт «Пакетбота Южных морей», подставляя голову под соленые брызги, радовался тому, что вдруг стал взрослым.



## Глава VII ВЕЛИКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

Прежде чем лоцман, направлявший «Пакетбот Южных морей» из Бордо в открытое море, успел покинуть борт корабля, Шарль наспех написал матери письмо: «Ветер здесь такой сильный, что через час мы будем уже в открытом море [...] Капитан великолепен. Добрый, оригинальный, образованный человек [...] Не хочу, чтобы ты писала мне такие письма, как последнее. Письма должны быть веселыми. Я хочу, чтобы ты хорошо питалась и была бы счастлива, думая о том, что и я тоже счастлив. Ибо это правда. Или почти правда. В следующий раз я напишу генералу [он теперь упорно не называет Опика „папой“]. [...] Началась довольно сильная килевая качка».

На судне, надежном торговом трехмачтовом корабле с кормовой надстройкой, было немного пассажиров, в большинстве своем это коммерсанты и офицеры колониальной армии. Поначалу Шарль радовался перемене в образе жизни, но довольно скоро корабельное существование — спертый воздух в тесной каюте на десять человек, полчища тараканов, коллективные трапезы в столовой, сальные анекдоты, взрывы хохота обедающих, консервированная острая пища и солоноватая вода — стало его тяготить. Удовольствие он получал только от общения с капитаном Сализом. Стоя рядом с ним на юте, когда «Пакетбот Южных морей» с распушенными парусами скользил вдоль берегов Португалии, Шарль полностью отдавался волшебному очарованию моря. Выполняя свое обещание родителям Шарля, капитан все же пытался убеждать его, что он зря теряет время, увлекаясь стихосложением, и что пора бы ему выбрать какую-нибудь достойную профессию — такую, из-за

которой генералу не придется краснеть. Но как только начинался разговор об этом, юноша замыкался в себе, делался чопорным и менял тему беседы. Высокомерный и отчужденный, он не сближался ни с кем из попутчиков. Наоборот, умудрялся шокировать их, высмеивая все общепринятые ценности: семью, отечество, добродетель, религию. Все, что почитают другие, казалось ему нелепым. И он заявлял об этом безапелляционным тоном за столом, после чего на лицах собеседников появлялись недовольные гримасы. Можно было подумать, что ему доставляло удовольствие вызывать отвращение к себе у людей, которых он презирал.

После остановки на островах Зеленого Мыса для пополнения запасов пресной воды «Пакетбот Южных морей» приблизился к экватору. Пассажиров окутала влажная жара, и они бродили по палубе в поисках тенистого уголка. В один из таких дней капитан подстрелил из карабина альбатроса, кружившего над кораблем. Птицу втащили на борт. Это был великолепный экземпляр с размахом крыльев в двенадцать футов. Птица была лишь легко ранена, и матросы, привязав ее за ногу, забавлялись, мучая ее, когда она с трудом пыталась уйти, подтягивая свои длинные крылья, волочившиеся по палубе. Один из матросов дразнил ее, подсовывая к клюву зажженную трубку. Не выдержав, Шарль набросился на матроса и в ярости стал бить его ногами и кулаками, пока капитан Сализ не разнял их. Птицу наконец добили, и кок приготовил из нее паштет для традиционного праздника по случаю пересечения экватора. Происшествие это произвело на Бодлера такое сильное впечатление, что он посвятил ему в сборнике «Цветы зла» одно из лучших своих стихотворений:

Когда в морском пути тоска грызет матросов,  
Они, досужий час желая скоротать,  
Беспечных ловят птиц, огромных альбатросов,  
Которые суда так любят провожать <sup>[25]</sup>.

Восьмого августа, в полдень, вблизи мыса Доброй Надежды, когда «Пакетбот Южных морей» входил в воды Индийского океана, на корабль обрушился сильный смерч, поломал мачты и сорвал паруса. Перекатываясь через борт, волны гуляли по палубе. Парализованные страхом пассажиры забились в свои полузатопленные каюты. А вот Шарлю хотелось непременно участвовать в борьбе с разбушевавшейся стихией. Ему было приятнее работать с матросами, чем где-то отсиживаться с дрожащими буржуями. Промокший под ударами обрушивавшихся на палубу волн, сопротивляясь порывам ветра, норовившего сбить с ног, он помогал матросам расстелить просмоленный брезент и прикрепить его к остаткам вантов, что позволило в конце концов вернуть накренившийся корабль в вертикальное положение. Ураган бушевал весь день. Наконец, благодаря помощи американского судна «Томас Перкинс», передавшего капитану Сализу паруса для бом-брамселей и лиселя, 1 сентября 1841 года «Пакетбот Южных морей» смог добраться до рейда Порт-Луи, столицы острова Маврикий.

Там капитан Сализ занялся необходимыми ремонтными работами. Поскольку было ясно, что они могут затянуться на две-три недели, пассажиры высадились на берег и поселились в единственной в городе гостинице. Отказавшись присоединиться к ним, Шарль принял приглашение Отара Брагара, судьи и плантатора. У него была красивая, любезная жена, скромное очарование которой дало Шарлю возможность отдохнуть от общения с неотесанными попутчиками. В

сентябре в южном полушарии стоит неестественно теплая погода, и это ослабляло и нервировало Шарля. Ему был противен вид мангровых деревьев с перепутавшимися корнями, его раздражали ярко-синее небо, гигантские плантации сахарного тростника, жужжание вездесущих комаров, толкотня индийцев и чернокожих на улицах, мелькание тут и там белых кителей и касок колонистов. Шарлю не хватало тумана и грязи Парижа. Ему хотелось горького, а на Маврикии у всего был приторный вкус патоки.

Наконец 18 сентября 1841 года «Пакетбот Южных морей» снялся с якоря и направился к Сен-Дени де Бурбон<sup>[26]</sup>, куда и прибыл на следующий же день. На этот раз у Шарля не возникло даже желания сойти на берег. Он оставался на корабле все то время, пока рабочие-туземцы заканчивали необходимый ремонт. Наблюдая за ходом работ, капитан Сализ не терял из поля зрения особо ценного пассажира, за которым ему было поручено присматривать. Его беспокоило, что Шарль пребывал в состоянии прострации. Перемена обстановки явно не развлекала этого странного парня, а, напротив, лишь усиливала его хандру, растерянность и отвращение ко всему на свете. Безразличный к неожиданностям, неизбежным во время плавания, и к красотам, открывавшимся во время стоянок, он испытывал отвращение к жизни, какое бывает разве что у стариков. Единственным путешествием, интересовавшим Шарля, было его внутреннее путешествие. Капитан Сализ тщетно пытался заинтриговать его тайнами Калькутты, куда они теперь направлялись. Его собеседник оставался холоден, как мрамор. Наконец, не выдержав, Шарль прямо заявил, что он хочет вернуться домой с первым же кораблем. Как раз в это время готовился к отплытию в Бордо корабль «Альсид». Глубоко огорченный провалом всей

затеи, чувствуя себя виноватым, капитан Сализ написал 14 октября 1841 года генералу Опику: «К сожалению, должен вам сообщить, генерал, что я не могу довести до конца на корабле, коим командую, запланированное вами путешествие вашего пасынка Шарля Бодлера [...] Начиная с самого отъезда из Франции мы все, находящиеся на борту, увидели, что уже поздно надеяться на то, что г-н Бодлер изменит свое отношение к литературе, как ее понимают сегодня, или откажется от идеи ничем другим не заниматься [...] Должен также вам сказать, хотя я и опасаясь вас огорчить, что его понятия и категоричные суждения об общественных отношениях противоречат идеям, которые мы привыкли с детства уважать, и нам тяжело было слышать из уст двадцатилетнего юноши речи, опасные для других молодых людей, находящихся на борту, отчего его отношения с попутчиками оказались еще более ограничены [...] Его опрометчивые высказывания вскоре убедили меня, что нет никакой надежды преуспеть там, где потерпели неудачу усилия его родителей [...] Надо признать, что его положение на борту представляло собой огромный контраст с прошлым образом его жизни, отчего он оказался несколько изолированным от других, а это, по-моему, лишь способствовало закреплению его привычек и литературных наклонностей. К этому добавилось еще одно событие, связанное с нашей морской жизнью. За всю мою долгую жизнь моряка я не переживал такого потрясения, какое мы перенесли, когда оказались в двух шагах от смерти, а он не испугался, но этот случай еще больше усилил его отвращение к поездке, по его мнению, бесцельной для него [...] Против ожидания и к великому моему удивлению, на острове Маврикий его тоска обострилась [...] В совершенно новой для него стране, в непривычном для него обществе ничто не привлекло его внимания [...] Все его мысли были

сосредоточены на желании как можно скорее вернуться в Париж [...] Я опасался, что он заболит острой формой ностальгии, тяжелые последствия которой я наблюдал в прошлом, в ходе моих плаваний [...] Был момент на острове Маврикий, когда мне пришлось — чтобы завлечь его на борт — пообещать, что я уступлю его желанию, если он и дальше будет настаивать на возвращении [...] Здесь (в Сен-Дени, на острове Реюньон), не вдаваясь в детали, скажу, что он упорствовал в своем желании вернуться и потребовал, чтобы я выполнил свое обещание, данное ему на острове Маврикий, и я вынужден был согласиться на то, что он переседет на корабль, идущий в Бордо [...], причем он сам выбрал для этого „Альсид“, где капитаном является Жюд де Босежур. К сожалению, этот корабль выходит в море после моего отплытия из Сен-Дени, но я принимаю меры, чтобы все прошло, как надо [...] Могу заверить вас, что я испытал к нему живой интерес и был бы счастлив узнать, что он встал на тот путь, на какой хочет его направить ваша к нему любовь».

Добившись своего, Шарль с нетерпением ждал, когда же, наконец, «Альсид» выйдет в море. Но прежде чем отплыть, он решил в последний раз поприветствовать так тепло принявшую его на Маврикии семью Отар де Брагар, познакомившую его даже с несколькими местными поэтами. В благодарность он отправил 20 октября 1841 года письмо Адольфу Отару де Брагару, а также и сонет для его жены. В письме он рассуждает: «Как же это хорошо, достойно и прилично, что стихи, адресованные молодым человеком даме, сначала попадут в руки ее мужа, а потом уже достигнут ее, и поэтому я посылаю стихи Вам, чтобы Вы могли показать их ей только в том случае, если они Вам понравятся. [...] Если бы я не любил Париж так, как я его люблю, и не скучал бы

вдали от него, я бы остался как можно дольше возле Вас и постарался бы, чтобы Вы меня полюбили и стали считать меня немного менее причудливым, чем я кажусь».

А вот и сам сонет:

Под солнцем той страны, где аромат струится.  
Там, где шатер дерев весь пурпуром горит,  
Где с пальм струится лень и каплет на ресницы,  
Я знал креолку — в ней дар обаянья скрыт.

Сквозь бледность дышит зной. У смуглой  
чаровницы  
Осанка гордую изысканность хранит.  
С Дианой поступью могла б она сравниться.  
Уверен взор ее, в устах покой разлит.

Когда бы вы хоть раз явили ваши чары  
На сенских берегах иль на лугах Луары,  
Красавица, кому лишь в замке обитать,

Заставили бы вы, сударыня, поэтов  
Вынашивать в сердцах по тысяче сонетов  
И вам покорнее, чем ваши негры, стать [\[27\]](#).

Отправив сей мадригал красавице-креолке, Шарль стал готовиться к отплытию. В отношении его капитан Жюд де Босежур получил самые пространные и самые четкие инструкции. «Альсид» вышел в море лишь 4 ноября 1841 года с большим грузом сахара и кофе. 4 декабря, у мыса Доброй Надежды, корабль был вынужден задержаться из-за плохой погоды. Бухту «Альсид» покинул только через четыре дня. Возле Азорских островов бушевала буря, но корабль продолжил путь, несмотря на пробоину в корпусе. Тем

временем стали кончаться продукты питания. К счастью, встретившийся им генуэзский бриг согласился поделиться своими запасами со страдающим от голода экипажем. Шарлю не терпелось поскорее избавиться от качки и корабельных сухарей. Вместе с тем он начал тревожиться: как встретит его генерал Опик? Ведь не имея возможности информировать о себе родителей в письмах или по телеграфу, который тогда использовался только для официальных сообщений, он принял решение возвратиться, никого не предупредив. И в тот самый момент, когда семья полагала, что он скоро прибудет в Индию, он объявится в Париже. Причем вопреки указаниям Опики и своим собственным клятвам.

Он вновь не сдержал слова. Эти смутные угрызения совести напомнили ему те неприятные ощущения, какие он испытал, когда его исключили из коллежа Людовика Великого. Он постепенно убеждался в своей несовместимости с окружающим миром. Какое бы направление ему ни предлагали, ему хотелось одного — уклониться. Он терпеть не мог никаких рельсов, никакой колеи, которую принято называть путем праведным. Из своего долгого путешествия он, конечно, привез кое-какие необычные образы, кое-какие стойкие ароматы и ощущение сладковатой скуки, но для творчества ему не были нужны экзотические ингредиенты. Он уже смутно догадывался, что вдохновение будет черпать не в живописных внешних образах, а в собственных страданиях, в болезненных тайнах, в проклятиях, в мерзостях, в бунтарстве. Вот почему он нисколько не жалел, что отказался от путешествия в Индию. Впрочем, это не помешало ему впоследствии, отдавая дань фанфаронству, заявлять, будто он там побывал. Шарль даже написал в одной автобиографической заметке: «Путешествие в Индию (с общего согласия). Первое приключение (корабль,



лишившийся всех мачт). Остров Маврикий, остров Бурбон, Малабар, Цейлон, Индостан, Кейптаун; приятные прогулки». Странная ложь самому себе. В голове его правда и ложь играли в жмурки. Зачем путешествовать, когда есть возможность читать о дальних краях и мысленно представлять их себе? По мере приближения берегов Франции беспокойство Шарля росло. Он старался думать о матери — по крайней мере, хоть она-то будет рада его возвращению, несмотря на то, что он вернулся, так и не повидав Калькутты!

## Глава VIII. ОПЕКУНСКИЙ СОВЕТ

Еще не зная, что его пасынок прервал свое путешествие и возвращается во Францию, Опик принялся приводить в порядок его отношения с военным ведомством, поскольку уже начиналась подготовка к призыву 1841 года. Согласно королевскому указу молодые люди, родившиеся, как Шарль, в 1821 году, подлежали военному учету — в списки их вносили либо в результате личной явки, либо по заявлению родителей или попечителей. Именно такое заявление и подал генерал в начале января 1842 года в отсутствие заинтересованного лица. Он рассчитывал представить его на жеребьевку, назначенную на 3 марта, в мэрии 10-го округа (ныне — 7-го). Но в начале февраля генерал получил письмо капитана Сализа, датированное 14 октября 1841 года и доставленное кораблем «Прогрэ», вышедшим с острова Реюньон чуть раньше «Альсида». Итак, Шарль посмел самовольно вернуться из путешествия и, несмотря на все свои обещания, отказался следовать по предписанному маршруту! Мало того, у всех на борту он вызвал раздражение своим неуважительным и странным поведением. Может, он неисправим? Опик рвал и метал, а Каролина, хотя и делала вид, что соглашается с ним, потихоньку все же радовалась скорому возвращению своего капризного несчастного ребенка.

Чтобы дать выход гневу, Опик написал Альфонсу и поделился с ним содержанием неприятного письма от Сализа. Генералу и судейскому чиновнику нетрудно достичь согласия. Однако Альфонс, отвечая Опику, призвал его к сдержанности. Он также предположил, что если Шарля мобилизуют, то военная дисциплина

быстро подавит его попытки сохранить независимость. А вот если Шарля освободят от службы, необходимо будет найти способ «защитить часть его наследства», чтобы помешать ему растратить полученное. «Действуя методом убеждения, мы, быть может, заставим его отказаться от ложных идей, — надеялся еще Альфонс. — Но прежде всего надо утешить мадам Опик, надо, чтобы ее материнское сердце поняло, что и Вы, и я хотим лишь счастливого будущего для Шарля. Из Ваших писем я вроде бы понял, что, снедаемая опасениями больше не увидеть сына, нежная мать смотрела на нас как на виновников временной, а то и вечной разлуки. Постараемся же сейчас встретить Шарля, как положено встречать блудного сына, вернувшегося в лоно семьи [...] Семейные горести подобны бурям: они не могут длиться вечно».

Сойдя на берег в Бордо 16 февраля 1842 года, Шарль ощущал слабость и в ногах, и в голове, причем в равной степени. Ему казалось, что путешествие продолжается: на смену бортовой качке, которую еще не забыло его тело, пришла тревога при мысли о стычках, ожидающих его дома. Он тут же написал матери: «Дорогая мамочка, через два-три дня я обниму тебя. Я совершил два ужасных путешествия, но раз мы еще увидимся, еще поболтаем и посмеемся, значит Господь Бог не совсем злой [...] В море я все время думал о твоём слабом здоровье. Теперь ты можешь быть спокойна — экипажи пропадают не так часто, как корабли». В тот же день он отправил письмо и отчиму: «Вот я и вернулся из моей долгой прогулки [...] У меня не осталось ни одного сантима и в пути мне часто не хватало самого необходимого. Ты знаешь, что с нами произошло по пути туда. Возвращение было не таким бурным, но намного более утомительным; все время или бури, или полный штиль [...] Мне кажется, я возвращаюсь с карманами, набитыми мудростью».

Встреча с бросившейся навстречу Каролиной и сдержанным Опиком оказалась не столь тяжелой, как Шарль опасался. По-видимому, семья еще не рассталась с надеждой вернуть его на путь истинный. Первое испытание: жеребьевка, которая состоялась 3 марта 1842 года. Проживавшие в 10-м (по старому порядку) округе Парижа, 470 юношей набора 1841 года пытали в тот день свое счастье; Шарлю выпал номер 265. Когда объявили результат жеребьевки, он с облегчением вздохнул: список заканчивался на номере 211. Спасен!

Освободившись от военной службы, он тут же стал размышлять, как бы ему освободиться от семьи. Шарль надеялся по достижении совершеннолетия, с 9 апреля 1842 года, начать пользоваться всеми правами взрослого человека: отдельным жильем, полной свободой распоряжаться своими деньгами, правом выбирать себе профессию по собственному вкусу. Он заявил громко, во весь голос: его профессией может быть только литература. Поняв, что пасынок не отступится от своего намерения, Опик согласился наконец с возможностью литературной карьеры, при условии, однако, что это будет серьезная литература и что Шарль своим упорным трудом добьется признания и уважения. Каролина, радуясь тому, что гроза миновала, горячо приветствовала это решение.

С согласия родителей Шарль покинул родительский дом и снял скромную квартиру на острове Сен-Луи, в центре Парижа, в доме 10 по набережной Бетюн<sup>[28]</sup>. В квартирке, расположенной на первом этаже, имелась всего одна комната. Мебель самая простая: кровать, несколько кресел, стол и сундук, куда Шарль складывал свои книги. А на близлежащих улицах — тишина и покой, как в провинции. Возникало ощущение, что находишься за сотни километров от парижского шума и суеты. Не правда ли, идеальное место, чтобы мечтать и

сочинять? Едва подписав договор о найме квартиры, он тут же оповестил об этом матушку: «Я только что вышел от г-на Пласа [хозяина дома]. Квартира стоит 225 франков, но я взял ее, потому что другого ничего не было, а мне до смерти хочется остаться одному. Пусть тебя не пугает цена. Если мне не будет хватать на жизнь, я твердо решил — в случае отсутствия доходов от литературы — просить моих бывших учителей подыскать для меня частные уроки, чтобы что-то было в кошельке. Если хозяин дома придет к тебе за сведениями обо мне, умоляю, не подведи меня каким-нибудь неловким словом».

По истечении законного срока опекунства генерал счел делом чести ознакомить пасынка с итогами управления его наследством. 30 апреля, в конторе мэтра Ансея, сменившего мэтра Лаби, нотариуса в Нёйи, вникнув в расчеты, связанные с опекой со стороны г-на и г-жи Опик, Шарль подписал соответствующий документ и выразил «искреннюю благодарность за заботу о нем лично и о его имуществе и за все, что было сделано в его интересах». Остаток на балансе опекунского счета превышал 18 тысяч, к которым добавлялись 359 франков государственной пятипроцентной ренты. Шарль владел также землями в Нёйи, причем один из участков, сдаваемый фермеру, приносил годовой доход в 415 франков. В совокупности его доходы составляли 1800 франков в год.

Опьяненный этими цифрами, Шарль полагал свое материальное положение обеспеченным, что бы ни случилось. Первой его заботой было вернуть часть долгов. Затем он купил кое-какую мебель, несколько безделушек... Мать беспокоили его необдуманные расходы, но он со смехом отвечал, что не собирается трогать своего капитала. Тем временем Опику назначили начальником штаба наблюдательного корпуса на Марне, в его обязанности входил контроль

за всеми большими маневрами в регионе. Поэтому, благодаря его частым отлучкам, нежные встречи Каролины с сыном участились. Он дарил матери серьги, читал свои последние стихи, приглашал ее поужинать в его холостяцкой квартире. К сожалению, вскоре после смерти герцога Орлеанского 13 июля 1842 года этот наблюдательный корпус на Марне был распущен, Опик вернулся домой и занял пост командующего округом Сены и Парижа. Новый переезд, еще одна служебная квартира. На этот раз чета Опик поселилась в доме 7 на Вандомской площади, в особняке под названием «Креки».

У генерала дела складывались хорошо. Но Каролина все больше и больше тревожилась. Шарль оказался «бездонной бочкой»: он продал за 6500 франков две акции Банка Франции, заложил за 3500 франков свою землю в Нёйи. Мать упрекала его за расточительство, но он только посмеивался над ее опасениями. В середине ноября он, озабоченный своим внешним видом, попросил ее помочь ему выбрать в магазине шляпу и брюки. За это он пообещал ей «чудный ужин» у себя дома. Не в силах отказать ему, она встречалась с ним втайне от мужа, снисходительно, по-матерински бранила его, со слезами на глазах выслушивала обещания сына, млела от счастья, когда он ее обнимал, и возвращалась на Вандомскую площадь с тихими угрызениями совести, будто совершила что-то греховное.

Со своей стороны, Опик и Альфонс подумывали, не следует ли учредить опекунский совет, чтобы уберечь Шарля от его патологической расточительности. Несмотря на их возражения, он через нотариуса Ансея выставил 11 июня свои участки земли на продажу. Эта операция принесла ему 70 150 франков. После уплаты долгов у него осталось 55 150 франков, которые, как он утверждал, должны были приносить ему 3300 франков

ежегодного дохода. В тот же день он подписал доверенность на имя матери, чтобы она следила за его расходами, и нотариус оформил все документы. Но как только договоренность была достигнута, он стал докучать матери просьбами о деньгах: «Ты обещала выдать мне аванс в *октябре*. Если можешь, отдай его моей прислуге, этим ты доставишь мне самое *большое удовольствие*. Если не получится, дай *сколько* сможешь. *Не забудь г-на Анселя*. После выплаты ему хотелось бы, чтобы ты дала мне то, что *ежемесячно оставляешь для меня*, потому что именно тогда было бы неплохо заплатить моему портному».

В конце октября 1843 года он сменил квартиру на набережной Бетюн на комнату на улице Вано, а затем — на маленький номер в гостинице «Пимодан», в доме 17 на набережной Анжу, и вот новое письмо матери: «Сегодня я уведомлю тебя о том, где я поселился. Меня вполне устраивают твои условия. Ты сама придешь и сообщишь их хозяину дома. Только надо обойтись без опекунского совета. Если я замечу, что ты сделала это тайком от меня, я тотчас же удеру, и на этот раз ты больше меня не увидишь — я поселюсь у Жанны».

Эта Жанна, впервые упомянутая в его переписке, — мулатка, с которой он сблизился вскоре после возвращения из путешествия. Она жила со своей матерью неподалеку от особняка «Пимодан», в доме 6 по улице Фам-сан-Тет<sup>[29]</sup>. Шарль помог и ей с обустройством и не пожалел денег для собственного жилища на набережной Анжу. Он был большим любителем красивых вещей и стал постоянным покупателем в магазине антиквара Антуана Аронделя, художника-любителя и хозяина склада товаров при гостинице. Почти каждый день Бодлер навещал туда и перебирал груды различных вещей. Покупал без особого разбора картины сомнительного

происхождения, ненужную мебель, безделушки, очаровывающие своей необычностью. Легко подписывал векселя. Он не мог отказать себе ни в каком удовольствии, презирал деньги и не понимал, как это мать не одобряет его прихоти. А между тем долги накапливались. Шарль с трудом отбивался от кредиторов. Он должен был многим, от хозяина знаменитого ресторана «Серебряная башня» на набережной Турнель до портного, которого он кормил обещаниями.

В начале 1844 года Каролина согласилась одолжить ему еще восемь тысяч франков. Генерал, потеряв терпение, не желал больше слышать о пасынке и обвинял жену в потакании глупостям. Неприязнь Опики к нему стала настолько очевидной, что Шарль стал видеть в нем непримиримого врага, который способен лишить его материнской любви. Отныне он избегал появляться в доме родителей на Вандомской площади. В письме Каролине от 5 января 1844 года он объяснял: «Я не посмел прийти к тебе по двум причинам: хотел тебе в чем-то отказать и о чем-то тебя попросить. Ты знаешь, что у меня теперь новый портной — возникла потребность, а когда пользуешься впервые услугами таких людей, им надо давать деньги. Иначе он перестанет мне доверять и скривит рожу, если я выпишу ему вексель. Мне нужно, чтобы ты выдала мне незамедлительно 300 франков, что составит на 25 франков больше, чем в феврале месяце [...] Я просил тебя передать мою визитную карточку генералу, потому что счел, что так было бы прилично и что этот знак внимания доставит тебе удовольствие, а ты подумала, что он обиделся бы, не поняв истинных причин. Что же, тут уже ничего не поделаешь, я туг бессилен. Эти мечты о примирении мне причиняют только боль. Как я уже тебе сказал, я могу тебе обещать только один год труда и благоразумия, и ничего больше. Есть мужское



самолюбие, которое ты как женщина и как его жена не можешь понять. Зачем ты заставляешь меня быть таким грубым, зачем строишь иллюзии?»

Так что попытки Каролины помирить его с отчимом приводили к тому, что он становился в позу горделивого, непонятого и оскорбленного сына. Он хотел, чтобы близкие оплачивали его самые неотложные потребности и при этом его не попрекали. В свое оправдание он говорил о деньгах, которые получит, как только напишет «один-два романа». «Для этого достаточно двух месяцев труда, — утверждал он в том же письме. — Роман, напечатанный в десяти номерах газеты, принесет в среднем 500 франков, а роман в десять листов, опубликованный в журнале, — 1000 франков». В действительности же эти романы так и не были написаны, оставаясь в состоянии длинных и путаных замыслов.

И все же, уступая время от времени просьбам матери, он приходил повидаться с ней в ее роскошной квартире — конечно, не в дни приемов. Он подпортил бы картину блестящего общества людей в парадных мундирах, во фраках и в роскошных платьях, собиравшегося в доме четы Опик. Да и самой Каролине не пришло бы в голову приглашать его в тот день, когда у нее собирался «свет». И даже встречи без посторонних в ее апартаментах у Шарля оставляли чувство неловкости. Он чуял повсюду притворство, тщеславие, показуху, военную и мещанскую дисциплину. Бывали случаи, что мать его ждала, а он в последнюю минуту решал оставаться дома, пребывая в плохом настроении. «Приношу искренние извинения, что не пошел к тебе, — писал он ей 3 марта 1844 года. — Не знаю, как описать тебе печальное и гнетущее впечатление, какое производит на меня это большое здание, холодное и пустое, где я никого не знаю, кроме своей матери. Вхожу я туда осторожно, а

выхожу незаметно, и все это становится невыносимо. Извини, пожалуйста, и оставь меня в моем одиночестве, пока из него не получится книга». А затем следовал, как обычно, скучный перечень жалоб: «Мне нужны еще 425 франков. Потом, мне кажется, что по условиям, тобою же предложенным, ты должна переслать мне деньги на расходы, которые у меня будут в марте. Кажется, ты совершила не очень красивый поступок, послав какого-то друга или переодетого слугу к хозяину ресторана с просьбой не предоставлять мне долгосрочных кредитов. Избавь меня от этой опеки так же, как ты оставила за мной возможность тешить мое мелкое тщеславие, расплачиваясь самому. Да и зачем это, раз уж я решил поменьше выходить из дома и не устраивать себе лишней суеты. А если у меня будет какая-нибудь хорошая новость, я тут же тебя извещу».

С каждым письмом сына растерянность Каролины лишь увеличивалась. Не приходило от него ни одного письма, где бы он не просил денег. Доведенная до отчаяния, она в конце концов согласилась с мужем и Альфонсом: в интересах самого Шарля надо учредить для него опекунский совет. По закону именно мать должна была подать в суд просьбу, после чего семейный совет лишь высказал бы свое мнение. Скрепя сердце она поручила своему адвокату, мэтру Легра, составить документ, который 31 июля 1844 года и был передан судьям. В нем перечислялись проступки господина Шарля Бодлера и безрассудные расходы, совершенные им после вступления в права наследования. В последнем пункте документа говорилось, что «в этих условиях, когда половина состояния ее сына оказалась растрачена, привычки расходовать все больше и больше укореняются при упорном нежелании заняться полезной деятельностью, заявительница [г-жа Опик] полагает, что в ближайшее время избежать новых растрат и полного разорения ее

упомянутого сына, можно лишь прибегнув к помощи правосудия путем назначения опекунского совета, без разрешения которого отныне он не сможет предпринять никаких действий, вовлекающих в расход его имущество».

Судебная процедура началась незамедлительно, и 10 августа 1844 года суд в первой инстанции пришел к выводу, что необходимо созвать семейный совет. 24 августа совет единогласно поддержал просьбу г-жи Опик: ее сына упрекали в неоправданных тратах. После обсуждения чиновник предложил заинтересованному лицу явиться 27 августа во Дворец правосудия, дабы выступить в свою защиту. Бодлер отказался туда идти.

Конечно, его неоднократно предупреждали, что, безрассудно транжиря деньги, он добьется, в конце концов, назначения опекунского совета. Но он не верил, что мать окажется настолько жестокой и приведет эту угрозу в действие. После визита судебного пристава Шарль несколько дней не мог прийти в себя. Это было для него словно удар дубиной по голове. Затем, в порыве отчаяния от обиды и стыда, он написал Каролине «по секрету»: «Чтобы я проглотил пилюлю, вы постоянно повторяете, что происшедшее — совершенно естественный шаг и не несет в себе ничего позорного. Это возможно, и я в это верю. Но, по правде говоря, какое мне дело, что это действительно так для большинства людей, если для меня это *нечто совершенно иное*. Ты мне сказала, что рассматриваешь мои гнев и огорчение как вещи преходящие, ты думаешь, что причиняешь мне детское „бо-бо“ лишь для моего же блага. Но пойми же простую вещь, которую ты, по-видимому, до сих пор не принимаешь во внимание: к моему несчастью, я действительно устроен не так, как все. То, что ты рассматриваешь как необходимость и временную боль, я не могу, не могу вынести. Это очень просто объяснить. Когда мы одни,

ты можешь относиться ко мне как хочешь, но я решительно отвергаю всякое покушение на мою свободу. Разве не жестоко подвергать меня судилищу нескольких человек, которые меня не знают и для которых это — скучная обязанность? Между нами говоря, кто может похвастать, будто знает меня, знает, куда я хочу пойти, что хочу делать и каков запас моего терпения? Я искренне верю, что ты делаешь большую ошибку. Говорю я это тебе с холодом в душе, потому что вижу, что ты осуждаешь меня, и уверен, что слушать меня ты не будешь, но ты должна знать — ты сознательно и по собственной воле причиняешь мне огромное горе, не представляя всей его тяжести».

Дальше он выражал сожаление, что этот шаг, столь оскорбительный для него, был сделан именно в тот момент, когда он вот-вот должен закончить первую свою работу, которая, как он надеялся, принесет ему всеобщее признание и деньги: «Именно этот момент ты и выбрала, чтобы переломать мне руки и ноги». Он снова и снова взывал к величию души своей матери, уверяющей, будто понимает его и, не задумываясь, унижающей сына перед всеми: «Ты говоришь, что тобой руководили забота и постоянная тревога. Ты хочешь сохранить для меня то, что у меня есть, причем вопреки мне. Но я никогда и не собирался растратить все сразу. Я готов предоставить тебе все средства ограничивать меня. За исключением одного, но именно это средство ты и выбрала [...] Ты выбрала способ, наиболее противный моей натуре: посторонние люди, судьи, нотариусы — к чему все это? [...] Я убедительно повторяю тебе мои просьбы. Я уверен, что ты ошибаешься, но в конце концов — если я плохо тебе объяснил, насколько было бы приятнее и разумнее договориться обо всем полюбовно — делай что хочешь, и будь что будет».

Несмотря на этот призыв о помощи, Каролина, поддержанная Опиком и Альфонсом, осталась непоколебима. Семейный совет, составленный из нескольких близких людей, среди которых оказались четыре юриста, единогласно одобрил принятое решение. 10 сентября в гостиницу «Пимодан» явился судебный исполнитель и вручил дежурной служанке для передачи господину Шарлю Бодлеру основные документы дела о назначении опекунского совета и предписание явиться в каникулярную судебную палату первой инстанции департамента Сены. 21 сентября 1844 года мэтра Ансея назначили главой опекунского совета. Таким способом Бодлера вернули в состояние несовершеннолетнего и отняли у него право распоряжаться своим имуществом и брать деньги в долг.

Поначалу Шарль встретил это лишение прав со смирением. Он был настолько подавлен, что даже просил матушку его утешить: «Будьте добры, поддержите меня, придите сегодня после обеда, чтобы хотя бы просто час-другой побеседовать. Я слишком подавлен, отчего очень спокоен и могу обещать, что не позволю себе никаких грубых выражений. Очень прошу, обязательно придите, а то я в таком состоянии, что и сам не знаю, чего я хочу и что мне делать завтра. Думаю, что Ваше присутствие, даже если и не принесет пользы, все равно придаст мне немного уверенности [...] Вчера я только после Вашего ухода понял, что, наверное, огорчил Вас. А Вы так снисходительны, что отнесли все на счет того неблагополучного состояния, в котором я нахожусь вот уже несколько дней».

Потом он вдруг начинал злиться на Каролину за то, что она относится к нему как к безответственному человеку, к тому же окруженному дурными людьми. «Не надо забывать о моей квартплате. Должен Вас предупредить заранее, чтобы помешать совершить

типичную для Вашего характера ошибку. А то из-за обычной своей предвзятости и бесцеремонности Вы еще начнете предупреждать всех, кому я должен, вплоть до водовозов, что ко мне приставлен опекун, подобно тому, как когда-то материнский инстинкт подсказал Вам замечательную мысль сообщить моему портному, что у меня рента в 1200–1800 ливров. В подобных оскорбительных унижениях теперь нет никакой нужды. Стоит ли во избежание отныне совершенно бесполезных долгов всех предупреждать, что Вашего сына лишили права чего-либо желать? Кстати, о векселях — Вам ведь известно, что все деловые люди знают друг друга и что одного пущенного по кругу письма достаточно, чтобы все парижские поверенные в делах и нотариусы были осведомлены о моем положении; к тому же как по ним платить? Все это я напишу и г-ну Ан-селю, которому Вы наверняка уже дали полицейско-материнские инструкции, продиктованные любовью в высшей стадии ее проявления».

В этом письме он предстает разгневанным мужчиной и обращается к матери на «вы». В другом же он выглядит потерявшимся ребенком, нежно зовущим маму на «ты»: *«Приходи скорей, скорей, сегодня же, сразу после обеда. Речь идет об одном важном деле, в котором надо разобраться и которое требует всего твоего ума»*. «Важное дело» — это, скорее всего, и на этот раз тоже какая-то трата, необходимость, срочность и размер которой надо оправдать в глазах мэтра Анселя, слишком строгого исполнителя решений опекунского совета. Вот так, то агрессивный по отношению к слабой женщине, предавшей его и перешедшей в лагерь противника, то преисполненный нежной любви по отношению к той, которая одним словом может изменить его судьбу, он колебался в своем настроении, ощущая то униженность человека,

взятого под опеку, то облегчение оттого, что больше ни за что не надо отвечать. Возникла мысль: может, для поэта и нет ничего плохого в том, чтобы провести всю свою жизнь под опекой людей, думающих и действующих за него? Мир сновидений тем обширнее, чем меньше у писателя материальных забот.

## Глава IX. ЖАННА

Продолжая барахтаться в сетях, которыми семья старалась Шарля опутать, чтобы защитить его от него же самого, он по-прежнему не отказывается от удовольствий, даруемых поэзией и дружбой. Он с радостью возобновил отношения с Огюстом Дозоном и с друзьями по «Нормандской школе» — Прароном, Ле Вавассером, Шеневьером, а также с несколькими художниками. Все они, и литераторы, и живописцы, мечтали о художественном обновлении Франции и о собственном скорейшем успехе. Разумеется, Гюго, Бальзак, Ламартин, Виньи еще заслоняли литературный горизонт. Но никто же не мешает дебютанту надеяться на стремительный взлет. Доказательства? Теодор де Банвиль, который на два года моложе Бодлера, только что выпустил тогда восторженно встреченный сборник стихов «Кариатиды». «Почему он, а не я?» — думал Шарль. И тотчас сблизился с коллегой, словно это сближение могло принести ему удачу. Теодор де Банвиль был юношей благоразумным и жил вместе с родителями на улице Мёсьё-лё-Пренс. Стихи его свидетельствовали о необычайной виртуозности автора. Он просто жонглировал ритмом и рифмами. Бодлер восхищался его дьявольской ловкостью, но сожалел, что в этом светлом бряцании колокольчика не хватает чувства. Сам же он еще только искал свой путь, пробуя писать о насилии и сумеречных состояниях души. И он завидовал Банвилю, создавшему, по крайней мере, свой собственный стиль и поражавшему читателей ловкостью стихосложения. Вместе направились они к публицисту Луи Ульбашу, который намеревался создать небольшой литературный кружок. Когда собратья по перу, почти все — безвестные служители возвышенной



музы, попросили Бодлера что-нибудь прочесть, он поразил слушателей грубостью и бесстыдством своих стихов. Текст стихотворения не сохранился, запомнилось только название «Дешёвка Манон». «В первой же строке, — записал Луи Ульбаш, — речь шла о „вонючей рубашке“ Манон, и все остальное было в том же духе. Грубейшие слова в великолепной оправе и смелые описания следовали одно за другим, а мы, покраснев до ушей, сидели, ошеломленные, свернув наши ангельские стишки и чувствуя, как испуганно бьют крыльями наши ангелы-хранители, возмущенные этим скандалом. Впрочем, по форме все это было великолепно, но так сильно отличалось от наших литературных принципов, что все мы почувствовали пугливое восхищение этим превосходным и развращенным поэтом».

И вообще, странный вид Бодлера, его одежда, циничный взгляд произвели на этих робких ребят дурное впечатление. Взрослея, он постепенно приобретал привычку шокировать, эпатировать и даже вызывать к себе антипатию. При этом по отношению к некоторым своим товарищам он демонстрирует искреннюю дружбу. Наиболее близким его другом стал художник Эмиль Деруа, на год старше Бодлера, он жил неподалеку от набережной Бетюн, на Орлеанской набережной. Вместе они ходили по музеям, ресторанам, кафе, студиям и галереям, горячо обсуждая последние произведения литературы и искусства. За четыре ночных сеанса Эмиль Деруа нарисовал портрет Бодлера, изобразив его задумчивым, с пальцем у виска и тоненькой вьющейся бородкой, обрамляющей щеки. Над ушами густая шапка волос. Прямой взгляд беспокоит, сверлит зрителя. Худощавую гибкую фигуру обтягивает черный фрак, из-под которого выглядывает белый галстук. Манжеты — из плиссированного муслина. «Добавьте к этому костюму лакированные

сапоги, светлые перчатки и модную шляпу, — писал его новый друг, Шарль Асселино, — и вы получите Бодлера той поры, каким его можно было встретить в районе острова Сен-Луи, прогуливавшегося в таком роскошном костюме, неожиданном в тех бедных, безлюдных кварталах».

В хорошую погоду небольшую группу спорящих мужчин можно было видеть на аллеях Люксембургского сада, или Булонского леса, или же за пределами города, в районе улицы Плезанс, в парке Монсури. «Летом, часов этак в пять, мы отправлялись на поиски мест, презираемых мещанами, но удобных для бесед о литературе, искусстве и даже о морали, — вспоминал Прарон в письме Эжену Крепе. — Улица Мэн и улица Томб-Иссуар слышали порой такие принципиальные заявления, от которых впору было рухнуть сводам Академии». Они также ходили в гости друг к другу и там, в меблированных комнатах и в мансардах, пили, курили, а то и баловались гашишем. Все крепко дружили с девицами легкого поведения, причем нередко взаимозаменяемыми.

И вскоре Бодлер подхватил сифилис. Он огорчился и вместе с тем склонен был гордиться этим обстоятельством. Ему казалось, что такая болезнь — своеобразный диплом мужчины, повидавшего жизнь. «В тот день, когда молодой писатель читает гранки своего первого произведения, он преисполнен гордости, как школьник, только что заразившийся сифилисом», — писал он в книге автобиографических заметок «Мое обнаженное сердце». Подобно большинству своих современников, Бодлер считал, что сифилис не обязательно заразен и что вылечиться можно очень просто, принимая пилюли с ртутью и йодистый калий. И действительно, по свидетельству многих врачей, практиковавших в ту пору, противосифилисное лечение создавало у пациента впечатление, будто силы его

возросли. Бытовало поверие, будто вылечившийся от сифилиса чувствует себя лучше, чем до заболевания. «Гарнизонные врачи и медики, лечащие проституток, знают об этом настоящем омоложении», — писал Бодлер много лет спустя в письме своему издателю Пуле-Маласси. Уверенный, что речь идет о вполне незначительной болезни, он поначалу обратился к гомеопату, но потом согласился принимать лекарства, которые ему прописал доктор Филипп Рикор. Во всяком случае, он не стал ничего менять в своем образе жизни. Асселино, много раз посещавший его в «Пимодане», с волнением вспоминал странную обстановку, в которой обитал Бодлер, смешение фантазмов и причудливых идей. «Помню его главную комнату — спальню и рабочий кабинет одновременно, с одинаковыми красно-черными обоями на стенах и на потолке, с единственным окном, стекла в котором, кроме фрамуги, были матовые — „чтобы видеть только небо“, как говорил он... Между альковым и камином вижу, как сейчас, портрет кисти Эмиля Деруа, писанный в 1843 году, а на противоположной стене, над диваном, вечно заваленным книгами, — уменьшенную копию картины „Женщины Алжира“ этого же художника, сделанную специально для Бодлера, тот с гордостью ее всем показывал».

Друзья, взбиравшиеся к нему на верхотуру, часто заставляли там развалившуюся в кресле любовницу Бодлера, рослую мулатку с дерзким взглядом, толстыми губами и черными вьющимися волосами. Это была Жанна Дюваль, известная в округе еще под именами мадемуазель Лёмер и Жанна Проспер. Гаитянка по происхождению, она до встречи с Бодлером играла под псевдонимом Берта разные мелкие роли в театре «Порт-Сент-Антуан», где у нее накопилось множество любовных авантур, в том числе с журналистом и фотографом Феликсом Надаром. Бодлер, увидев ее,

сразу влюбился в это смуглое тело, в кошачьи движения и душистую гриву метиски. Он считал, что после косоглазой еврейки Сары ему нужна подруга не менее оригинальная, чем предыдущая. Настоящий денди, он ценил в Жанне Дюваль то, что она позволяла ему выделиться из толпы и продемонстрировать свое презрение к мнению обывателей. Кроме того, он испытывал извращенное наслаждение от прикосновения своей белой кожи к темной коже мулатки. Совокупляясь с ней, представительницей иной расы, он освобождался от предрассудков, столь присущих Опику и ему подобным. Он нарушал законы, установленные глупой буржуазией, погружаясь в сладострастие отрицания. К тому же так он сохранял нетронутым культ своей матери. Жанна — это анти-Каролина. Своим морфологическим отличием от женщины, давшей ему жизнь, она позволяла ему наслаждаться ею без угрызений совести. Любя двоих, он оставался верен своей матери. В Каролине он любил ангела, а в Жанне — демона. Разве не идеальное решение проблемы для человека, не желающего смешивать жанры?

Впрочем, эта темнокожая красавица была нужна ему не только для радостей, которые дарило ее волнующее гибкое тело. Жанна вдохновляла его и на сочинение стихов. Она то провоцирует его движениями бедер, то, раскинувшись на постели, ведет себя пассивно, словно скучая оттого, что он ждет от нее известных услуг, то, наконец, встав перед ним повелительницей во весь рост, выражает полное к нему презрение. Непредсказуемая, она олицетворяла в его глазах всех женщин. Он без устали воспевал свою многоопытную партнершу с темной шелковистой кожей, как бы созданную для того, чтобы играючи помогать ему быть палачом самого себя:

Я люблю тебя так, как ночной небосвод...  
Мой рассудок тебя никогда не поймет,  
О, печали сосуд, о, загадка немая!..  
И в атаку бросаюсь я, жаден и груб,  
Как ватага червей на бесчувственный труп.  
О, жестокая тварь! Красотою твоей  
Я пленяюсь тем больше, чем ты холодней! [\[30\]](#)

Как и прочие свои стихи, Бодлер читал и эти строки друзьям, собиравшимся у Прарона, всякий раз поражая их грубостью языка и совершенством формы. Стихи, по-прежнему не изданные, накапливались в ящиках его стола: «Альбатрос», «Дон Жуан в аду», «Гигантша», «Жительнице Малабара»... После того как его представили Сент-Бёву, которого он давно уже боготворил, Бодлер направил ему, автору романа «Сладострастие», послание в стихах:

Мы, юнцы на дубовых сиденьях старинных,  
Что блестят, как зеркальные стекла в витринах,  
—

От усердия тех, кто лошил их до нас, —  
Мы, кому вместо детских забав и проказ —  
Опостылевший терпкий напиток ученья  
И узда на восторги, порывы, влеченья. [...]  
— Кто из нас не страдал в эту блеклую пору,  
Как попавший в узилище по приговору? [...]

— И тоска вечеров, и ночные метанья.  
Вожделения смутные, грезы, мечтанья,  
Созерцание в зеркале ранних примет  
Возмужания, коему выхода нет — [...]

В этих душемутительных, цепких тенетах  
Я выросл понемногу на ваших сонетах,

И однажды при свете вечерней зари  
Близко к сердцу я принял судьбу Амори<sup>[31]</sup>.

Шарль с робким смирением отправил Сент-Бёву это стихотворение, по-юношески взволнованное. «Стихи эти были написаны для Вас, — сообщал он автору романа, — причем написаны так наивно, что, перечитав их, я подумал, не выглядят ли они нахально, не будет ли чувствуемый человек оскорблен таким чествованием. Надеюсь получить ответ и узнать Ваше мнение». Возможно, Бодлер получил от Сент-Бёва любезный ответ и похвалы, обычные в таких случаях, но приглашения нанести визит не последовало. Автор «Сладострастия» остерегался начинающих поэтов, льстивших ему в надежде получить отклик в виде статьи.

Письмо Сент-Бёву было подписано «Бодлер-Дюфаи». Здесь объединены фамилии отца и девичья фамилия матери — так Шарль подписывался, оказавшись под контролем опекунского совета. Зачем он взял вторую фамилию? Чтобы отметить таким образом начало нового этапа в жизни или чтобы продемонстрировать свою любовь к Каролине? А может, решил, что просто «Бодлер» — слишком коротко для такого исключительно важного лица, как он, и что двойная фамилия да еще с черточкой посередине будет звучать более необычно и аристократично?

К тому времени он уже несколько месяцев чувствовал себя настоящим писателем, как те, кто перешагнул порог типографии, хотя по-прежнему ничего не опубликовал. Ле Вавассер и Прарон задумали издать коллективный сборник стихов, и Бодлер поначалу присоединился к этому проекту, но потом неожиданно отказался с ними сотрудничать. Он решил, что, участвуя в подобном сборнике, только навредит

себе. Если хочешь сохранить свою исключительность и оригинальность, счел он, никогда не следует присоединять свой голос к голосам других. Наоборот, нужно в одиночку выйти на авансцену, показать всего себя в сборнике, где ты — единственный автор, и получать только в свой адрес хвалу или критику толпы. Для Прарона и Ле Вавассера поэзия была всего лишь приятным развлечением, тогда как для Бодлера она являлась внутренней потребностью, подобно желанию есть или пить. Однако он согласился с идеей написать вместе с Прароном драму в стихах «Идеолус». Эта пародийная пьеса осталась незавершенной. В то же время Бодлер анонимно участвовал в работе над небольшой книжкой «Галантные тайны парижских театров». Это был сборник пикантных историй о жизни некоторых актрис, драматургов и нескольких известных парижан. Там доставалось, кстати, Франсуа Понсару, которого Шарль считал типичным писателем-оппортунистом, растрачивающим свой талант в угоду «здравому смыслу». А еще он послал тогда же статью за подписью «Б...» в сатирическую газету «Тентамар», в статье шла речь о поэтессе Луизе Коле, известной своими пышными формами, неприхотливыми стишками и бесчисленными любовными похождениями. Но руководство редакции «Тентамара», смущенное столь яростной атакой на молодую даму, имевшую множество связей в литературном и политическом мире, ответило Бодлеру в рубрике «Переписка с читателями»: «Г-ну Шарлю Б... Его статья о г-же Л... Ко... не будет опубликована. В ней содержатся детали, касающиеся частной жизни и не вписывающиеся в нашу тематику» («Тентамар», 17-23 сентября 1843 года). А через несколько недель, очевидно, после еще одной попытки Бодлера опубликовать в этой газете свою статью, редакция отреагировала так: «Г-ну Шарлю Б... Результатом публикации Вашей статьи может стать

штраф в 500 франков и три месяца тюрьмы. Мы предпочитаем платить все же несколько меньше» («Тентамар», 3–8 декабря 1843 года).

Забавляясь журналистикой, Бодлер лишь пытался успокоить нервы. Он предчувствовал, что его творчеству место не на живущих одним днем страничках газет. Он так заботился о совершенстве своих стихов, что то и дело возвращался к написанному — порой лишь затем, чтобы заменить одно слово или переставить запятую. Он работает не с глиной, а с мрамором. Порой ему казалось, что он никогда не сочтет свои стихи достаточно отшлифованными, чтобы отдать их на суд любопытствующей публики. Его упорство в исполнении священного долга удивляло товарищей, более легкомысленных и менее сконцентрированных на творчестве. Они угадывали в нем человека другой породы, смущавшего их своими странностями, превосходившего их умом. Вот что написал о нем друг его Асселино: «Смелые замыслы, о которых другие могли лишь мечтать, он осуществлял и заставлял принимать, благодаря упрямой своей воле и отсутствию боязни выглядеть смешным».

Когда он работал один у себя в «Пимодане», то оставлял ключ в дверях. Войти к нему мог всякий. Перебрасываясь словами с непрошеным гостем, он продолжал царапать бумагу острием гусиного пера. Однажды Асселино пошутил над его чрезмерной старательностью в отделке текста. Испепелив его взглядом, Бодлер вскричал, что каждая строка, вышедшая из-под его пера, должна быть будто отлитой в бронзе. Он хотел, чтобы его произведения были так же необычны, так же неприятны для обывателя, как и его жизнь: больной сифилисом, поставленный под контроль опекунского совета, привязанный к любовнице-мулатке, запутавшийся в долгах, высокомерно отказывающийся занять какое-то



положение в обществе и неспособный общаться с сильными мира сего, он гордился всеми этими «изъянами» как главными достоинствами настоящего писателя. Ему казалось, что лишь мать его понимает. Да и то!.. Почему не она осуществляет законную опеку над ним, а какой-то посторонний человек, нотариус, у которого в груди вместо сердца свод законов? Если бы его бюджет контролировала она, он мог бы тратить деньги, как прежде. А тут он вынужден вымаливать у неуловимой Каролины «незаконное свидание» вне стен своего дома (из-за Жанны), в безлюдных залах Луврского музея, а летом — в городском саду. Сидя на скамейке, в стороне от толпы, мать и сын пожирали друг друга глазами и шепотом спорили. Она упрекала его в беспутном поведении, в чрезмерных расходах, в сожительстве с Жанной, а он обвинял ее в том, что она больше его не любит и на все смотрит глазами своего ужасного мужа. Но и с той, и с другой стороны была такая нежность, что самые суровые слова звучали, словно любовные признания. В течение часа или двух Каролине казалось, что Шарль опять стал ребенком, которого она прижимала к груди, когда он приходил из школы, а Шарль забывал свои заботы и до опьянения вдыхал аромат своей матери.

Но как только он расставался с ней, последний раз поцеловав, на него опять обрушивался его настоящий возраст. Возвращаясь к Жанне, он видел вместо белой кожи коричневую, вдыхал вместо нежных духов материнской муфточки мускусный запах мулатки, слышал вместо тихой речи богатой дамы с Вандомской площади крики и брань уличной девки. Агрессивная и вульгарная любовница быстро возвращала себе свою власть над ним. Болтовня Жанны, естественно, приводила его в отчаяние. Но стоило ей двинуться с места, покачать пышными бедрами и призывно выпятить груди, как он снова начинал видеть в ней

античную колдунью, воплощение женского бесстыдства, жрицу Зла, без которой он не может жить.

После любовных утех они любили выпить. Пили обычно белое вино. Потом принимались за более крепкие напитки. Бодлера забавляло это искусственное изменение сознания. Он считал, что надо испробовать все, что способно разломать стереотипы чувств. Разрушать себя, чтобы существовать по-иному, — таков, считал он, девиз сильных людей. И чем сильнее он ощущал зависимость от других, от матери, от Опики, от Ансея, от судейских чиновников, от кредиторов, от всего общества, тем больше хотелось ему убедить себя, что при всех своих слабостях он неизмеримо превосходит людей, желающих подчинить его общепринятым законам.

## Глава X. РАЗРЫВ С СЕМЬЕЙ

В один прекрасный день Бодлер сбрил бороду. Аскетическое лицо, лишенное растительности, острый подбородок и поредевшая шевелюра — он теперь мало походил на свой портрет, написанный год назад Эмилем Деруа. Между тем художник все более и более восторженно относился к своей модели. Он восхищался Бодлером так же, как Бодлер восхищался им. Деруа постигал с его помощью литературу, открывал для себя великих авторов, участвовал в спорах о только что вышедших книгах, а Бодлер учился у Деруа технике живописи, оттачивал свой вкус к картинам, искал в произведениях старых мастеров секрет вечной красоты. Эта страсть заставляла Шарля покупать картины у хитреца Аронделя, даже когда он не имел денег, чтобы расплатиться наличными. У торговца скапливались векселя. Так, он продал Бодлеру пейзаж Пуссена, портрет работы Корреджо, портрет работы Веласкеса, библейский сюжет кисти Тинторетто... Но не были ли то копии? Арондель клялся, что это подлинники. Однако цены выглядели смехотворными: 1200 франков за полотно Цуккари. Купив очередную картину, Шарль мчался из лавочки, находившейся на первом этаже дома, где он жил, к себе, запирался в комнате, ставил картину на какую-нибудь подставку и с восхищением разглядывал полотно. Хранил он свои сокровища или же картины, выдаваемые за сокровища, недолго. Постоянно нуждаясь в деньгах, он перепродавал их торговцу с набережной Сены. Но он был рад и тому, что несколько недель владел шедевром. Так, в его квартире возникло некое подобие маленького музея, где картины хранились недолго, но оставляли после себя незабываемое впечатление. «Славить культ образов —

моя единственная великая страсть», — написал он впоследствии в книге «Мое обнаженное сердце», а в автобиографической заметке сообщил: «Я с самого детства испытывал постоянную тягу к разным образам и пластическим изображениям». Он считал, что это у него наследственная черта, поскольку отец его был довольно искусным художником-любителем. Да и сам он забавы ради часто делал зарисовки.

Считая себя достаточно компетентным, Бодлер решил изложить в брошюре свои впечатления о Салоне, ежегодной выставке, открывшейся 15 марта 1845 года. Он особенно высоко ценил яростные и яркие полотна Делакруа. Его восхищение разделял Эмиль Деруа. В Лувре, где были выставлены произведения, отобранные членами жюри, с ними вместе осматривал картины Асселино, которому предстояло написать о выставке в «Журналь де Театр». Асселино, мало общавшегося в ту пору с Бодлером, поразили его эксцентричная внешность (очень длинный жилет, узкие брюки, черный фрак и пальто из грубой ткани) и безапелляционные суждения. Все трое восхищались полотнами Делакруа, Коро, Декана и отворачивались от Ораса Верне. Их мнения совпадали по всем пунктам. Закончив осмотр картин, они отправились скрепить зародившуюся дружбу за бутылкой белого вина в кафе на улице Карузель.

Бодлер тут же принялся за работу. В его очерке о Салоне 1845 года самые лестные похвалы адресованы Делакруа: «Г-н Делакруа, бесспорно, является оригинальнейшим из всех живописцев, как прежних, так и нынешних. Это так, ничего не поделаешь. Однако ни один из поклонников г-на Делакруа, даже из числа самых восторженных, не рискнул заявить об этом столь же прямо, безоговорочно и откровенно, как это делаем мы». Зато он безжалостно расправился с картиной Ораса Верне «Взятие в плен Абд аль-Кадера и его

свиты» — «Эта африканская живопись холоднее, чем ясный зимний день». Что же касается Луи Буланже, чей талант так высоко ценил Виктор Гюго, Бодлер упрекнул его в низкопробном романтизме, задев заодно и автора «Созерцаний», которого он когда-то боготворил, а потом стал критиковать: «Именно г-н Виктор Гюго погубил г-на Буланже, погубив до него столько других, — именно поэт спихнул в яму художника». В заключение Бодлер утверждал, что только молодость, смелость и дерзость в состоянии возродить вдохновение художников, большинство из которых все еще скованы традициями. Разумеется, он говорил в своей статье о живописцах, о скульпторах, о графиках, но на самом деле думал при этом о себе, о своем намерении привнести в хор благоразумных голосов современных поэтов диссонирующую ноту. «Настоящим художником, именно настоящим, — писал он, — будет тот, кто сумеет показать эпический смысл современной жизни, кто продемонстрирует нам с помощью краски или рисунка, какие мы великие и поэтичные с нашими галстуками и лакированными сапогами. И пусть истинные открыватели доставят нам в следующем году особую радость, каковую испытываешь, видя появление нового». На обложке брошюры, вышедшей в середине мая 1845 года, значилась двойная фамилия автора: Бодлер-Дюфаи. Тираж — 500 экземпляров, издатель — Жюль Лабитт, набережная Вольтера, дом 3. На обороте обложки анонсировался «находящийся в печати» труд «О современной живописи», а также сообщалось, что выйдут в ближайшее время работы «О карикатуре» и «Давид, Герен и Жироде». Ни одна из них не увидела света, но собранный материал был использован в других работах. Тотчас после появления «Салона 1845 года» Бодлер написал своему другу журналисту Шанфлёр: «Если хотите написать обо мне *шуточную* статью, пишите, но не очень обидную. А вот *если хотите*

*доставить мне удовольствие, напишите несколько серьезных строк и УПОМЯНИТЕ о „Салонах Дидро“. Будет еще лучше, если сделаете и то и другое».*

Шанфлёр выполнил просьбу, опубликовав в газете «Корсэр-Сатан» от 27 мая заметку — правда, без подписи автора: «Господин Бодлер-Дюфаи пишет так же смело, как Дидро, хотя и не прибегает к парадоксам». Такая формулировка понравилась Бодлеру. Тем более что в другом месте Шанфлёр отметил схожесть взглядов Бодлера со взглядами Стендаля. Следует упомянуть также доброжелательный отзыв Вавассера (под псевдонимом Сивиль) в газете «Журналь д'Аббевиль» и статью Огюста Ватю в «Силуэте». Не густо! Но к тому времени Бодлеру уже хотелось, чтобы его брошюра о Салоне 1845 года осталась вообще незамеченной. Перечитав книжечку, он нашел ее посредственной. Неужели ему так и не удастся создать безупречное произведение, о котором он мечтает день и ночь вот уже много лет? Пусть одну книгу, но которой он смог бы гордиться от начала и до конца!

Пока же он пытался за спиной г-на Ансея выпросить у матери хоть сколько-нибудь денег. Он называл себя в письмах плохим сыном. Но у него ведь было столько уважительных причин, столько смягчающих обстоятельств! «Я несчастен, унижен и опечален, меня постоянно терзает нужда. Я думаю, что ко мне все же надо относиться со снисхождением, — писал он Каролине. — Еще немного, и я, может быть, разделаюсь со своими трудностями, душа моя станет свободнее, и я стану для тебя таким, каким всегда хотел бы быть. Если позволишь, нежно тебя целую».

Неожиданно, удрученный пустотой своего существования, он решает покончить с собой. По всей вероятности, он был не совсем искренен, принимая это крайнее решение. Конечно, он полагал, что смерть

одним ударом избавит его от всех проблем, но в то же время надеялся, что, если случайно самоубийство окажется неудачным, перепуганные родственники станут более терпимыми и внимательными. Его привлекали одновременно и возможность уйти в небытие, и попытка улучшить свое материальное положение, он готовился умереть, надеясь на неудачу мероприятия. Не чуждый ни роковой решимости, ни трусливого обмана, он подмешивал правду в притворство и притворство в правду. И 30 июня 1845 года Бодлер приступил к выполнению своего замысла. Он написал длинное послание мэтру Анселю, своему советнику-юристу: «Когда мадемуазель Жанна Лёмер [Жанна Дюваль, его любовница] передаст Вам это письмо, я буду уже мертв. Она этого не знает. Вам известно содержание моего завещания. За исключением того, что положено моей матери, госпожа *Лёмер* должна унаследовать все, что я оставляю, после того, как Вы оплатите мои долги, список которых прилагается. [...] Я убиваю себя, не испытывая сожаления. Мне чужды какие-либо переживания, именуемые *тоской*. Мои долги никогда не причиняли мне *горя*. Нет ничего проще встать выше этого. Я убиваю себя, потому что не могу больше жить, потому что устал и засыпать, и пробуждаться, устал безмерно. Я ухожу из жизни, потому что я никому не нужен и *опасен для самого себя*. Я ухожу, потому что считаю себя бессмертным и потому что *надеюсь*. В ту минуту, когда я пишу эти строки, я настолько ясно мыслю, что пишу одновременно *еще* кое-что для г-на *Теодора де Банвиля*, и чувствую в себе силу заниматься своими рукописями. Я завещаю и отдаю госпоже Лёмер все, что имею, в том числе мебель и мой портрет, ибо она — единственный человек, от общения с которым душа моя отдыхала. Кто может упрекнуть меня в том, что я хочу заплатить за редкие минуты счастья, какие выпали мне

на этой ужасной земле? Я *мало знаю* своего брата, он *не жил во мне и вместе со мной*, он во мне не нуждается. Мать моя, так часто, сама того не желая, отравлявшая мне жизнь, тоже не нуждается в этих деньгах. У нее есть муж, она владеет *человеческим существом, любовью, дружбой*. А у меня есть только *Жанна Лёмер*. Только в ней я нашел покой, и я не хочу, не могу допустить мысль, что ее захотят лишить того, что я ей даю, под предлогом, будто я нахожусь не в здравом уме. Вы же слышали, как я беседовал с Вами в эти последние дни. Был ли я похож на умалишенного? [...] Жанна Лёмер — единственная женщина, которую я любил, и у нее нет ничего. И вот Вам, господин Ансель, одному из немногих людей, кого я считаю наделенным возвышенным и добрым умом, Вам я поручаю исполнить последнюю мою волю в отношении этой женщины. [...] Направляйте ее Вашими советами и — смею ли я просить Вас об этом — любите ее, хотя бы ради меня. На моем ужасном примере покажите ей, как беспорядок в душе и в жизни приводит к мрачному отчаянию или к полному уничтожению. [...] Теперь Вы видите, что это завещание — не фанфаронство и не выпад против общественных идей и семьи, а просто выражение всего, что еще сохранилось во мне человеческого — любви и искреннего желания принести пользу той, кто была иногда моей радостью и моим отдохновением. Прощайте!»

Закончив завещание, Бодлер нанес себе удар ножом в грудь. Рана оказалась неглубокой. Но поэт потерял сознание. Все это произошло в кабаре на улице Ришелье, в присутствии Жанны. Она попросила перенести раненого к ней, в дом 6 по улице Фамм-сен-Тет. Скоро подоспел врач, который всех успокоил и порекомендовал раненому полный покой. Шарль, с одной стороны, почувствовал облегчение оттого, что остался жив, а с другой — стыд из-за смешной



царапины. Если бы он по-настоящему хотел покончить с собой, то выбрал бы более надежный способ уйти из жизни. Порез перочинным ножом выглядел несерьезно. Шарль, чувствуя себя еще очень слабым, захотел навестить мать, чтобы объяснить ей, что толкнуло его на такой шаг. Но Жанна, уходя, заперла его в своей комнате. Тогда он принялся писать Каролине письмо: «Я уже оделся, чтобы пойти повидать Вас, но дверь оказалась закрыта на два оборота ключа. Похоже, врач не хочет, чтобы я двигался. Так что пойти повидать Вас я сейчас не могу [...] Может быть, Вы принимаете мои страдания за шутку? И смеете лишить меня возможности видеть Вас? Говорю Вам, что Вы мне нужны, что я должен Вас видеть, говорить с Вами. Поэтому придите ко мне, придите *прямо сейчас*, отбросив в сторону манеры. Я нахожусь у женщины, но я болен и не могу сам пойти к Вам [...] Меня прячут, держат меня под замком, Вы не отвечаете на мои письма, мне пишут, что я не могу Вас видеть, что все это значит? Умоляю Вас, придите повидать меня, но сейчас же, сейчас же, и не надо криков». А в постскрипуме угроза: «Уверяю Вас, что если Вы не придете, это может привести к новым несчастным случаям. Я хочу, чтобы Вы пришли одна».

Конечно же Каролина бросила все и побежала к постели больного, несмотря на отвращение, которое ей внушала приютившая его мулатка. Увидев, в каком печальном состоянии и в какой нищете пребывает ее сын, она добилась от генерала Опики согласия временно приютить его в их апартаментах на Вандомской площади. А Шарль, ослабевший и растроганный, пообещал, в который уже раз, исправиться. И как бы в залог своих благих намерений даже согласился записаться в Национальную школу хартий, где готовили архивистов. Однако холодная дисциплина, царившая в доме, чопорные манеры

прислуги, скука трапез за семейным столом претили ему. Едва придя в себя, он стал все чаще и чаще убегать из этой золотой клетки к своим друзьям. Но генерал требовал, чтобы пасынок возвращался хотя бы к ужину. Как-то в июле Шарль не смог вернуться к сроку и просил извинения в довольно бесцеремонной записке: «Извините меня за это нарушение „устава“, поскольку оно у меня первое».

Вскоре после этого «устав» до того ему осточертел, что он сбежал, оставив матери письмо: «Я уйду и вернусь только тогда, когда мое душевное и материальное состояние будет более приличным. Я уйду по ряду причин. Во-первых, я впал в маразм и в ужасную отупелость ума, и мне необходимо основательно побыть в одиночестве, чтобы немного прийти в себя и набраться сил. Во-вторых, я не могу стать таким, каким хотел бы меня видеть твой муж; следовательно, жить дольше у него значило бы его обкрадывать. И, наконец, я не думаю, что это *прилично*, — обращаться со мной так, как он, по-видимому, отныне желает со мной обращаться. Возможно, мне придется туго, но так будет все-таки лучше. Сегодня или завтра я пришлю тебе письмо с указанием необходимых мне вещей и адреса, куда их следует прислать. Мое решение продиктовано здравым смыслом, оно твердое и окончательное. Так что не нужно жаловаться, а надо просто меня понять».

Несколько дней спустя, повстречав своего друга Луи Менара, Бодлер со смехом сообщил ему: «Я опять ушел из семьи. Так не могло продолжаться. В доме моей матери пьют только бордо, а я люблю только бургундское». По обыкновению, на публике он бодрился, чтобы скрыть свои переживания.

Поселился он в гостинице «Дюнкерк», на улице Лафит, 32, оттуда опять написал Каролине: «Надо срочно выслать мне по адресу: „улица Лафит, 32, отель

*„Дюнкерк“, г-ну Бодлеру-Дюфай*“ сундучок с бельем, обувью и двумя черными галстуками, а также все мои книги. Все это абсолютно мне необходимо, причем срочно. Не надо посылать мне никаких писем с упреками и просьбами вернуться, я не вернусь. Могу только подтвердить тебе, что через какое-то время ты и сама будешь довольна».

Он жил в гостиницах, в меблированных комнатах, часто переезжал с места на место и почти не посещал Национальную школу хартий, куда записался, чтобы сделать приятное родителям. Зато ходил по редакциям газетенок, эпатировал коллег своей ледяной иронией и иногда забавы ради отдавал сонеты своему другу Прива д'Англемону, который публиковал их под собственным именем. Отдавая стихи другому, он хотел показать, что презирает людское тщеславие. Розыгрыш, фарс, обман были для него способами скрыть свое истинное лицо под маской, своеобразным проявлением достоинства и сдержанности. Запутывая следы, он надеялся укрыться тем самым от любопытных глаз, но в действительности лишь привлекал к себе взгляды. Его неудачное самоубийство, возможно, тоже было вызвано этой же потребностью в выдумке, получившей тут, однако, более драматичную форму.

Хотя в прощальном письме Анселю он утверждал, что Жанна Дюваль (г-жа Лёмер) была единственной женщиной, которую он когда-либо любил, едва вернувшись в число живых, он тут же стал изменять ей с танцовщицами из труппы «Мабиль», например с Элизой Сержан по прозвищу «королева Помарэ»<sup>[32]</sup>. Она поселилась в гостинице «Пимодан», откуда Бодлер выехал незадолго до этого. В той же гостинице жил и художник Буассар со своей любовницей Марикс. В их апартаментах устраивались оргии, курили гашиш. Гости, заплатив за «зеленое варенье» 3-5 франков

каждый, наслаждались галлюцинациями. Бодлер иногда тоже появлялся на этих вечеринках, но практически не употреблял зелья. Он предпочитал наблюдать. На одном из таких вечеров он встретил Теофиля Готье, всклокоченного толстяка-весельчака. Восхищаясь творчеством автора «Путешествия в Испанию», он все же был шокирован фамильярностью его манер, обращением на «ты» ко всем подряд и непристойным смехом. Случалось ему видеть там мельком и Бальзака, но тот, лишь пригубив божественное зелье, удалялся, не выказав ни малейшего волнения, ни удовольствия. Бодлер тоже остерегался. Он хотел сохранять сознание ясным, так как уже несколько недель подрабатывал, сотрудничая в журнале «Кор-сэр-Сатан», где публиковал довольно ядовитые статьи. Из осторожности он предпочитал не подписывать эти свои сатирические произведения.

Но вот 21 января 1846 года появилась большая статья за подписью Бодлера-Дюфаи: «Классический музей Базара Бонн-Нувель». Так называли коммерческую выставку одиннадцати картин Давида и тринадцати картин Энгра. При том, что Бодлер был безусловным поклонником блестящего искусства Делакруа, в данном случае он восхищался Давидом, особенно его картиной «Смерть Марата»: «Перед нами драма, острая драма во всем своем жалком ужасе и, как ни странно, этот шедевр Давида — одна из выдающихся картин современного искусства и в ней нет ничего тривиального или отталкивающего. [...] В холодном воздухе этого помещения с его холодными стенами, над этой холодной и ужасной ванной витает душа». Энгру тоже досталась своя порция похвал: «Все считают, все утвердились во мнении, что живопись Энгра тусклая. Открой же глаза, глупая публика, и скажи, где еще и когда вы видели более яркую и броскую живопись, более удачно найденные тона? [...] Если бы г-н Энгр

получил заказ с острова Киферы, его картина была бы не игривой и проказливой, как у Ватто, а мощной и полнокровной, как античная любовь».

Вскоре после этого Бодлер отдал в тот же журнал заметку под названием «Собрание утешительных максим о любви» (где анонсировал еще один очерк, более длинный, «Катехизис любимой женщины»). Автор развлекался, давая циничные советы влюбленным: «Природа, как в кухне, так и в любви, редко стремится вызвать у нас симпатию к тому, что нам вредно». Вспоминая о «Косоглазке», он добавлял: «У некоторых людей, более любопытных и пресыщенных, удовольствие от обладания уродством восходит к еще более загадочному чувству, каковым является тяга к неизвестному и пристрастие к ужасному. [...] Мне жаль любого, кто не понимает этого; он подобен арфе, у которой нет басовой струны!» Не о Жанне ли он думал, когда писал: «Есть люди, краснеющие, когда до них вдруг доходит, что их любимая глупа. Такие тщеславные, много о себе мнящие люди достойны питаться лишь непотребными колючками или общаться лишь с синими чулками. Глупость часто украшает привлекательную женщину. Именно она придает глазам мрачный отблеск темных оматов и маслянистую неподвижность тропических морей». Или вот еще: «Любите женщин холодных. Любите их как следует, так как чем больше вы вложите труда, тем большие вам воздадут когда-нибудь почести на суде Любви, заседающем там, за бескрайней голубизной! [...] Если женщина полная порой является очаровательным капризом, то женщина худощава — это настоящий кладезь темного сладострастия!»

Чтобы подшутить над своим сводным братом Альфонсом, чиновником, настоявшим на том, чтобы установить над Шарлем опеку, а также над сводной сестрой, елейной Фелисите, Бодлер отправил ей

«Собрание утешительных максим о любви» с сопроводительным письмом, датированным 3 марта 1846 года: «Сударыня, Вам, возможно, будет интересно узнать, как Бодлер-Дюфай разрабатывает такую трудную и вместе с тем естественную тему, как Любовь. Посылаю Вам этот маленький опус, недавно вышедший из-под моего пера. Лучшего судьи, чем Вы, я не мог бы сыскать, а потому полностью отдаюсь на Ваш суд [...] Что Вы скажете о моих принципах и о советах, которые я даю представительницам лживого пола, часто лишь делающим вид, что они любят? [...] Соболаговолите, сударыня, быть моим добрым гением на поприще, открывающемся передо мной через *посредство любви*... я чуть было не сказал: под влиянием женщины».

Должно быть, читая это вежливо-наглое письмо, Фелисите испытала то же неприятное ощущение, какое испытывает порядочная женщина, которую толкнул на улице подвыпивший денди. Бодлер наделил чертами этой красивой ломаки г-жу де Космели, одну из героинь «Хвастуны», новеллы, которую он тогда сочинял. Другую героиню он списал с Лолы Монтес, огненной танцовщицы в испанском стиле, которая то и дело становилась причиной скандальных разводов, банкротств, дуэлей и политических заговоров. Бодлеру нравились такие создания с огненными взглядами и манерами лихих амазонок. Жанна, его любовница, больше всего возбуждала его, когда она была в гневе. В такие моменты он видел перед собой нечто вроде гибрида: мужчину с его волей к власти, а вместе с тем и груди женщины, торс женщины. Отсюда двойное удовольствие.

В то время как журнал «Корсэр-Сатан» требовал от Бодлера коротких статей, нашпигованных комическими деталями и злыми шутками, он уже вынашивал замысел серьезных и более обстоятельных произведений. Журнал «Эспри публик», с которым он

установил контакт, напечатал в трех номерах подряд рассказ за его подписью — «Юный чародей, или История, рассказанная в палимпсесте, раскопанном в Геркулануме». Но это был обман, так как опубликованный рассказ — в сущности сделанный на скорую руку перевод английской новеллы, появившейся в 1836 году и, по-видимому, написанной преподобным Кроули. Он был помещен в одном из keepsake<sup>[33]</sup>, очень распространенных в Великобритании, «The Forget me not»<sup>[34]</sup>. После этого беспардонного плагиата тот же журнал опубликовал (от 15 апреля 1846 года) «Советы молодым литераторам». Удивительная самоуверенность автора, чей собственный багаж был тогда еще весьма скуден. «Вы прочтете наставления, основанные на личном опыте», — утверждал он. Или вот еще одна проделка: «Карикатурный салон», — пародия в стихах, состряпанная анонимно Бодлером, Банвилем и Витю и изданная Шарпантье.

Однако самое большое внимание Бодлер-Дюфаи уделил Салону, который открылся в Лувре 16 марта 1846 года. Издатель Мишель Леви в начале мая выпустил его брошюру в 140 страниц с подробным анализом картин. Бодлер развивал собственную концепцию новаторского романтизма. «Для меня, — писал он, — романтизм является самым современным, самым свежим выражением прекрасного. [...] Кто говорит романтизм, тот говорит: современное искусство, то есть глубина, духовность, цвет, стремление к бесконечному выражены всеми средствами, какие только есть у искусства». Этот романтизм, по его мнению, более, чем когда-либо прежде воплощался в творениях Делакура: «Не знаю, гордится ли он тем, что он романтик, — размышлял Бодлер, — но его место именно здесь, ибо большинство публики, можно сказать, с первой же картины признало

его главой *современной* школы». Зато Орас Верне раздражал его в высшей степени: «Терпеть не могу такого искусства, создаваемого словно под барабанный бой, не могу видеть эти холсты, намалеванные галопом, эту живопись, которая точно выстреливается из пистолета, ненавижу ее, как ненавижу вообще армию, военщину и все то, что с бряцанием оружия вторгается в мирную жизнь». Генерал Опик должен был вздрогнуть, читая подобные строки. Молодой критик задевает на ходу и Виктора Гюго, которого он уже успел разлюбить: «Г-н Виктор Гюго, чье благородство и величие я, разумеется, не собираюсь принижать, является, скорее, умелым рабочим, чем изобретателем, скорее исполнительным тружеником, чем создателем. Делакруа порой бывает неловок, но он преимущественно творец. [...] Г-н Гюго был естественным образом академиком, даже еще не родившись. [...] Г-н Виктор Гюго стал живописцем в поэзии. А Делакруа, всегда верный своему идеалу, часто, сам того не сознавая, оказывается поэтом в живописи». И, наконец, решающая сентенция, резюмирующая все: «Попробуйте устранить Делакруа, и непрерывная цепь истории разорвется, и разъятые звенья ее рухнут на землю».

Решив, что его восхищение художником дает ему право встретиться с ним, Бодлер несколько раз посетил Делакруа и увидел странного человека, стесняющегося неумеренных похвал в свой адрес. Присмотревшись к нему, Бодлер догадался, что этот революционер в искусстве — по природе своей человек боязливый, законопослушный, противник излишеств во всем и старается держать дистанцию между собой и своим гостем, находя его подозрительно странным. Это, однако, не помешало поклоннику живописца занять у своего идола полторы сотни франков, пообещав ему вернуть деньги через два месяца.



Как и прежде, он пребывал в безденежье. Продажа «Салона 1846 года» почти ничего ему не принесла. Крупные газеты даже не обратили внимания на эту брошюру. Кроме того, его друг, — Эмиль Деруа, незадолго до этого скончался то ли от сифилиса, то ли от туберкулеза. Бодлеру некогда было огорчаться из-за этой потери. У него хватало своих проблем, чтобы он мог жалеть еще и других. Из письма в письмо он умоляет г-жу Опик помочь ему дополнительно, помимо Анселя. Мать не соглашалась, и он злился. Он уже не понимал, должен ли он видеть в ней верного друга или врага, принявшего обличье матери: «После моего переезда с Вандомской площади я не обнаружил среди моих рисунков Вашего портрета. Несмотря на наши раздоры и все неприятности, нас разделившие, уверяю Вас, что этот портрет мне очень дорог». У него были ненастоящие родители, ненастоящие друзья, ненастоящая любовница, ненастоящее будущее. Порой он сожалел, что сам оказался способен лишь на ненастоящее самоубийство.

## Глава XI. ПЕРВЫЕ ШАГИ В ЛИТЕРАТУРЕ

Журнал «Эко де Театр» опубликовал 23 августа 1846 года очерк за подписью Бодлера-Дюфаи «Как платят долги, имея гениальную голову», годом раньше появившийся без подписи в «Корсэр-Сатан». Это был великолепный портрет Бальзака, которого автор высмеивал за коммерческие манипуляции, одновременно восхваляя неистощимую фантазию романиста: «Это был он, человек, переживший мифологические банкротства, человек фантастических и гиперболических предприятий, о смысле которых всегда можно только гадать; он, великий творец сновидений, вечно поглощенный *поисками абсолюта*; он, самый забавный, самый комичный, самый интересный и самый тщеславный из всех персонажей „Человеческой комедии“; он, этот оригинал, столь же невыносимый в жизни, сколь великолепный в том, что выходит из-под его пера; он, этот ребенок-толстяк, напичканный гениальностью и тщеславием, в котором столько достоинств и столько недостатков, что прямо не решаешься выделить что-либо одно, чтобы не повредить другому, рискуя испортить это неисправимое и роковое чудище!» Безупречный стиль. В двадцать пять лет Бодлер-прозаик уже в совершенстве владел пером. А две недели спустя в журнале «Артист» появилось первое его серьезное стихотворение<sup>[35]</sup> — «Дон Жуан в аду»:

С грудями тощими и в одеяньях рваных  
Под небом траурным клубился женщин рой,  
И, как последнее мычанье жертв закланных.  
За дон Жуаном плыл их заунывный вой.

И Сганарель, глумясь, настаивал на плате,  
И гневный дон Луис трясущимся перстом  
Указывал тням, явившимся некстати.  
На сына дерзкого, позорившего дом. [...]  
В доспехах каменных стоял с ним некто рядом.

Но, опершись на меч, безмолвствовал герой,  
И, никого вокруг не удостоив взглядом,  
Смотрел, как темный след терялся за кормой<sup>[36]</sup>.

Явно навеянное двумя полотнами Делакруа: «Крушение Дон Жуана» и «Лодка Данте», стихотворение первоначально называлось «Нераскаявшийся». И это лаконичное название хорошо выражало мысль автора. У Бодлера Дон Жуан «спокоен», поскольку он не является обычным бабником, одним из многих распутников-насмешников, он — воплощение зла на земле. Оскорбляя всеми способами мораль, он выполняет высокую миссию. Он представляет собой нечто вроде законченного денди. Такого, который выступает не только против себе подобных, но и против Бога.

Несмотря на мрачную и неординарную красоту стихотворения, оно осталось незамеченным. В «Артисте» его представили как стихотворение, которое войдет в готовящийся к изданию сборник под названием «Лимбы». За семь месяцев до этого, на обложке брошюры «Салон 1846 года» этот же сборник анонсировался под названием «Лесбиянки». Подумывая уже о заголовке, Бодлер, однако, к тому времени далеко не все главные произведения своей книги еще написал. Многие находилось в стадии замысла. По своему обыкновению, он жил будущим. Стоило ему

сложить дюжину строк, как он воображал, будто перед ним целое произведение.

При этом он сожалел о том, что материальные заботы постоянно мешают его вдохновению. Вокруг него Париж бурлил, сотрясаемый политической лихорадкой. Люди, тоскующие по Революции, выступали против монархии, всячески насмехаясь над ней. Бодлер сочувствовал беднякам, страдающим от голода и холода, но испытывал отвращение к демократии. Он видел в сторонниках эгалитаризма врагов элегантности, оригинальности и, соответственно, искусства. В брошюре «Салон 1846 года» он прямо писал: «Испытывали ли вы [...] такую же радость, как и я, при виде стража порядка, лупцующего республиканца? Может быть, как и я, вы в душе говорили: „Бей, бей еще, да посильнее, бравый сержант, я восхищаюсь тобой, ибо ты подобен Юпитеру, великому поборнику справедливости. Человек, которого ты колотишь, — враг цветов и духов, фанатик орудий труда; это враг Ватто, враг Рафаэля, заклятый враг роскоши, искусств и художественной литературы, варвар-иконоборец, разрушитель Венеры и Аполлона! Этот безымянный и обездоленный рабочий не хочет больше работать над созданием общественных роз и духов. Он хочет быть свободным, этот невежда, не способный открыть цветочное хозяйство для выращивания роз или новое предприятие по производству духов. Бей же больнее по спине анархиста!“»

Для Бодлера и анархист, и республиканец были на одно лицо. Пытаясь поднять голову, невежественный пролетарий нарушает гармонию мира. Он мешает расцветать исключительным личностям. Равенство перед законом — абсурд, так как нельзя же уравнивать Ламартина и сапожника, что работает на углу. Предоставить каждому из них один голос, чтобы

выбрать представителей народа, — это издевательство над разумом и, следовательно, над Богом. У Бодлера, ярого защитника класса избранных, было, однако, много друзей из числа республиканской молодежи: Луи Менар, с которым Бодлер более или менее помирился после своей обидной статьи о нем в «Корсэр-Сатан», Леконт де Лиль, Теофиль Торе, Ипполит Кастий, поэт-песенник Пьер Дюпон...

Бодлер посещал кабачки, где накал политических страстей достигал высшей степени. Вокруг бильярдных столов и досок для игры в триктрак разгорались жаркие споры. Оппозиционеры организовывали особые «банкеты» для распространения идей реформы избирательного права и парламентаризма, идей, которые воспламеняли мозги. Бодлер не любил ни Луи-Филиппа, ни толпу, ни солдафонов, ни левых ораторов-утопистов, но и его увлекала анархистская агитация товарищей. Как только речь заходила о сопротивлении, о разрушении или обновлении, у него поднималась температура.

Если Бодлер был не слишком крепок в своих политических убеждениях, то в литературе он отличался весьма определенными предпочтениями. Он испытал настоящий шок, познакомившись с фрагментами произведений Эдгара По. Этот писатель, пользовавшийся дурной славой, тотчас стал для него образцом и путеводной звездой. Бодлеру нравилась его порочность, его жестокость, его загадочность и стремление к совершенству формы. Несмотря на то, что переводы были слабые, от этого чтения он оказался буквально во власти этого своего другого «я». Как писал Асселино, «Бодлер У всех, будь то на улице, и в кафе, и в типографии, и утром, и вечером, спрашивал: „А вы читали Эдгара По?“ И, в зависимости от ответа, делился своим восторгом или забрасывал собеседника вопросами. Услышав, что в Париже проездом находится

какой-то американец, встречавшийся с Эдгаром По, он потащил с собой Асселино в гостиницу на бульваре Капуцинок, где остановился путешественник. Мы застали его в одной рубашке и в кальсонах, — рассказывал Асселино, — посреди целой флотилии самых разных туфель, которые он примерял с помощью сапожника. И Бодлер, не дав американцу опомниться, устроил ему допрос между примеркой пары ботинок и пары домашних туфель. Мнение того об авторе „Черного кота“ было отнюдь не благожелательным. Я, в частности, помню, как он сказал нам, что г-н По был человеком с причудливым складом ума и что речь его была бессвязной. Сердито надевая шляпу на лестнице, Бодлер сказал мне: „Заурядный янки, не более того!“»

Гюстав Курбе, с которым Бодлер познакомился незадолго до этого, за несколько сеансов написал его портрет. Ни бороды, ни усов, коротко подстриженные волосы, высокий лоб, черные глаза, сжатые губы. Широкий галстук завязан пышным узлом. Среди своих приятелей, завсегдатаев кафе, ходивших в поношенной одежде сомнительной чистоты, он по-прежнему изображал денди. Хотя у него одежда тоже была не нова, рубашки его отличались безукоризненной чистотой. Он готов был скорее остаться без обеда, чем появиться на людях неопрятно одетым.

Нотариус Ансель все еще пытался убедить его в необходимости найти постоянное и хорошо оплачиваемое место, но Бодлер упорно твердил, что ему необходима независимость и что он презирает общественные условности. Разумеется, его собеседник передавал эти высказывания г-же Опик и та расстраивалась. «Все это, — писала она нотариусу, — меня беспокоит и даже пугает. Мне кажется, что если он не верит ни в какое из подходящих порядочному человеку чувств, то ему остается лишь один шаг до дурного поступка, и от этой мысли меня охватывает

ужас. А мне-то думалось, что мой сын, несмотря на неупорядоченность его быта и его экстравагантные идеи, все же является человеком чести и что мне не придется ждать от него какого-нибудь гадкого поступка. Я рассчитывала также на его честолюбие, на определенную гордость его души, не говоря уже о том, что я надеялась на какую-то религиозность у него, на то, что он, хотя и не ходит в церковь, все же является верующим человеком. Видите, какие мучения я испытываю, думая о Шарле, потому что его состояние все ухудшается, так как он упорствует, а годы же идут. А уж я ли не молилась Господу, чтобы сын переменялся! Если я пошла на такую тяжелую для меня разлуку с ним, возможно явившуюся причиной беспорядочного образа жизни Шарля, то лишь потому, что полагала, что поступаю правильно, в его же интересах. Я не хотела навязывать мужу присутствие молодого человека, чьи идеи и привычки так мало походили на его собственные. Как женщина я во всем вижу прежде всего чувства».

Обязанный в случае малейшего превышения месячной нормы расходов обращаться к Анселю, Бодлер в большинстве случаев слышал в ответ, что прежде надо получить разрешение матери. Однажды, желая купить умывальник, он поехал из Нёйи, где жил нотариус, на Вандомскую площадь, где жила Каролина, чтобы получить от нее такое разрешение. Он торопился, остановил наконец экипаж перед домом родителей и отправил матери записку следующего содержания: «Только в случае крайней необходимости, например, *когда я очень голоден*, я обращаюсь к Вам, настолько мне все это отвратительно, настолько надоело. В довершение всего г-н Ансель требует Вашего разрешения. Вот почему, несмотря на дурную погоду и усталость, я приехал ходатайствовать о том, чтобы Вы позволили мне получить в Нёйи деньги, чтобы купить

[...] *умывальник* и иметь возможность питаться в течение нескольких дней. [...] К Вам я не поднимаюсь, так как знаю, каких *унижений и оскорблений это будет мне стоить*. Я немедленно отправлюсь в Нёйи, чтобы отвезти туда Ваше разрешение. Жду ответ, сидя в экипаже внизу. Уничтожьте эту записку, ибо *Вам будет стыдно, если ее найдут*».

Каролина не уничтожила записку, а лишь надорвала ее, обливаясь горькими слезами. Находясь между мужем и сыном, она чувствовала себя виноватой всякий раз, когда оказывала предпочтение тому либо другому. А Шарлю порой казалось, что отчим убил его отца, чтобы завладеть местом покойного в супружеской постели. Он готов был представить себя в роли Гамлета, обнаружившего измену матери и преступление узурпатора. Оставшись сиротой, он должен был наказать мать за неверность и отомстить за убийство. Его ненависть к Опику принимала шекспировские масштабы.

Тем временем он подыскал себе новую квартиру в доме 16 по улице Бабилон. Мать и на этот раз оказалась вынуждена ему помочь, чтобы он мог прилично обставить новое жилище. 4 декабря 1847 года в длинном письме несчастной матери он излил свою горечь, рассказал об испытываемом им стыде и признал свою вину: «Конечно, я обязан поблагодарить Вас за Вашу любезность, за то, что Вы помогли мне с вещами, необходимыми для жизни в более удобных условиях, чем те, в которых я жил уже долгое время... Но теперь, когда мебель куплена, я остался без гроша и без некоторых предметов, столь необходимых в быту, например, без лампы, без умывальника и т. п. Скажу лишь, что мне пришлось выдержать долгий спор с г-ном Анселем, чтобы вырвать у него денег на дрова и уголь. Если бы Вы знали, какого труда мне стоило взять в руки перо и еще раз обратиться к Вам, не слишком надеясь,



что Вы, чья жизнь всегда была легкой и размеренной, поймете, каким образом я оказался в таком затруднительном положении! Представьте себе постоянную праздность из-за постоянного недомогания, при том, что я глубоко ненавижу эту праздность и абсолютно не могу из нее выкарабкаться из-за вечного отсутствия денег. Разумеется, в подобных случаях, хотя это для меня и унижительно, мне все же лучше еще раз обратиться к Вам, чем к людям, не испытывающим ко мне ничего, кроме безразличия, и неспособным проявить ко мне симпатию. Вот что со мной случилось. Счастливый от обладания квартирой и мебелью, но обезденежевший, я несколько дней провел в поисках кого-нибудь, кто бы меня выручил, и вот в понедельник вечером, вконец усталый, расстроенный и голодный, я вошел в первый попавшийся отель и с тех пор в нем нахожусь, *и на то есть веская причина*. Я дал адрес этого отеля одному другу, которому одолжил денег, четыре года назад, когда у меня были средства, но пока друг не выполняет своего обещания. Кстати, израсходовал я не очень много, каких-нибудь 30 или 35 франков за неделю, но это еще не все. Полагаю, что по Вашей доброте, к сожалению, всегда недостаточной, Вы сообразоволяете вытащить меня из этого глупого положения. А что я буду делать, например, завтра? Ведь праздность меня убивает, точит меня и пожирает. Я и в самом деле не знаю, как у меня еще хватает сил преодолевать губительные последствия этой праздности и сохранять при этом полную ясность ума и постоянную надежду на благополучие, счастье и покой. Так вот я и обращаюсь к Вам с *мольбой*, ибо чувствую, что дошел до предела, до предела терпения не только других людей, но и своего собственного. *Пришлите мне, даже если это будет Вам стоить невероятных усилий и даже если Вы не поверите в полезность такой последней услуги, не только сумму, о которой идет*

*речь, но и еще что-то, чтобы я мог прожить дней двадцать.* Определите сами, сколько нужно, в соответствии с собственными представлениями. Я твердо верю в то, что смогу правильно распорядиться своим временем, и верю в силу своей воли, а потому нисколько не сомневаюсь, что если бы я мог в течение двух-трех недель вести правильный образ жизни, *мой рассудок был бы спасен.* Это — последняя попытка, *моя последняя ставка.* Прошу Вас, дорогая мама, рискните, поставьте на нечто неизвестное. Последние шесть лет были у меня полны таких странных и неудачных обстоятельств, что если бы не мое здоровье — как ума, так и тела, — то я бы не выдержал всех этих испытаний. Объяснение тут простое: легкомыслие, привычка откладывать на завтра самые правильные планы, а отсюда нищета, нищета и опять нищета. И вот пример: мне случалось по три дня валяться в постели, то из-за того, что не было чистого белья, то из-за отсутствия дров. Ну а опийная настойка и вино — плохие средства от тоски. Они помогают убивать время, но жизнь от них не становится лучше. Да к тому же, чтобы задурманить голову, нужны деньги. В последний раз, когда Вы любезно дали мне 15 франков, *двое суток перед этим,* то есть сорок восемь часов, я ничего не ел. Я то и дело ездил в Нёйи, но не решался признаться г-ну Анселю в своей незадачливости, а на ногах держался лишь благодаря водке, которой меня угостили, при том, что я терпеть не могу крепкие напитки, от которых начинаются ужасные боли в желудке. Желаю как Вам, так и себе, чтобы подобных признаний не слышали ни ныне живущие люди, ни их потомство! Ибо я все еще полагаю, что идея потомства касается и меня тоже. [...] Пусть же это письмо, адресованное только Вам, первому человеку, которому я делаю такие признания, останется в Ваших руках. [...] Кстати, прежде чем писать Вам, я подумал обо всем и *решил не встречаться*

*больше с г-ном Анселем, с которым у меня уже были две неприятные встречи [...] Я слишком страдаю, чтобы не желать покончить с этим окончательно».*

Эту угрозу покончить с собой Бодлер дальше смягчил, сообщив, что мог бы положить конец своим мучениям в Париже, уехав на остров Маврикий, где думающие о его благополучии друзья подыскали бы ему место воспитателя: «Я найду там необременительную работу, заработок, вполне приличный для страны, где жизнь, если там прочно обосноваться, не представляет никаких трудностей, и скуку, ужасную скуку и расслабление мозгов, обычное для теплых стран с вечно голубыми небесами. Но я поступлю так в наказание и во искупление своей гордыни, если не выполню последних моих решений».

Напугав таким образом свою мать, он изложил ей проект, который, по его мнению, позволит ему выбраться из затруднительного положения: «Примерно восемь месяцев назад мне поручили написать две большие статьи, так и не законченные мной до сих пор, одну — *об истории карикатуры*, а другую — *об истории скульптуры*. Это соответствует 600 франкам и позволит мне удовлетворить только самые насущные потребности. Но для меня эти темы — детская игра.

С Нового года я займусь новым делом: буду писать чисто художественные произведения — романы. Убеждать Вас здесь в серьезности и говорить о красоте и бесконечности этого искусства я не стану. Поскольку я пишу здесь о делах материальных, следует лишь помнить, что *хорошее ли, плохое ли, все распродается».*

По его расчетам, опубликовав один за другим несколько хорошо скроенных романов, он сумеет расплатиться с главными своими кредиторами. И Бодлер добавлял: «Я очень устал. В голове будто колесо какое-то крутится [...] Ответьте немедленно [...] Уже давно Вы пытаетесь полностью исключить меня из

своей жизни [...] Даже если я и был порой неправ, в этом нет моей вины, и неужели Вы думаете, что душа моя настолько сильна, что в состоянии выдержать постоянное одиночество? Я беру на себя *обязательство, что поеду повидать Вас лишь тогда, когда смогу сообщить Вам хорошую новость*. Но уж с того момента, когда это произойдет, прошу принимать меня по-доброму и так, чтобы Ваши взоры, Ваши слова и все Ваше поведение защищали меня в Вашем доме от всех»<sup>[37]</sup>.

Каролина обычно с опаской разбирала полученную корреспонденцию, боясь обнаружить среди писем очередное послание сына. Узнав почерк Шарля на конверте, она готовилась к самому худшему. Ей приходилось сопротивляться мольбам и избегать ловушек «брошенного ребенка». На этот раз она была потрясена и безоговорочно и без колебаний ему уступила. На следующий же день, 5 декабря, он благодарил ее: «Никогда еще помощь не приходила так кстати. Поверьте, я вполне осознаю, чего стоят эти деньги [...] Того, что Вы прислали, мне хватит с лихвой. Я понимаю значительность этой суммы, и теперь мне нужно по-умному ею распорядиться».

Через некоторое время он вновь стал обращаться к ней, как и подобает сыну, на ты. В письме он назначал ей свидание на нейтральной территории: «В твоём доме мне все противно, а особенно слуги. Я хотел просить тебя прийти сегодня в Лувр, в *Большой квадратный салон музея* в удобное для тебя время, но как можно раньше [...] Это самое лучшее место в Париже для беседы. Там топят, там можно ждать, не скучая, а к тому же приличнее места свидания для женщины просто не придумаешь». Приглашение оказалось несвоевременным: Каролина переезжала. Опики произвели в чин генерал-лейтенанта (дивизионного

генерала) и тут же назначили начальником Высшей политехнической школы, а потому семья переезжала в новые служебные апартаменты, на холме Сент-Женевьев. Быстро поднимаясь по иерархической лестнице вместе с генералом, г-жа Опик хотела бы так же гордиться сыном, как она гордилась мужем. Поглощенная заботами по распаковыванию ящиков, по расстановке мебели и развешиванию картин, вынужденная наблюдать за работой слуг, она, вероятно, отказалась от свидания с Шарлем в Лувре.

Во всяком случае, от приглашения нанести ей визит 2 января 1848 года в квартиру на улице Декарта Бодлер уклонился под предлогом отсутствия «надлежащей одежды». Зато у него всегда находилась «надлежащая одежда», чтобы пойти поужинать к более везучим друзьям, чтобы часами беседовать с любителями литературы и живописи, а то и ссориться с ними. Из-за своего строптивого характера или просто потому, что так повелось, он терпеть не мог, чтобы ему возражали. Однажды в кафе «Момюс» у него завязалась ссора с Арманом Барте, отчаянным соперником Понсара<sup>[38]</sup>. Произошел обмен оскорблениями и пощечинами. Тут же были назначены четыре секунданта для предстоящей дуэли. После долгих переговоров те отказались от этой роли, и два противника, быстро забыв о своем споре, ограничились выражением высочайшего презрения друг к другу. По словам современников, вспылив, Бодлер не щадил никого, ни друзей по застолью, ни обслуживающий персонал зланных мест. Ему, например, доставляло удовольствие жаловаться хозяевам кабаре на прислугу. Доведя до белого каления какого-нибудь простодушного кабатчика, он выходил из трактира счастливый и говорил Асселино, на протяжении всей сцены опасавшемуся худшего: «Ну что ж, мы неплохо поужинали!» Похоже, чем меньше он преуспевал, тем

больше обнаруживал свою агрессивность. Может, такое фанфаронство — инстинктивная самозащита слабых?

## **Глава XII. РЕВОЛЮЦИЯ 1848 ГОДА**

Новый год начался с событий, возвестивших конец правления Луи-Филиппа. Он категорически отверг какую бы то ни было реформу избирательного права, и либеральная интеллигенция взяла под свою защиту становившийся все более многочисленным пролетариат, гневно осудив проявление невыносимого, по ее мнению, авторитаризма. Власти запретили намеченное на 22 февраля 1848 года собрание-банкет протестующих парижан. Напротив выстроившихся сил порядка возникла демонстрация с битьем витрин, с возведением импровизированных баррикад, с выстрелами. На следующий день беспорядки охватили весь город. Стычки происходили в предместье Сент-Антуан, в студенческом квартале, в районе Сен-Дени, на улице Сент-Оноре, на улице Валуа... Вызванные войска оказались со всех сторон окружены толпой. Солдаты, дезорганизованные, отказались стрелять в бунтовщиков. Бодлер с друзьями — Шанфлёр, Премайе, Тубеном — бегали по улицам, присоединялись к повстанцам, криками подбодряли их. У Шарля, возбудившегося при виде такого кавардака, складывалось впечатление, что порку получает все общество с его тупой иерархией, подавляющими личностью законами, со скандально крупными состояниями, со всеми его нотариусами, министрами, судьями и генералами. Для него речь шла о столкновении не между республиканцами и монархистами, а между молодежью, жаждущей независимости, и стариками, защищающими установленный порядок, между фантазией и рутиной, между гением и сейфом. В тот момент, когда он с друзьями добрался до бульвара Тампль, в толпе

раздались радостные крики. Что случилось? Победа: кабинет министров Гизо подал в отставку, власть капитулировала! Тут же вновь распахнулись двери магазинов, в окнах домов появились трехцветные флаги, солдаты стали брататься с бунтовщиками, и сотни глоток затаили «Марсельезу» и «Марш жирондистов». Как писал потом Шарль Тубен, «внезапно появилась огромная плотная колонна людей, занявшая всю ширину бульвара и растянувшаяся на большое расстояние. Она шла со стороны ворот Сен-Мартен под барабанный бой, со знаменосцами впереди. Национальные гвардейцы в мундирах, рабочие в спецовках и студенты, взявшись под руки, шагали, распевая то один, то другой гимн, ритм которых подчеркивала барабанная дробь, шли счастливые и, если не считать нескольких пьяных хулиганов, уже не думающие проклинать Гизо». Однако этим дело не кончилось. В других местах стычки еще продолжались. Колокола церковей бьют в набат. С левого берега прибежали запыхавшиеся вестники с криками: «К оружию! Там убивают наших братьев!» Бодлеру и Тубену стоило большого труда ночью пробиться домой сквозь толпу.

С самого утра 24 февраля Бодлер был на улице. И даже повязал на шею красный галстук. На перекрестке улицы Бюси толпа грабила оружейный магазин. Поэт принял участие в грабеже и влезал на баррикаду, потрясая новеньким ружьем. Там к нему присоединялись друзья Жюль Бюисон и Шарль Тубен. Позже Жюль Бюисон писал: «В руках у него была новенькая двустволка и такой же новый красивый патронташ из желтой кожи. Я окликнул его, он подошел ко мне, очень возбужденный. „Я только что выстрелил!“ — сообщил он». Жюль Бюисон, улыбаясь, любовался его «новенькой блестящей артиллерией», а Бодлер добавил: «Не во имя Республики, разумеется!» Его



волнение обрело исторические масштабы. Должно быть, он хлебнул винца в одном-другом кабаре, и теперь в этой пьянящей неразберихе ему казалось, что отныне все дозволено, что кредиторы вот-вот порвут ненужные больше векселя, что судебные исполнители перестанут кого-либо страшить, что все выплаты отложены, а правосудие ушло в отпуск. Он мысленно представлял себе, какой страх испытывают в этой колоссальной сумятице Ансель, Арондель, Опик и им подобные. Стараясь перекричать шум и гам, он то и дело повторяет: «Надо пойти расстрелять генерала Опики!» Вспоминая эти бурные, наполненные восторгом минуты, он потом писал в «Моем обнаженном сердце»: «Какова была причина моего упоения в 1848 году? Желание отомстить. Естественное удовольствие от разрушения. Литературное упоение; воспоминания о прочитанном». Или вот еще: «Я понимаю желание отказаться от одной идеи, чтобы познать ощущение от служения другой Цели. Быть может, было бы приятно быть по очереди то жертвой, то палачом». Или такие слова: «1848-й год был интересным лишь потому, что каждый вынашивал тогда утопические планы, строил воздушные замки». А в другом месте мы читаем: «В каждом изменении есть нечто отвратительное и вместе с тем приятное, похожее на неверность и на переезд на новую квартиру. Этого достаточно, чтобы объяснить Французскую революцию».

Несмотря на подстрекательства Бодлера, толпа отнюдь не жаждала крови Опики. У людей не было оснований ненавидеть этого генерала, им было неизвестно даже его имя. Между тем в Политехнической школе курсанты попросили разрешения выйти на улицу, чтобы встать там между бунтовщиками и войсками. Генерал из «чисто гуманных» соображений согласился с этим предложением. Несколько учащихся отправились на

улицу, другие остались охранять школу и отбили попытки вооруженных групп захватить здание. В это время до смерти перепуганный Луи-Филипп отрекся от престола и в закрытом экипаже выехал через Нёйи из Парижа, отправившись искать пристанища в Англии. Временное правительство, в которое, кстати, вошел Ламартин, провозгласило республику. Опик, хотя и был обязан своим возвышением орлеанскому дому, из осторожности счел за благо тут же присоединиться к новой власти. В благодарность за нейтральную позицию во время событий, обагривших кровью мостовые города, его оставили на посту начальника Политехнической школы.

Каролина, натерпевшаяся страху за три дня уличных волнений, успокоилась, когда оказалось, что ее семейный очаг уцелел и на этот раз. Ну а Шарль, не сумевший воспользоваться революцией 1848 года, чтобы отправить на тот свет Опику, утешился тем, что временное правительство сразу же учредило, помимо всеобщего избирательного права (что за странная идея!), еще и свободу собраний, равно как и свободу печати. Отменили цензуру, отменили предварительный залог и гербовый сбор! Бодлер и Шанфлёрэ тут же решили основать газету. И они были не одиноки. Повсюду стали появляться недолговечные газетенки. Бодлер с друзьями придумали своей газете название: «Общественное благо». Нашлось и помещение редакции: большая комната на третьем этаже кафе «Тюрло», где сотрудники редакции должны были чувствовать себя, как дома. А финансирование? Все эти молодые люди страдали хроническим отсутствием денег. Но, пошарив по сусекам, Шарль Тубен со своим братом наскребли 90 франков.

Первый номер, сочиненный в кафе менее чем за два часа, напечатали в 400 экземплярах и отдали весь тираж добровольным распространителям

(безработным), сновавшим по всему городу. Но выручка в редакцию не вернулась — распространители оставили ее себе. Для второго номера Курбе выполнил виньетку, изобразив человека в рабочей блузе, с цилиндром на голове, взобравшегося на баррикаду — в одной руке ружье, а в другой флаг с девизом: «Глас народа — глас Божий». В сознании Бодлера мирно уживались поэзия, религия и бунт, и поэтому он отнес один экземпляр газеты в архиепископство, а еще один — Распаю, пылкому редактору газеты «Друг народа». Затем, надев рабочую блузу, отправился на улицу Сент-Андре-дез-Ар и стал продавать газету прохожим. То же самое предприняла на улице Сен-Пер молодая сотрудница, одевшаяся в платье работницы. Вдвоем они распродали газет приблизительно на 15 франков. Ввиду малых доходов было решено третьего номера не выпускать, а всю выручку от продажи потратить на оплату банкета на пять персон в одном из ресторанов на улице Бон.

По инерции Бодлер вступил в Центральное общество республиканцев, основанное Бланки в Париже, как только того выпустили из тюрьмы. Бодлера восхищали в этом социалисте-теоретике темперамент борца и холодный ум. Он видел в нем нового Робеспьера. Но Бланки вновь оказался в тюрьме, арестованный за участие в демонстрациях против временного, по его мнению, слишком нерешительного правительства. Несмотря на эту несправедливость, Бодлер склонен был считать, что февральская революция 1848 года все же изменила лицо Франции. Он интересовался работой Учредительного собрания, открывшегося 4 мая, после бурной избирательной кампании. Как казалось Бодлеру, если раньше политика была делом специалистов, то теперь каждый мог почувствовать себя компетентным представителем народа. И он сам — в первую очередь. Однако очень скоро он во всех этих делах разочаровался. Присутствуя

вместе с Шарлем Тубеном на собраниях комитетов, он с раздражением слушал многословных ораторов, проклинавших Луи-Филиппа, Гизо и прочих угнетателей народа... Он догадывался, что эти говоруны не повлияют на ход событий. А когда ему довелось услышать выступление Арсена Уссе, чьи слащавые произведения он презирал, Бодлер решил окончательно порвать с политикой.

Между тем временное правительство вдруг приняло неожиданное решение, озадачившее Бодлера. Ламартин, ставший министром иностранных дел, назначил Опика послом в Османскую империю. Это странное решение принял автор «Поэтических раздумий». Военный превратился в дипломата, в представителя Франции в Константинополе. Бодлер был вне себя от ярости при мысли, что его отчим опять оказался на коне. Поистине этой марионетке везло во всем. Его оппортунизм обусловил его процветание при республиканском строе, как прежде — при монархии. В любую грозу он выходил сухим из воды. Ну а что касается Каролины, то она, разумеется, была на вершине блаженства. Жена посла! Право же, она будет хорошо смотреться в салонах Константинополя. В пятьдесят пять лет она еще не утратила своего очарования — ухоженные волосы, любезная улыбка, мягкие манеры. Тонкости протокола и этикета всегда доставляли ей радость. Она умела притворяться. Даже перед собственным сыном! Разве не талантливо изобразила она на своем лице отчаяние, сообщая ему эту новость, тогда как на самом деле испытывала восторг, предвкушая новые почести? Конечно, Бодлер не без удовольствия узнал, что противный генерал наконец-то исчезнет с его горизонта. Но одновременно мать, уезжая, лишала его своей защиты против суровости нотариуса Ансея. В трудные моменты она, стараясь сглаживать углы, скрашивала добрыми чувствами

строгость закона. Теперь ему предстояло обходиться без нее. Она опять покидала свое дитя — недостойная мать, мачеха с лицом ангела.

Вскоре чета Опик покинула улицу Декарта и, проведя несколько дней в доме 66 по улице Клиши, отправилась в Тулон, а оттуда — на восток. Бодлер таким образом оказался предоставлен самому себе. И опять стал проявлять интерес к политике. Он сожалел, что в только что избранной Ассамблее большинство — против всех ожиданий — оказалось реакционным. И 15 мая палату представителей заполонила толпа людей, разочарованных результатами революции. Бодлер поддержал эту народную манифестацию и написал в книге «Мое обнаженное сердце»: «Опять эта тяга к разрушению. Тяга законная, если все естественное законно».

Попытка переворота 15 мая не удалась, отчего недовольство народа никак не уменьшилось. В июне были закрыты национализированные мастерские, созданные временным правительством в интересах безработных, и это спровоцировало еще одно восстание, которое стало быстро распространяться. На штурм баррикад решительно двинулись верные буржуазии национальные гвардейцы. В этом братоубийственном противостоянии Бодлер был целиком на стороне повстанцев. Поэта возмутил арест бывшего капитан-лейтенанта Поля де Флотта, входившего в клуб бланкистов. Встретившись с друзьями в одном из кафе возле Пале-Ройяль, он с гневом повторял: «Не оттого ли арестовали де Флотта, что его руки пахли порохом? А вы мои понюхайте!» Тщетно поэт-шансонье Пьер Дюпон пытался его успокоить. Филипп де Шенневьер и Гюстав Ле Вавассер привели с собой земляка, служившего в Национальной гвардии, и его трехцветная кокарда на шляпе успокоила блюстителей порядка, уже начинавших было

присматриваться к шумной застольной компании. Июньское восстание длилось четыре дня — стрельба с обеих сторон, штурм баррикад, массовые аресты и расстрелы без суда и следствия. А 25 июня на площади Бастилии был смертельно ранен монсиньор Аффр, пытавшийся помешать побоищу, потрясая распятием. В ночь с 27 на 28-е в предместье Сент-Антуан капитулировали защитники последней баррикады. Генерал Кавеньяк, методично и беспощадно подавлявший восстание, возглавил исполнительную власть.

Бодлер, потрясенный напрасно пролитой кровью, арестами без суда и следствия, ссылками и ледяным оцепенением, наступившим во Франции после этой вспышки гнева, писал в книге «Мое обнаженное сердце»: «Июньские ужасы. Безумие народа и безумие буржуазии. Естественная любовь к преступлению».

Между тем 27 июня было объявлено осадное положение, и газета Прудона «Представитель народа» временно закрылась. 9 августа газета вновь вышла, но 21-го опять закрылась. Бодлер написал Прудону: «Гражданин, Ваш горячий друг, Вам не знакомый, *хочет Вас видеть во что бы то ни стало*, не только чтобы поучиться у Вас и воспользоваться несколькими минутами Вашего времени, на что он, возможно, имеет право, но и для того, чтобы сообщить нечто о вашей безопасности [...] Я долго собирался написать Вам длинное письмо, но лень помешала мне осуществить этот замысел, и я, наконец, решил отправиться к Вам лично. Сегодня полицейские агенты, стоявшие со всех сторон, помешали мне войти к Вам. [...] Будьте любезны, сообщите как можно скорее — по какому адресу и в котором часу я могу Вас увидеть. Смятение, царящее в умах, требует срочных объяснений между мужественными людьми». Он уточнил, что будет ждать

бесконечно приглашения «в кафе-ресторане на углу улицы Бургонь».

По-видимому, полученный ответ не удовлетворил его, потому что в тот же день либо на следующий он вновь написал Прудону: «На первой же демонстрации, даже антинародной, то есть под малейшим предлогом, — Вас могут убить. Такой заговор уже существует [...] Имя Ваше в настоящее время более известно и имеет большее влияние, чем Бы полагаете. Восстание может начаться как легитимистское, а закончиться под социалистическими лозунгами; однако возможно и обратное [...] Вот почему в случае следующей смуты, даже самой незначительной, *не оставайтесь дома*. Если можно, заведите тайную охрану или попросите полицию охранять Вас. *Впрочем, правительство с удовольствием воспользовалось бы подобным подарком* со стороны ярых защитников собственности; так что, может быть, Вам лучше всего самому следует больше думать о своей безопасности».

Наконец у Бодлера появилась возможность встретиться с Прудонем в редакции его новой газеты «Пёплъ». Отдав необходимые распоряжения своим сотрудникам по поводу завтрашнего номера, Прудон, оставшись наедине с посетителем, с ходу предложил: «Гражданин, настал час обеда. Что если мы пообедаем вместе?» И повел его в небольшой трактирчик на улице Нев-Вивьен. За столом он говорил оживленно и с наивностью, удивившей собеседника. Бодлер мало ел, но много пил, тогда как Прудон, напротив, пил совсем мало, зато много ел. Восхищенный таким аппетитом, Бодлер осмелился сказать: «Для писателя вы едите на удивление много!» — «Дело в том, что мне предстоит многое свершить!» — ответил тот с обезоруживающей простотой. В конце обеда Бодлер подозвал гарсона, чтобы расплатиться, но Прудон энергично запротестовал и достал портмоне. Но, к удивлению

своего визави, он оплатил лишь то, что съел сам. Должно быть, подумал Бодлер, в этом проявился неверно понятый принцип равенства граждан.

Другого случая встретиться с этим великодушным путаником-утопистом Бодлеру не представилось. Скоро и «Пёпль» запретили. В марте 1849 года Прудон был осужден и уехал в добровольную ссылку в Бельгию; однако через несколько недель он тайно вернулся, а 5 июня 1849 года его снова арестовали и приговорили к трем годам тюремного заключения.

А тем временем республиканский пыл у Бодлера остыл, причем настолько, что он согласился отправиться в провинцию, чтобы там возглавить только что созданную консервативную газету «Репрезантан де л'Эндр». Основные акционеры этого издания, собравшиеся на банкете Шаторе, центре департамента Эндр, в честь его приезда, были уязвлены тем, что Бодлер просидел весь вечер молча, с презрительным выражением лица. Когда за десертом кто-то из гостей заметил: «Однако, господин Бодлер, вы не промолвили ни слова», он ответил: «Господа, мне нечего сказать. Ведь я приехал сюда, чтобы быть слугой ваших умов, не так ли?» А на следующий день пожилая вдова, директор типографии газеты, была очень возмущена его вопросом: «А где здесь водка для редакции?» Что касается благонамеренных подписчиков «Репрезантан де л'Эндр», они только глаза протирали от удивления, читая в рубрике «В настоящее время» такое приписываемое новому главному редактору утверждение: «Когда добрейший Марат и чистоплотнейший Робеспьер требовали, один — триста тысяч голов, а другой — непрерывной работы гильотины, они лишь повиновались неотвратимой логике существовавшей тогда системы». А вот, к примеру, другая формулировка: «Восстание законно, так же, как и убийство». Вскоре Бодлеру, другу



социалистов-бунтовщиков, пришлось выслушать из уст акционеров издания сухие слова благодарности и возвратиться в Париж.

Своей матери, чья жизнь протекала в пышных официальных торжествах в Константинополе, он писал 8 декабря 1848 года: «Позавчера г-н Ансель сказал, что мою недавнюю поездку в провинцию Эндр без моего ведома оплатили Вы, и что деньги, полученные мной, исходили вовсе не от его щедрот, как я склонен был полагать, а от Вас. Г-н Ансель напрасно раньше умолчал об этом, напрасно поначалу скрыл от меня, что деньги присланы Вами. Во-первых, мне бы и в голову не пришло краснеть от того, что деньги эти присланы Вами, а во-вторых, если бы он сразу сказал: „Я получил для вас 500 франков“, то я потратил бы всю эту сумму с большей пользой, оставаясь в Париже, чем проедать ее постепенно во время поездки, ничего мне не принесшей». Дальше он упрекал мать в том, что та сурово говорила с ним во время их последнего свидания и что она не поняла благородства его отношения к Жанне, продолжавшей жить с ним: «Со свойственными Вам упрямством и нервной горячностью Вы отругали меня из-за этой несчастной женщины, которую я *давно уже люблю только из чувства долга*, не более. Странно, что Вы, так часто и так подолгу говорившая мне о духовных чувствах, о долге, не поняли этой моей своеобразной связи, от которой я ничего не выгадываю и в которой большую роль играют искупление и желание вознаградить ее за преданность. Как бы часто ни позволяла себе женщина быть неверной, каким бы тяжелым ни был ее характер, если она обнаруживает хоть каплю доброй воли и преданности, этого уже достаточно, чтобы бескорыстный мужчина, а тем более — поэт, чувствовал себя обязанным ее вознаградить. [...] Да и какое это имеет значение сейчас, в мои без четырех месяцев двадцать восемь лет, с моими

необъятными поэтическими планами, когда я и так уже навсегда отдалился от *почтенного мира* в силу моих принципов и предпочтений и, осуществляя мои литературные мечтания, исполняю еще и *долг* или то, что я полагаю долгом, наперекор вульгарным представлениям о приличиях, деньгах и богатстве?»

Само собой разумеется, что письмо Шарля заканчивается новыми просьбами о денежной помощи и заверениями, что впереди его ждут успехи: «Я абсолютно уверен, что долги мои будут оплачены и что мое предназначение приведет меня к славе [...] Не исключено, что через год, если разбогатею, поеду в Константинополь — меня опять то и дело обуревают желание путешествовать». Мечты поэта. Что касается путешествий, то он ограничился в конце 1849-го или в начале 1850 года поездкой в Дижон, предпринятой в надежде найти там постоянную работу журналиста. Надежда не оправдалась. Жанна приехала к нему. Из всех чувств к ней остались только нежность и жалость. Но одновременно она была для него чем-то вроде опоры, чем-то вроде предмета мебели, необходимого ему, чтобы не упасть.

Уезжая из Парижа, он оставил некоему Палису, державшему на Биржевой площади переплетную мастерскую, где также переписывали тексты, черновик своих стихов, чтобы его переписали начисто. Ансель взялся следить за выполнением заказа. Когда он отправил копию стихов в Дижон, где Бодлер застрял из-за болезни желудка, то в ответ вместо благодарности получил письмо с суровыми упреками: «Во-первых, Палис Вас бессовестно надул. В оглавлении наделана масса смешных и нелепых описок: „Живая морила“ вместо „Живая могила“, „Гроздь луны“ вместо „Грусть луны“ и так далее; позолота вся в пятнах, переплет не из шагреновой кожи, а из бумаги, имитирующей кожу, поправки, сделанные мной карандашом, не выполнены,

а это доказывает, что он воспользовался моим отсутствием, чтобы пренебречь своим долгом, и вдобавок обокрал меня». В другом месте Бодлер упрекал Анселя за то, что тот не полностью выдал ему месячное содержание, запутался в счетах и вообще больше думает об интересах г-жи Опик, чем об интересах ее бедного сына: *«Что значит это пристрастие в пользу моей матери, виновность которой Вам известна? Что значат Ваши частые повторы одного и того же, Ваши эгоистические нравоучения, Ваши грубость и дерзость? [...] Надо все-таки улучшать наши отношения. Долгое отсутствие способно помочь этому. Впрочем, надо быть снисходительным, а это, как Вы знаете, в моих устах означает: нет ничего непоправимого»*.

Вернувшись в Нёйи, где он теперь жил, в дом номер 95 на авеню Республики, Бодлер занялся подготовкой к публикации сборника стихов, все еще по-прежнему называвшегося «Лимбы». Он предполагал издать его у Мишеля Леви, но потом связался с таким же причудливым персонажем, как и он сам, нормандцем Огюстом Пуле-Маласси, человеком очень начитанным и смелым, наделенным острым умом и вежливой иронией. Пуле-Маласси с оружием в руках выступал в 1848 году на баррикадах на стороне республиканцев, был арестован, но затем отпущен. В свои двадцать пять лет он владел вместе с сестрой и шурином, Эженом де Бруазом, типографией в Алансоне, доставшейся им от недавно умершего отца. Бодлер тут же внес изменения в свой прежний проект, решив, что его новый друг лучше всех издаст и распространит «Лимбы». А в ожидании этого события он отдал стихи «Воздаяние гордости» и «Душа вина» журналу «Магазин де фамий», а «Остров Лесбос» — в антологию, составленную Жюльеном Лёмером и называвшуюся «Поэты любви».

Для Бодлера лето 1850 года оказалось омраченным кончиной Бальзака (18 августа), писателя, которого он много читал и которым восхищался с ранней юности. А годом раньше умер Эдгар По, другой его кумир. Эти две кончины привнесли новые темные тона в мироощущение Бодлера. Разговаривать о чем-либо серьезном с Жанной он не мог, поскольку она, невежественная пьянчужка, годилась только на то, чтобы ласкать его, когда у него возникало желание. Мать находилась далеко, на другом конце света. Ему приходилось все чаще сожалеть, что ее нет рядом, что она не может разделить с ним его печаль.

Тем временем в Константинополе у четы Опики все складывалось как нельзя лучше — и на дипломатическом поприще, и в свете. Приемы в посольстве Франции очень ценились космополитическим сообществом турецкой столицы. Оказавшиеся там проездом во время путешествия на Восток Флобер и его друг Максим Дю Кан тоже были приняты в доме Опики. Выходя из-за стола, Опики спросил у Дю Кана: «С тех пор, как вы покинули Париж, появились ли новые имена в литературном мире?» Поговорив о последней пьесе Анри Мюрже «Жизнь богемы», Дю Кан простодушно добавил: «На днях я получил письмо от Луи де Корменена, где он мне пишет: „Недавно я встретил у Теофила Готье некоего Бодлера, о котором скоро заговорят. Хотя он чересчур любит оригинальничать, стихи у него добротные; у него настоящий темперамент поэта, что в наше время встречается редко“». Каролина низко склонила голову, а генерал посмотрел на своего собеседника испепеляющим взглядом, как если бы тот нанес ему оскорбление. Полковник Маргадель из свиты Опики толкнул Максима Дю Кана ногой, давая знак, что тот допустил оплошность. Немного позже, воспользовавшись моментом, когда генерал и Флобер

беседовали поодаль о книге Прудона, г-жа Опик подошла к Максиму Дю Кану и негромко спросила: «Он действительно талантлив?» — «Кто?» — «Да тот молодой человек, которого вам хвалил г-н Луи де Корменен?» На лице ее была написана умоляющая робость. Удивившись вопросу, Максим Дю Кан из осторожности ограничился утвердительным кивком головы. Она одарила его благодарной улыбкой и отошла в сторону. Тут полковник Маргадель подошел к Максиму Дю Кану и без обиняков отчеканил: «Черт побери! Вы чуть было не устроили грандиозный таратарам, когда заговорили о Шарле Бодлере-Дюфаи: ведь это же сын госпожи Опик; генерал с ним постоянно ссорился. Генерал даже имени этого не желает слышать. Я вас предупредил, не вздумайте опять заговорить о нем».

Между тем Бодлер в Нёйи страдал от ревности и унижения, потому что мать перестала ему писать. Он уже и сам не знал, чего ему хочется больше: денег или ласки. Его, пожалуй, даже больше сердило то, что Каролина не пишет, чем скудость финансовой помощи. 9 января 1851 года он послал ей письмо, полное горечи и обиды: «Из-за беспрестанных переживаний и одиночества я стал немного грубым и, наверное, весьма неловким. Мне хотелось бы смягчить мой стиль, но даже если Ваша гордость сочтет его слишком дерзким, я все же надеюсь, что Вы поймете праведность моих намерений и оцените мое обращение к Вам, которое когда-то доставляло мне столько радости и которое теперь, из-за условий, в которые Вы меня поставили, должно стать бесповоротно последним. То, что Вы лишили меня Вашей дружбы и тех отношений, на которые вправе рассчитывать всякий, когда речь идет о его матери, является делом Вашей совести и, возможно, совести Вашего мужа. Наверняка у меня будет возможность проверить это позже». На этот раз Бодлер

упрекал мать в том, что она направляет ему деньги через Ансея, не написав ни строчки о своих теплых чувствах или хотя бы о том, как надо потратить деньги. Из дружески настроенного доверенного лица она превратилась в бесчувственную и такую далекую кассиршу. И он угрожал: *«Если вы не станете вновь, немедленно и в полной мере матерью., я буду вынужден вручить г-ну Анселю, через судебного исполнителя, протест против получения какого-либо денежного перевода от Вас для меня, и приму меры, чтобы этот отказ строго соблюдался».*

Не успела Каролина получить это письмо, как в ее жизни произошел новый крутой поворот. Правительство Франции, очень довольное Опиком, 20 февраля 1851 года назначило его послом в Великобританию. То было весьма существенное продвижение по службе. На семью со всех сторон сыпались поздравления. Французская колония и высокопоставленные чиновники Константинополя сожалели об отъезде этой любезной и столь гармоничной пары. Однако, несмотря на то, что Министерство иностранных дел оказало ему большую честь, предложив стать послом в Лондоне, Опик решил отказаться от этого поста, который заставил бы его — помимо собственной воли — шпионить за королевским семейством принцев Орлеанских, нашедших после революции 1848 года приют в Англии. Ведь в прошлом именно этому семейству Опик был обязан многими милостями. В высших инстанциях с пониманием отнеслись к его позиции и предложили взамен посольство в Испании.

По прибытии в Париж 3 июня 1851 года чета Опик остановилась в гостинице «Данюб», на улице Ришпанс. Узнав о возвращении матери, Бодлер испытал прилив прежних нежных чувств. «Сегодня г-н Ансель сообщил мне, что Вы прибыли в Париж, — пишет он матери 7 июня. — Он сказал также, что Вы хотите меня видеть. Я

очень рад этому и должен признаться, что, если бы Вы не проявили инициативу, я был готов первым просить у Вас разрешения увидеться с Вами. Только вот наш милейший г-н Ансель зря пообещал Вам, что я приеду Вас повидать. Он сказал это, исходя из лучших побуждений. Я хотел бы иметь возможность выразить Вам мои чувства, без вреда для Ваших привязанностей; одним словом, Вы легко поймете, почему мое достоинство не позволяет мне прийти к Вам. С другой стороны, мое уважение к Вам не позволяет мне принять Вас у человека, которого вы ненавидите. Поэтому я жду, что из любви ко мне Вы согласитесь приехать в *Нёйи*, в квартиру, где я живу один. В ближайшее воскресенье и понедельник я не собираюсь выходить из дома. Если в это письмо как-то ненароком вкралось какое-нибудь слово, выражающее неудовлетворение, не сердитесь, Вы же знаете, как я неловок в моих писаниях». Вскоре он сообщает, каким образом ей удобнее всего добраться до него; «Недалеко от твоей гостиницы, у церкви *Мадлен*, есть дилижансы до *Нёйи*; такие же есть и на площади у *Лувра*, и на улице *Риволи*, туда же идут дилижансы, следующие до *Курбевуа*. До свидания, целую тебя».

Наверное, во время этой первой встречи мать и сын болтали без умолку и плакали, плакали в объятиях друг друга.

Следующая встреча должна была состояться 21 июня. Но произошло недоразумение, какая-то недоговоренность относительно часа и места встречи. Бодлер напрасно ждал Каролину в кафе «Бертельмо», в саду Тюильри, неподалеку от ее гостиницы. Он незамедлительно назначил ей новое свидание: «Я буду здесь, на этом же месте, завтра, от полудня до двух часов, — написал он ей в записке. — Мне хочется, чтобы ты смогла прийти, но я не хочу ничего тебе навязывать [...] Я понимаю, что ты занята, что у тебя тысяча

обязанностей и визитов, но это место находится на расстоянии всего десяти минут ходьбы от твоей гостиницы, и к тому же, если ты не сможешь прийти, тебе нетрудно будет прислать между двенадцатью и двумя часами человека с письмом, которого я узнаю по письму у него в руках». Но на следующий день в Париже шел проливной дождь. Бодлер тотчас послал матери записку: «Я не хочу, чтобы ты выходила на улицу в такой ливень и промокла из-за этого дурацкого свидания в кафе. Надеюсь, эта записка застанет тебя дома и не даст тебе выйти из-за меня». Он предложил ей приехать к нему в Нёйи 23 июня.

Эта их встреча оказалась последней перед долгой разлукой. Чета Опик готовилась к отъезду в Мадрид. Бодлера это обстоятельство огорчило меньше, чем он предполагал. Эти встречи украдкой с матерью, хотя и давали ему какой-то заряд бодрости, одновременно расстраивали его. Он чувствовал, что не сможет вылечить ее от буржуазных предрассудков, так же как и она не сумеет превратить его в трудолюбивого, экономного, почтительного и послушного сына. Но ему хотелось успокоить ее, прежде чем она опять уедет со своим престижным мужем. И 9 июля 1851 года он отправляет ей примирительное письмо: «Дорогая мамочка, ты просила написать тебе письмецо до твоего отъезда, хотя бы несколько слов, подтверждающих мое удовлетворительное состояние духа и мои чувства по отношению к тебе. Наверное, тебе хочется перед отъездом удостовериться в моей устойчивости. Думаю, что смогу дать тебе полную гарантию этого. Ты, наверное, поняла, какую безграничную радость я испытал от свидания с тобой. Уверяю, я и сам не верил в такое. Я ожидал холодного испытующего приема. И заранее напрягся. А ты меня совершенно разоружила и внушила мне полную веру в будущее. Делай все, что сможешь, все, что врачи и осторожность тебе



подскажут, чтобы сохранить здоровье, чтобы ты могла воспользоваться крохотными радостями, которые я надеюсь тебе доставить, в возмещение стольких неприятностей, огорчений и забот. Не только в моих собственных интересах, но и чтобы доставить тебе законное удовлетворение, обещаю никогда не позволять себе никаких отклонений от нормы, столь опасных для здоровья, для души и для достатка. Обещаю тебе упорно работать, не только для того, чтобы разделаться с долгами, которые делают мое положение столь двусмысленным и тягостным, но также и для установления правильного режима, способного защитить человека от всяких глупостей и страстей, постоянно бушующих в нас [...] *Я буду писать тебе два раза в месяц».*

Как и следовало ожидать, ни одно из обещаний, содержащихся в этом письме, не было выполнено. Бодлер не соблюдает, несмотря на клятвенные заверения, даже обещания писать матери два раза в месяц. Первое письмо, отправленное ей, когда он уже уехал из Нёйи в дом номер 25 по улице Марэ-дю-Тампль <sup>[39]</sup>, датировано 30 августа 1851 года. Да и в нем говорится прежде всего о финансовых проблемах: «Сейчас, когда я тебе пишу, у меня осталось всего 20 франков. Мне предстоит с ужасом наблюдать за тем, как они будут медленно улечиваться. Через месяц, может, даже через полмесяца, я разбогатею, но до тех пор... До тех пор — безденежье, а следовательно — простой в работе. Опять повторяется моя история девятилетней давности [...] Я очень обеспокоен и расстроен. Надо признаться: человек — это очень слабое существо, привычка — весьма существенная часть добродетели. Мне было невероятно трудно усадить себя за работу [...] Как странно! Несколько дней тому назад я держал в руках

юношеские опусы Бальзака. Никто и никогда не сможет себе представить, каким неловким и глупым дурачком был в молодости этот великий человек. И ведь добился же он, сумел же, так сказать, обрести и свои грандиозные замыслы, и величайший ум. Дело в том, что он постоянно работал. Очень и очень утешительно думать, что трудом можно добиться не только денег, но и несомненного таланта. К тридцати годам Бальзак уже выработал в себе многолетнюю привычку постоянно трудиться, а у меня до сих пор общего с ним только долги да замыслы».

В это время Бодлер все еще продолжал раздавать свои стихи в разные газеты, не решаясь объединить их в сборник. «Мессаже де л'Ассамбле» напечатал одиннадцать его стихотворений под общим заголовком «Лимбы». В конце августа вышла в свет небольшая его статья о Пьере Дюпоне, представлявшая читателям этого поэта-песенника. А 27 ноября еженедельник «Смен театраль» опубликовал другую его статью, забавную и вызывающую, под названием «О добропорядочных драмах и романах». На этот раз автор, презрев псевдонимы, подписал текст строго и гордо: Шарль Бодлер. Он ядовито высмеивал благонамеренную литературу, слащавые, морализаторские романы, театральные пьесы «школы здравого смысла», воплощением которых был Эмиль Ожье. Из всех сил восставал Бодлер против коммерческого успеха, против премий и почетных наград, «поощряющих лицемерие и останавливающих порывы свободного сердца». «Когда я вижу человека, выпрашивающего в награду орден, — писал он, — у меня возникает ощущение, будто он говорит монарху: я выполнил мой долг, это верно, но если вы не сообщите об этом всему свету, клянусь, я больше так уже не буду делать». Еще один камушек в такой ухоженный огород генерала!

Очень довольный, что сумел таким образом отстегать писателей, которыми восхищались в семье Опик, Бодлер отправил статью матери в Мадрид вместе с другими своими публикациями в «Смен театраль»: «Буду рад, если ты почитаешь их на досуге. Сильно сомневаюсь, что поймешь все от начала до конца. Я говорю тебе это вовсе не от излишней дерзости. Просто статьи эти написаны специально для парижан, и я сомневаюсь, что их можно понять вне той среды, для которой и о которой они написаны».

Вторая республика к тому времени уже скатилась на реакционный путь, и поэтому Бодлер приравнивал ее к Июльской монархии. Опять финансовая буржуазия уверенно завладела браздами правления и навязывала свои вкусы политике, моде, искусству и литературе. Поэтому Бодлер лишь пожимал плечами, когда 2 декабря 1851 года Луи-Наполеон Бонапарт осуществил свой переворот. В книге «Мое обнаженное сердце» Бодлер писал: «Еще один Бонапарт! Позор! И однако везде тишь да гладь. А разве президент не может сослаться на свои права?» Согласно Конституции, принятой 14 января 1852 года, король-президент получил на десять лет очень широкие полномочия. Бодлер даже не стал участвовать в выборах 29 февраля, в результате которых во Франции появилась законодательная власть, готовая на последние уступки во имя укрепления власти государства. Хотя еще сохранилась республика, все уже обещало либо возврат к монархии, либо установление Второй империи. 5 марта 1852 года Бодлер написал Анселю: «Вы видели, что я не стал участвовать в выборах, таков мой выбор. День 2 декабря сделал меня *физически деполитизированным. Нет больше всеобщих идей.* Что весь Париж стал *орлеанистским*, это факт, но меня это не касается. Если бы я принял участие в голосовании, то

голосовал бы только за себя. Не исключено, что будущее принадлежит людям *деклассированным*».

Итак, после бурного увлечения революцией Бодлер вернулся к высокомерному скептицизму дилетанта. Волнения на улицах и в клубах его больше не касались. Его уделом были миражи, а не действия, поэзия, а не политика. Кто хочет быть денди, должен, по его мнению, отказаться от всяких убеждений, которые сближали бы его с согражданами. Исключительные личности узнаются по тому, что они держатся над идеями и событиями общественной жизни, что бы ни происходило. Государственная структура может устроить их только в том случае, если она не нарушает их мечтаний эстетов-одиночек, мечтаний искателей абсолюта.

## Глава XIII. ЭДГАР ПО

С тех пор как в Балтиморе в 1849 году умер Эдгар По, призрак американского мечтателя-мистика не покидал Бодлера. На каждом повороте своей жизни французский поэт обнаруживал какое-нибудь сходство между собой и покойным автором. У Бодлера складывалось впечатление, что жизненная неустроенность, алкоголизм, нищета, лень, сатанинские галлюцинации Эдгара По были предвестниками его собственных аналогичных бед. Когда-то у него за океаном жил брат. И он никогда не встречался с ним. Но теперь они могли общаться друг с другом благодаря невидимым колебаниям эфира. Бодлер считал своим моральным долгом воздавать ему надлежащие почести. Длительное время иные заботы отвлекали его от исполнения священной обязанности. 22 января 1852 года он принес в редакцию «Смен театраль» статью «Языческая школа», высмеивавшую поэтов, влюбленных в античную Грецию и Рим, потом, 1 февраля, туда же — два стихотворения-близнеца: «Вечерние сумерки» и «Предрассветные сумерки». Однако в марте и апреле он выполнил наконец свой долг признательности, опубликовав в журнале «Ревю де Пари», редколлегия которого возглавлял Максим Дю Кан, очерк «Эдгар Аллан По, его жизнь и его творения».

Когда он описывал странноватого американского писателя, ему порой казалось, что это он сам исповедуется в тишине своей комнаты. Ведь не о ком ином, как о себе, он думал, когда выводил строки: «Бывают роковые судьбы: в литературе каждой страны есть люди, у которых на лбу, в глубоких его морщинах, загадочными буквами написано слово: „Неудача“. Тут как-то совсем недавно перед судом предстал бедолага,

на лбу у которого была татуировка: „*Не везет*“. Так он и носил всегда этот ярлык, как книга носит название, и следствие подтвердило, что его существование полностью соответствовало этой надписи. В истории литературы тоже есть такого рода судьбы. Словно некий слепой Ангел искупления завладел какими-то отдельными людьми и избивает их изо всех сил в назидание другим. Однако, внимательно приглядевшись к их жизни, вы обнаружите у них таланты, добродетели, какую-то даже привлекательность. А общество предаёт их анафеме и приписывает им врожденные грехи, которые на самом деле явились следствием обрушившихся на них преследований». Или вот еще: «Неужели существует некое дьявольское провидение, заранее, с колыбели, обрекающее людей на несчастье? Ведь все дело в том, что человек, мрачный, чей полный отчаяния талант которого вас пугает, был умышленно помещен во враждебную ему среду». Или же: «Характер, духовный мир и стиль человека формируются обычными, на первый взгляд, обстоятельствами его ранней юности». И наконец: «Эдгар По, этот нищий, отверженный, подвергавшийся преследованиям пьяница нравится мне больше, чем, скажем, спокойные и *добропорядочные* Гете или В. Скотт. Я охотно сказал бы о нем и о ему подобных людях то, что сказано в катехизисе о нашем Боге: „Он много претерпел за нас“. На его надгробии можно было бы написать: „Все вы, страстно желавшие открыть законы жизни и мечтавшие о бесконечном, вы, чьи подавленные чувства принуждали вас искать отвратительное облегчение в вине и распутстве, молитесь за него. Теперь, когда его очищенная телесная суть витает среди тех, о чьем существовании он догадывался, молитесь за него; он видит и знает, и он будет заступником вашим“».

Этот панегирик в честь Эдгара По, являющийся в то же время и собственной его защитительной речью, Бодлер переделал в 1856 году, чтобы опубликовать в качестве предисловия к томику «Таинственные рассказы». Вдохновился он и на создание прекрасных стихов, которыми открывается сборник «Цветы зла». И не преминул громко сообщить всем о проклятии, которое тяготеет над поэтом и приводит к тому, что даже собственная его мать отрекается от него. Каролина предстает в облике мегеры, изрыгающей свою ярость на собственного отпрыска, обреченного стать отребьем общества:

Лишь в мир тоскующих верховных сил веленьем  
Явился вдруг поэт — не в силах слез унять,  
С безумным ужасом, с мольбой, с богохуленьем  
Простерла длани ввысь его родная мать!

«Родила б лучше я гнездо эхидн презренных.  
Чем это чудище смешное... С этих пор  
Я проклиная ночь, в огне страстей мгновенных  
Во мне зачавшую возмездье за позор!

Лишь мне меж женами печаль и отвращенье  
В того, кого люблю, дано судьбой вдохнуть;  
О, почему в огонь не смею я швырнуть,  
Как страстное письмо, свое же порожденье!

Но я отмщу за все: проклятия небес  
Я обращаю на их орудие слепое:  
Я искалечу ствол, чтобы на нем исчез  
Бесследно мерзкий плод, источенный  
чумою!»[\[40\]](#)

На этот раз Бодлер окончательно избрал свое амплуа, амплуа человека, которому закрыт доступ в добропорядочные дома, который является пугалом матерей семейств, жертвой Бога и другом сатаны. Но не лишенного тяги к Небесам и к обитающим там праведным душам.

К тому времени он выбрал себе еще одного учителя — им стал весьма реакционный Жозеф де Местр. Позабыв свои революционные устремления 1848 года, Бодлер восхищался высокомерной нетерпимостью автора «Санкт-Петербургских вечеров», его мистическим монархизмом, верой в Провидение, распоряжающееся судьбами людей и государств. Бодлер писал в своем дневнике: «Де Местр и Эдгар По научили меня рассуждать». Он не без фанфаронства похвалялся таким двойным покровительством перед друзьями по кафе, в большинстве своем «левыми». Он стал общаться с фатоватым Арсеном Уссе, роскошным Филоксеном Буайе, плодовитым Банвилем, Гюставом Матье, человеком богемы, проницательным карьеристом-журналистом Антонио Ватрипоном, но настоящими его друзьями оставались Шарль Асселино, Шанфлёр, Пуле-Маласси и Надар. Этот последний опубликовал в апреле 1852 года в газете «Журналь пур рир» шарж на Бодлера с такой подписью: «Шарль Бодлер, молодой поэт, очень нервный, желчный, раздражительный и раздражающий, часто просто неприятный в повседневной жизни. Под парадоксальной внешностью скрывается вполне реалистично думающий человек [...] полагаю, что он — лучший и самый надежный из всех, кто идет одной дорогой с ним».

А Максим Дю Кан, познакомившийся с Бодлером приблизительно в те же годы, со своей стороны писал: «Лицом он был похож на молодого дьявола-отшельника: коротко стриженные и скорее рыжие, чем темные, волосы, бритый квадратный подбородок, глаза



маленькие, живые и беспокойные, чувственный нос с утолщением у конца, очень тонкие, почти всегда поджатые губы с редкой улыбкой и сильно оттопыренные уши — все это придавало его лицу неприятное выражение, к которому, впрочем, собеседник быстро привыкал. Голос у него был степенный, как у человека, выбирающего слова и довольного своей манерой говорить. Был он среднего роста и крепкого телосложения, что выдавало в нем физическую силу, но было в его облике что-то изможденное и размякшее, говорившее о слабости и склонности плыть по воле волн».

Бодлер часто испытывал потребность удивить собеседника. Когда, например, поэт Фернан Денуайе попросил его прислать несколько стихов «по случаю» в сборник поздравлений Денкуру, восстановившему парк в Фонтенбло, Бодлер ответил напрямую: «Дорогой Денуайе, Вы просите меня прислать стихи для Вашего сборника, стихи о *Природе*, не правда ли? То есть о лесах, о больших дубах, о зелени и насекомых, а также, наверное, о солнце? Но ведь Вам прекрасно известно, что я не способен умиляться от созерцания растительности и что душа моя восстает против этой странной новой религии, в которой всегда будет, как мне кажется, нечто *шокирующее* для всякого *духовного* существа. Я никогда не поверю, будто в *растениях обитает душа богов*. А если бы она там даже и обитала, мне это было бы все равно глубоко безразлично, и я все равно считал бы, что моя собственная душа имеет большую ценность, чем оные святочитимые овощи. Мне к тому же всегда казалось, что в *Природе*, цветущей и молодящейся, есть нечто удручающее, грубое и жестокое, нечто, граничащее с бесстыдством. Поскольку я не могу Вас полностью удовлетворить в соответствии со строгими рамками программы, то посылаю Вам два своих стихотворения, более или менее

воссоздающих мечтания, которым я предаюсь в часы сумерек».

Письмо было воспроизведено в сборнике «Фонтенбло, в честь Денкура». Что же касается прекрасных стихов о сумерках, вечерних и предрассветных, то в них выражены жалобы перенаселенного города, с его потаскухами, кутилами, жуликами, больными, умирающими в больницах, с изможденными, невыспавшимися рабочими, хватающимися за инструмент, не успев проснуться, в тот момент, когда над туманным Парижем, «дрожа от холода, заря влачит свой Длинный зелено-красный плащ над Сеною пустынной».

Отныне Бодлер был занят двумя видами деятельности: переводил произведения Эдгара По, отдавая их одно за другим в разные газеты («Колодец и Маятник», «Философия мебелировки», «Ворон»); и публиковал в «Ревю де Пари» свои стихи — «Человек и море» и «Отречение святого Петра» со святотатственным концом «От Иисуса Петр отрекся... И был прав». Какое-то время он опасался, что у него будут неприятности из-за этого покушения на религию, но все ограничилось несколькими протестами читателей — подписчиков журнала.

Бодлер обнаружил, что его успех переводчика, открывшего публике Эдгара По, гораздо больше, чем успех автора оригинальных стихов. Английский он выучил в детстве, разговаривая на этом языке с матерью, которая родилась в Лондоне от родителей-французов и провела в Англии раннее детство. И он стал прилагать немалые усилия, чтобы совершенствоваться в этом языке, накупил словарей, консультировался со специалистами и преподавателями, старался передать суховатый и жесткий стиль, свойственный американскому писателю. Ему казалось, что, общаясь таким образом с Эдгаром

По, он создает, а не просто переводит, что он и слуга, и одновременно хозяин мысли, ему не принадлежащей. Он не менее гордился переводом «Ворона», чем своим «Отречением святого Петра». Он очень бы удивился, если бы ему сказали, что великолепные переводы с английского мешают его репутации французского поэта. А ведь согласно общепринятому мнению каждый художник ограничен рамками, которые им самим и созданы... Он или романист, или историк, моралист или репортер сам что-то сочиняет или же переносит на иную почву вымыслы других. Во всяком случае, до какого-то времени за прозу, даже тогда, когда это было всего лишь отражение гения Эдгара По, Бодлер получал больше, чем за собственные стихи. Журналы охотнее брали По под бодлеровским соусом, чем просто Бодлера.

Деньги, постоянно деньги! Они кончались уже в начале месяца. А ведь ему надо было кормить и одевать двоих: себя и Жанну. После десяти лет совместной жизни он считал, что не имеет права порывать с ней. Но и терпеть ее ему было невмочь. Он ненавидел ее крикливый голос, ее глупость, ее пьяные выходки. Ее смуглое тело, когда-то приводившее в восторг, теперь вызывало у него лишь отвращение и жалость. Кошечка-мулатка превратилась в костлявую, морщинистую дылду, с шершавой кожей и винным перегаром изо рта. Она уже не очаровывала его, а обременяла, причем тяжело. В порыве откровения он признался матери: «Жанна стала помехой не только моему счастью, что было бы полбеды, поскольку я умею поступаться своими удовольствиями и доказал это, но она к тому же еще и мешает совершенствованию моего духа [...] *Когда-то у нее были некоторые положительные качества, но она их утратила, а у меня прибавилось проницательности. Ну можно ли жить с существом, которое не ценит твоих усилий и мешает им, по своей бестактности или по*

своей постоянной злобности, которое относится к тебе как к прислуге или просто как к своей вещи, с которым невозможно обменяться даже парой слов о политике или литературе, с существом, которое *не хочет ничему учиться*, хоть ты ему предлагаешь заниматься, с существом, *которое мной не восхищается* и даже не интересуется моими занятиями, которое бросило бы мои рукописи в огонь, если бы это принесло ему больше денег, чем их публикация, с существом, выгнавшим из дома кошку, мое единственное развлечение, и пускающим в дом собак *только потому*, что мне противен один только вид собаки, с существом, не понимающим или не желающим понять, что *строгая экономия в течение одного-единого месяца* позволила бы мне, благодаря временному отдыху, закончить большую книгу — ну как можно жить с таким человеком? Как можно? Пишу тебе это со слезами стыда и гнева на глазах. Я очень рад, что в доме нет никакого оружия; я думаю о тех моментах, когда мне трудно совладать с собой, а также о той ужасной ночи, когда я разбил ей голову консолью [...] Я теперь окончательно *убедился*, что только женщину, страдавшую и родившую ребенка, можно считать равной мужчине. Способность рожать — вот единственная вещь, благодаря которой самка в состоянии обрести нравственное сознание».

Стало быть, он принял решение расстаться с Жанной. Но при этом полагал, что не может сделать этого, не обеспечив будущее своей любовницы с помощью «достаточно крупной суммы». «Но где же ее взять, коль скоро заработанные мной деньги не копились, а тратились, как только появлялись, и коль скоро у матери моей, которой я уже и не решался писать, поскольку ничего хорошего сообщить ей не мог, тоже не было таких больших денег. Как видишь, я все правильно рассудил. И тем не менее надо уходить. Но

*уходить навсегда.* Вот что я решил: начну с самого начала, то есть уйду. Раз я не могу дать ей сразу крупную сумму, то буду выдавать в несколько приемов, что мне нетрудно, поскольку *зарабатываю я довольно легко*, а, работая усидчиво, могу получать еще больше. *Но видеться с ней я уже больше никогда не буду.* Пусть делает, что хочет. Пусть хоть в ад убирается, если ей будет угодно. На борьбу с ней я потратил десять лет моей жизни. Все иллюзии моих юных лет улетучились. Остался лишь горький осадок, может, навеки». Однако как ни сильна была его злость, он еще некоторое время колебался, прежде чем расстаться с Жанной. Одно дело — описать обиду в письме к матери, и другое — сказать в лицо своей давней любовнице, что больше не любишь ее.

И все же в один прекрасный день он набрался мужества и выставил ее за дверь. Кстати, она ему еще и изменяла, то с парикмахером, а то и вообще с первым встречным. При всем при этом чувство собственного достоинства подсказывало ему, что он должен и впредь материально поддерживать оставленную им женщину. Он продолжал сообщать матери о происходящем. Та знала, что время от времени он посещает Жанну и каждый раз дает ей немного денег. «Она ведь сейчас тяжело больна и живет в ужасной нищете. Я об этом никогда не сообщаю г-ну Анселю: этот мерзавец только порадовался бы. Естественно, кое-что, очень малая часть того, что ты мне пришлешь, достанется ей [...] Конечно, она причинила мне много горя [...] Но при виде такого печального зрелища, такого краха слезы наворачиваются мне на глаза, а в сердце зреют упреки. Я дважды проел ее драгоценности и ее мебель, заставлял ее залезать из-за меня в долги, подписывать векселя, однажды разбил ей голову, а вместо того, чтобы показывать примеры достойного поведения, показывал ей примеры разгула и бродяжничества. Она

страдает и молчит. Как тут не испытывать угрызения совести? Разве не я виноват в этом, как и во всем прочем тоже? [...] Теперь ты понимаешь, почему, ужасно страдая от одиночества, я так хорошо понял гений Эдгара По и так хорошо описал его невыносимую жизнь?»

Тем временем Опик, чье здоровье оставляло желать лучшего, ушел в отставку с поста посла и за выдающиеся заслуги перед страной был назначен сенатором. Как написала одна испанская газета, мадридские нищие будут очень сожалеть об отъезде г-жи Опик, которая была столь добра по отношению к ним. Бодлер, испытавший на себе скупость матери, узнав о ее щедрости по отношению к мадридским попрошайкам, холодно отреагировал: «Признаюсь, что первая мысль, которая пришла мне в голову, была нехорошей. Но потом я не удержался от смеха... В общем, я понял, что ты повсюду старалась вести себя так, чтобы люди хорошо думали о твоём муже, что вполне естественно».

В конце апреля или в начале мая 1853 года супруги Опик покинули посольство в Мадриде и вернулись в Париж, где сняли квартиру в доме номер 91 по улице Шерш-Миди. Сразу по приезде новый сенатор приступил к своим обязанностям. Что касается Шарля, то он стал чувствовать себя более защищенным, когда мать вернулась в Париж. Хотя виделись они редко, в письмах он часто говорит о своей любви к ней. Проявления нежности чередовались, как обычно, с просьбами денег. Кредиторы не оставляли его в покое, преследовали повсюду. «Прошлой ночью я был вынужден уйти из дома и найти пристанище — скорее всего, на пару дней, пока кто-нибудь не уладит мои дела, — *в одной захудалой гостинице у черта на куличках* — потому что за мной следили, окружили даже мой дом, чтобы я не мог из него никуда выйти. Из

дома я выбежал без денег, по той простой причине, что их не было. Прошу тебя прислать 10 франков, чтобы я мог оплатить гостиницу за два дня, до 15-го числа. Я еще не встал и с беспокойством жду ответа». В том месяце он дошел до того, что попросил займы у председателя Общества литераторов.

Уступая его просьбам через раз, мать в письмах пыталась убедить сына отбросить прочь предвзятое мнение об отчине и вернуться в лоно семьи. Он упрямылся: «Визит к тебе мне всегда дается с трудом [...] Не можешь ли ты прислать письмо [...] и в нем назначить свидание, чтобы мы могли побеседовать часок-другой? Было бы прекрасно, если бы мы могли поужинать, пообедать или прогуляться. Но это роскошь, отнюдь не обязательная».

Разумеется, все требования денег сопровождались обещаниями упорно работать и в скором времени добиться успеха: «Благодаря этому [сумме в сто франков) я смогу, возможно, не только закончить книгу до середины месяца, но и полностью помириться с владельцем книжного магазина и заново начать исполнение проектов, которые я должен был осуществить год тому назад [...] Заметь, что я вовсе не стремлюсь выходить из дома, поскольку, теряя из-за ресторана по три-четыре часа в день, я боюсь вообще никогда не закончить. Поэтому нужно, чтобы консьержка или какая-нибудь другая женщина ходила и покупала для меня каждый день продукты. Так я узнаю, хоть один раз в жизни, результат своего абсолютного уединения в течение месяца». При этом мать не должна была увещевать его: «Прошу тебя, не пиши мне фраз, вроде: *Право, Шарль, ты меня огорчаешь, и т. д., или Организованный человек всегда имеет достаточно денег, чтобы оплатить такие вещи...* Лучше уж откажи мне совсем или пришли денег [...] Приходить ко мне не надо, на меня сейчас

действительно слишком много всякого-разного навалилось, отчего мне и тошно, и грустно». Не приемлет он также и ее наставлений, например, совета купить резиновую обувь, которая, по ее мнению, облегчила бы его боли: «Ты не замечаешь по-детски смешную сторону материнства, и если бы я не видел трогательную сторону этого ребячества, то просто перестал бы тебе писать [...] Ну а по поводу твоих опасений, будто я сам опускаюсь в такой нищете, я могу тебе только сказать, что всегда, как в нищете, так и в прилично-нормальной жизни, я два часа в день уделяю туалету. Поэтому не пачкай больше свои письма такими глупостями».

Как раз в этот момент Бодлеру очень срочно нужны были деньги, чтобы похоронить дорогого ему человека, мать Жанны, старую негритянку. «Если бы сегодня у меня была приличная сумма, например 100 франков, я бы не стал покупать обувь или рубашки, не пошел бы к портному или в ломбард, — писал Бодлер в том же письме. — Вчера истек последний срок для исполнения действия, которое я рассматриваю как *обязательный Долг*. Речь идет об эксгумации и перезахоронении женщины, которая когда-то отдала мне свои последние сбережения без ворчания и вздохов, *а главное — без советов*». Без советов! Вот именно! Так что любительнице увещеваний Каролине следовало бы брать с нее пример! «Участок земли мне обойдется в 86 франков, ну и придется, конечно, дать еще кое-кому на чай, этим мошенникам могильщикам, — продолжал он. — Это поважнее новых туфель. Кстати, я так привык к физическим неудобствам, что научился заправлять по две рубашки в рваные брюки и прикрывать их продуваемым всеми ветрами сюртуком, научился так ловко подкладывать соломенные, а то и бумажные стельки в дырявую обувь, что страдания теперь испытываю только моральные. Хотя надо признать,



дошел уже до того, что боюсь делать резкие движения и даже много ходить пешком — из страха порвать одежду еще больше». Получив от матери деньги, он 31 декабря 1853 года отчитался в их использовании: «Оплатил расходы по эксгумации и перезахоронению, которые оказались намного больше, чем ожидалось [...] После того, как я заплатил прачке, консьержке и купил немного дров, у меня ничего не осталось [...] Ты написала мне очаровательное, но очень грустное письмо, как всегда полное свойственных тебе преувеличений, от которых ты никак не отделаешься. Умершую женщину я почти что ненавижу. Но ведь это же я оставил ее умирать в самой настоящей нищете. И разве я придумал предрассудки и уважение к покойникам? Так что это всего лишь вопрос приличия и только. Если хочешь, я завтра же pošлю тебе на дом квитанцию»<sup>[41]</sup>.

На следующий год Бодлера меньше опечалила смерть его племянника Эдмона, сына Альфонса и Фелисите, умершего в двадцатилетнем возрасте. Узнав об этой кончине слишком поздно, он не смог присутствовать на похоронах. Но своему сводному брату, с которым давно уже не общался, он тогда написал: «Я не представляю отчетливо всей глубины постигшей тебя утраты. Догадываюсь только, что горе твоё безмерно. Совершенно не знаю, какие тут можно найти слова утешения. Вот уже несколько лет как мы не виделись, и сейчас, не знаю почему, мысль о твоём горе и мысль о том, как мы с тобой далеки друг от друга, пришли ко мне одновременно. Ничего лучшего не могу придумать, как пообещать тебе, что через несколько дней приеду пожать тебе руку и обнять тебя, а сейчас меня одолели срочные дела. Надо ли говорить, что я прошу тебя выразить жене мое сочувствие в связи с её горем?»

Посылая это письмо, он отлично знал, что в глазах супругов Опик Альфонс и Фелисите являли собой пример супружеского и вообще человеческого совершенства, тогда как он, Шарль, выглядел просто пустоцветом. И он злился на них за то, что они предпочитают ему этого претенциозного дурака только потому, что тот судья, человек женатый и к тому же ни в чем не нуждается. Иногда, разогрев себя вином и впадая в эйфорию, он мысленно представлял себе, как возьмет реванш, добившись блестящего успеха в театре. Почему бы не написать либретто для оперы, как ему ненароком подсказал директор Оперы Нестор Рокплан? Едва эта идея возникла у Шарля, как перед глазами стали возникать картины триумфа — его собственного и знаменитого композитора Мейербера. Однако по своей неаккуратности, как он сообщал матери, Бодлер пропустил «все назначенные ему встречи». Подумывал он также и о драме для одного из театров на бульваре, но потом вдруг отказался от этого проекта, сулившего его воображению золотые горы. Было и нечто более серьезное: один из самых популярных актеров театра «Одеон» Ипполит Тиссеран, услышав, как он читает свое стихотворение «Хмель убийцы», посоветовал ему написать на этот сюжет пьесу. Бодлер тут же набросал канву драмы: герой будет рабочим, пыльщиком, орудующим продольной пилой, будет мечтателем, бездельником и алкоголиком, а его жена — «образцом нежности, терпения и *здорового* смысла». В пьесе должна была идти речь о бедности, безработице, семейных ссорах, пьянстве и убийстве... «Видите, как проста фабула драмы, — пишет Бодлер Тиссерану. — Никакой запутанности, никаких неожиданностей. Просто развитие порока от ситуации к ситуации». Через три дня он победоносно сообщил матери: «Это большая пятиактная драма для „Одеона“ — о бедности, о пьянстве и преступлении. Правда, я

еще не читал свой *сценарий* в дирекции, но лишь потому, что главный актер театра потребовал, если можно так выразиться, чтобы я сделал это для него, и надо сказать, что я справился с сооружением этой внушительной махины с легкостью, которой от себя даже не ожидал».

Оставалось только сесть и написать пьесу. Но если в кругу друзей он с удовольствием рассказывал ее содержание, то сесть и написать текст, реплику за репликой, он все никак не решался. Слишком новое это было для него дело — работа над диалогом. Ему претило выстраивать банальный обмен репликами. А по мере того как шло время, идея пьесы «Пьяница» становилась ему все более и более чужой. Он по-прежнему говорил о ней, но желания браться за дело становилось все меньше и меньше. Черновик сценария так и остался лежать в ящике письменного стола. По сути дела к театру его потянула лишь надежда на хороший заработок. Захотелось утереть нос семье.

Тридцатичетырехлетний Бодлер не мог простить семье того, что она больше ему не помогает. А ведь Бог тому свидетель — у них имелись средства для этого! Он едва сводил концы с концами, а Опик приобрел 7 марта 1855 года дом в Онфлёре, на высокой скале, господствующей над портом, дом с просторными комнатами, рабочим кабинетом, гостиной, верандой, застекленной галереей, садом, террасой, служебными помещениями и конюшнями... Сенатор рассчитывал отдыхать в Онфлёре летом, а затем, по выходе на пенсию, просто там жить. Каролина надеялась, что Шарль согласится приезжать к ним, хотя бы на короткое время. Она тогда еще мечтала об укреплении семейных уз и неоднократно намекала на это в своих письмах. За год до этого сын так ответил ей по этому поводу: «Да, да, все уладится; да, это примирение состоится, причем в почтеннейшей форме, если у твоего

мужа хватит на это ума; да, я знаю, как я измучил тебя». Но в глубине души он догадывался, что никогда его ум и гордость не склонятся перед этим человеком, так часто его унижавшим. Он был убежден, что, живя рядом с Опиком, мать его заразилась от генерала духом самодовольства, непримиримости и узкого конформизма. Конечно, личность слабой женщины Опику было легко подавить, но совладать с вечным бунтовщиком-пасынком ему вряд ли удастся. Во всяком случае так полагал Шарль, старавшийся создать о себе впечатление цельной личности.

На самом же деле он поворачивал туда, куда дул ветер. Его поведение менялось, главным образом, в общении с матерью. То он осыпал ее упреками и саркастическими замечаниями, то с детскими интонациями в голосе кричал о своей к ней любви, то умолял прийти как можно скорее, то резким тоном просил не нарушать его одиночества. День и ночь его преследовали три заботы: деньги, мать, стихи. Деньги ему присылала мать. А вот кто нашептывал стихи? Бог или дьявол? До поры до времени он не мог четко ответить на этот вопрос.

## **Глава XIV. ГОСПОЖА САБАТЬЕ И МАРИ ДОБРЕЙ**

Время от времени Бодлер испытывал потребность в уроках самоанализа. И каждый раз это сводилось к жалобам на неблагоприятное состояние души, здоровья и финансов, к проклятиям в адрес опекунского совета и к более или менее твердым намерениям отныне хорошо себя вести и упорно трудиться. Каждый раз в таких случаях он также упрекал матушку, которая, по его словам, уклонялась от встреч с ним, не хотела его понять и ему помочь. 20 декабря 1855 года он написал ей длинное письмо, жалуясь на нервное истощение и свою злосчастную судьбу: «Прежде всего остального я желаю Вас видеть. Вот уже более года Вы уклоняетесь от этого, и я в самом деле полагаю, что Ваш законный гнев должен быть удовлетворен. В моей ситуации по отношению к Вам есть нечто абсолютно ненормальное, нечто абсолютно унижительное для меня, и Вы явно не можете желать, чтобы так продолжалось и дальше[...] Я начал с того, что привел в порядок кучу бумаг и обнаружил много Ваших писем, написанных в разное время и при разных обстоятельствах. Попытался перечитать некоторые из них. Оказалось, что во всех письмах отражается сугубо материальный интерес, как будто долги — это все, а духовные радости и удовольствия — ничто. Ну а поскольку все эти письма исходили от матери, то возникшие у меня мысли были самыми что ни на есть печальными. Все письма отражали прошедшие годы, причем прошедшие скверно [...] Размышляя о них, я понял, что такое положение вещей не только чудовищно и возмутительно, но и опасно. Оттого, что мой ум, по Вашему мнению, устроен эксцентрическим образом, не следует делать вывод,

будто мне доставляет какое-то нездоровое удовольствие находиться в полном одиночестве, вдали от своей матери [...] Один из нас может умереть, и поистине тяжело думать, что мы рискуем помереть, не повидавшись [...] Я уже давно болен и душой, и телом, и хочу всего сразу, полного омоложения, немедленного возвращения телесного и духовного здоровья».

После таких общих рассуждений Бодлер постепенно переходит к грустным размышлениям о своем повседневном существовании. Он лишен не только материнского тепла, но и самых необходимых удобств, на которые может рассчитывать человек его происхождения, да еще с его талантом. Кто же виноват? Ясно — семья Опик, и муж, и жена! «Я донельзя устал от этой трактирной жизни, от меблированных комнат гостиниц; она отравляет и убивает меня. Не знаю, как я еще до сих пор жив. Замучили насморки и головные боли, высокая температура и особенно необходимость выходить дважды в день, и в снег, и в грязь, и в дождь (...) Но есть нечто более серьезное, чем физическая немощь. Это страх, что в такой ужасной жизни, полной тревог, захиреет и иссякнет, напрочь исчезнет прекрасный поэтический дар, ясность мысли и сила воображения, составляющие мой основной капитал. Дорогая мама, Вы настолько далеки от жизни поэта, что скорее всего даже и не поймете как следует мою аргументацию. Однако именно этого я больше всего и боюсь: я не хочу умереть в неизвестности, не хочу стареть, не познав нормальной жизни, и *никогда* с этим не смирюсь. Я полагаю, что моя личность представляет собой весьма большую ценность, я не скажу, что она обладает большей ценностью, чем личности других людей, но для меня она достаточно ценна».

Это письмо Бодлер написал накануне своего очередного переезда. Одно за другим менял он убогие

жилища и вот решил осесть в доме номер 18 по улице Ангулем, в районе бульвара Тампль. «Теперь я буду жить как приличный человек. Наконец-то! — сообщил он матери. — Моя жизнь должна быть скрытой, непроницаемой для всех, должна быть совершенно трезвой и целомудренной». Каролина поверила бы в это последнее заверение, если бы не знала, что ее сын, хотя и не живет больше с Жанной, продолжает встречаться с ней и содержать ее. И все же она разрешила Анселю выдать Шарлю на руки 1500 франков, которые тот срочно потребовал на обустройство. «Решительно, жизнь поэта стоит этого!» — добавил он, чтобы убедить мать. Однако в тех указаниях, которые она дала Анселю, г-жа Опик, признав, что «это сейчас главное» для ее несчастного сына, тем не менее Уточнила, что ей «не слишком хочется восстанавливать былые отношения с ним». Значит ли это, что он довел ее до предела столькими своими всплесками дурного настроения и столькими невыполненными обещаниями? Вконец разочаровавшись, она согласна была, чтобы он не умер с голоду, приоткрыть сыну кошелек, но не свое столько раз им раненное сердце.

А Бодлер тем временем радовался своему переезду. Каждый раз, меняя квартиру, он убеждал себя, что изменит и всю свою жизнь. Впрочем, он не имел ничего против обновления и в любовных делах. И если Жанна в последние годы многократно ему изменяла, то он тоже не оставался в долгу. Но его последние пассии были совершенно иного интеллектуального уровня, чем мулатка. Сперва он влюбился в даму полусвета, очень тогда известную г-жу Сабатье<sup>[42]</sup>, которую ее многочисленные друзья звали Аполлонией, а Теофиль Готье окрестил «Президентшей». Родилась она в 1822 году в Мезьере и была внебрачной дочерью префекта

департамента Арденны и прачки, Маргариты Мартен. Андре Саватье, сержант 47-го пехотного полка, стоявшего гарнизоном в том городе, согласился признать еще не родившегося ребенка своим, и Маргарита срочно вышла замуж за бравого солдата, благодаря чему Аглая родилась в полной семье. Уже в самом раннем возрасте девочка восхищала окружение своей естественной грацией и красивым голосом. Она и потом продолжала очаровывать всех вокруг и еще совсем юной стала любовницей богача Ришара Валласа, того самого, который одарил Париж колонками питьевой воды, названными его именем. Затем она перешла к скульптору Клезенже, потом — к Альфреду Моссельману, крупному владельцу шахт, поселившему ее в доме номер 4 по улице Фрошо. «Она была довольно высокой, пропорционально сложенной женщиной, с тонкими лодыжками и очаровательными руками, — писала о ней Жюдит Готье, дочь Теофиля Готье. — Ее шелковистые шатеновые волосы с золотым отливом ниспадали крупными волнами, усеянными отблесками света. У нее был ровный светлый цвет кожи, правильные черты лица, маленький смешливый рот, лукавое и умное лицо. От ее победительного вида вокруг распространялся какой-то свет лучезарного счастья. Одевалась она с большой фантазией и вкусом. Моде не подчинялась, а создавала свое собственное, только ей присущее подобие моды. Крупные художники, приходившие к ней в гости по воскресеньям, давали ей полезные советы и рисовали эскизы моделей».

Восхищаясь великолепной фигурой своей любовницы, Моссельман предложил Клезенже изобразить ее совершенно обнаженной, в виде лежащей без сознания женщины. Предварительно был снят слепок со всего тела с сохранением мельчайших деталей. А поскольку покровитель красавицы хотел,



чтобы все завидовали ему, имеющему столь соблазнительную любовницу, то скульптор сделал еще и мраморную статую в той же позе. При этом, чтобы упредить придирки цензуры, к статуе добавили маленькую бронзовую змейку, якобы укусившую прелестную и бесстыжую красотку. Статуя была выставлена в Салоне 1847 года под названием «Женщина, укушенная змеей» и тотчас привлекла игривое любопытство посетителей. Самые строгие критики восхищались «нежной эластичностью» этого одновременно и античного, и современного тела. Вероятно, и Бодлера тоже не оставил равнодушным вид Аполлонии без одеяний, полуживой от укуса змеи сладострастия. Он не раз встречал г-жу Сабатье у художника Буассара, в гостинице «Пимодан», а потом на воскресные ужины у «Президентши» его несколько раз приводил Готье. Там он встречался с Флобером, Дю Каном, Мейсонье, Анри Монье, Барбе д'Оревилли, с братьями Гонкур и многими другими. Вокруг этой молодой женщины, которую не смущали никакие вольные разговоры, то и дело звучал громкий смех. Элегантная и умная, она царила над толпой возбужденных самцов. Бодлер наблюдал за этой крепкой, улыбающейся маркитанткой, отнюдь не стремившейся изображать из себя недотрогу, и думал, какое наслаждение, должно быть, обладать ею. Однако не смел ни сделать неловкого жеста в ее сторону, ни сказать ей какое-нибудь неуместное слово. Она его завораживала и парализовала. Однажды декабрьским вечером 1852 года, вернувшись домой, он написал в ее честь любовное стихотворение «Слишком веселой».

Твои черты, твой смех, твой взор  
Прекрасны, как пейзаж прекрасен,  
Когда невозмутимо ясен  
Весенний голубой простор.

.....  
Когда придет блудница-ночь  
И сладострастно вздрогнут гробы,  
Я к прелестям твоей особы  
Подкрасться в сумраке не прочь;

Так я врасплох тебя застану  
Жестокий преподав урок,  
И нанесу я прямо в бок  
Тебе зияющую рану;

Как боль блаженная остра!  
Твоими новыми устами  
Завороженный, как мечтами,  
В них яд извергну мой, сестра! [\[43\]](#)

К этим стихам, которые он не подписал, Бодлер приложил записку, тоже анонимную: «Смирнейше умоляю ту, ради которой написаны эти стихи, понравятся ли они или нет, и даже если покажутся просто смешными, не показывать их *никому*. Глубокие чувства стыдливы и не терпят насилия над собой. Не является ли отсутствие подписи признаком именно такого неодолимого стыда? Тот, кто написал эти стихи в привычных своих мечтах о ней, любил ее с необыкновенной силой, никогда не признаваясь ей в этом, и *навсегда* сохранит к ней чувство самой нежной симпатии».

Мадам Сабатье была привычна к любовным объяснениям такого рода. Так, в свое время Теофиль Готье послал ей из Италии знаменитое «Письмо Президентше», настолько эротичное, что текст его издали много позже и тайно. Теперь, увидев Аполлонию во время званных обедов на улице Фрошо, Бодлер испытывал радость втрое при мысли, что она читала

его дерзкий и неприличный мадригал и была им наверняка взволнована, и при этом не знает, кто его автор, в то время как он сидел напротив и пожирал ее глазами. Среди облаченных во фраки гостей, под яркой люстрой в столовой, он представлял ее обнаженной, задыхающейся в его объятиях, и получал от этого тем большее наслаждение, что присовокуплял к нему мысли о наказании, которому он ее якобы подвергает. Ему хотелось бы наказать ее за цветущую беззаботность, за бесстыдное кокетство, за серебристый смех-колокольчик и передать ей в поцелуе свою меланхолию, свою тягу к смерти и, может быть, свой сифилис.

Опыт такого рода тайных признаний возбудил его настолько, что 3 мая 1853 года он послал ей, по-прежнему анонимно, стихотворение «Искупление»:

Вы, ангел радости, когда-нибудь страдали?  
Тоска, унынье, стыд терзали вашу грудь?  
И ночью бледный страх... хоть раз когда-нибудь  
Сжимал ли сердце вам в тисках холодной стали?  
Вы, ангел радости, когда-нибудь страдали?<sup>[44]</sup>

Через несколько дней за первыми двумя последовало третье послание — «Признание»:

Что быть красавицей — нелегкая задача.  
Привычка, пошлая, как труд  
Танцорок в кабаре, где злость и скуку пряча,  
Они гостям улыбку шлют,  
Что красоту, любовь — все в мире смерть  
уносит.  
Что сердце — временный оплот.  
Все чувства, все мечты Забвенье в сумку бросит  
И жадной Вечности вернет!<sup>[45]</sup>

К этому стихотворению разочарованного человека приложено письмо: «Право, мадам, прошу у Вас тысячу извинений за это глупое, ужасно ребяческое анонимное рифмоплетство. Но что делать? Я эгоист, как ребенок, или, как больной человек. Когда я страдаю, то думаю о тех, кого люблю. Обычно думаю о Вас стихами, и когда стихи сложены, мне не удастся устоять перед желанием показать их той, о ком они написаны. И вместе с тем я прячусь, как человек, больше всего на свете боящийся оказаться смешным [...] Каким бы абсурдным Вам все это ни казалось, представьте себе, что есть сердце, над которым Вы можете лишь жестоко посмеяться, сердце, в котором по-прежнему живет Ваш образ».

Письмо это, датированное 9 мая 1853 года, было отправлено из Версаля, куда Бодлер отправился вместе с Филоксеном Буайе, предполагая заняться подготовкой исследования о великих людях века Людовика XIV. Но, обосновавшись в гостинице, они очень быстро оказались без денег, не могли оплатить счет и были изгнаны хозяином, забравшим в качестве залога их скудный багаж. Куда им было идти? Недолго колебавшись, они нашли себе пристанище в публичном доме. И стали веселиться там напропалую, вероятно, чтобы оправдать свое присутствие в глазах хозяйки. Потом Филоксен Буайе, оставив Бодлера в качестве заложника, вернулся в Париж в поисках денег.

На следующий год Бодлер направил г-же Сабатье еще четыре стихотворения: «Духовная заря», «Живой факел», «Что скажешь ты, душа, одна в ночи безбрежной...» и «Гимн». Письмо, приложенное к этому последнему отправлению, по-прежнему анонимному, содержало новые признания: «Я так боюсь Вас, что все время скрывал свое имя [...] Вы для меня — не только самая привлекательная из женщин, из всех женщин, но и самое дорогое, самое бесценное суеверие. Я — эгоист

и пользуюсь Вами. — Прилагаю свою жалкую бумажонку. — Как был бы я счастлив, если бы мог надеяться, что мое понимание любви может быть благожелательно воспринято в тайном уголке Вашей очаровательной головки! Я никогда об этом не узнаю!» Последнее четверостишие стихотворения звучит почти как молитва:

Тебе, прекрасная, что ныне  
Мне в сердце излучаешь свет,  
Бессмертной навсегда святыне,  
Я шлю бессмертный свой привет<sup>[46]</sup>.

Под ним еще была приписка: «Простите, большего я не прошу».

Есть в письме характерная фраза: «Я — эгоист и пользуюсь Вами». Эта формулировка с предельной откровенностью выражает отношение Бодлера к мадам Сабатье. Испытывая к ней влечение, он использовал свои чувства, чтобы воспевать в стихах «президентшу» вечерних застолий на улице Фрошо. Она служила трамплином для его вдохновения. Стихотворное языческое восхваление ее адресовалось, на самом деле, идеальному существу, столь же чувственному в душе, сколь и неземному во плоти. Если он, во всей этой истории, — безвестный поэт, то она — невольная муза, порой просто неловкая.

Впрочем, она владела его мыслями не всецело: не скупясь на дифирамбы, Бодлер заинтересовался еще одной молодой женщиной, актрисой Мари Добрей. Начав примерно в 1846 году с маленьких ролей в театре «Монмартр», она играла затем в театрах «Водевиль», «Порт-Сен-Мартен», «Амбигю», «Исторический театр Дюма», «Гете», причем роли ей поручались все более и более значительные. Блондинка с очень светлой кожей,

с зелеными глазами и лукавой улыбкой, она очаровывала партер и зажигала галерку. В 1852 году, по возвращении из Италии, когда ей исполнилось двадцать четыре года, она играла в театре «Одеон» в пьесе Филоксена Буайе и Теодора де Банвиля «Невероятная история Аристофана». По-видимому, именно тогда она стала любовницей Банвиля. А Бодлер познакомился с ней благодаря своим друзьям. И сразу же нашел, что она достойна внимания всех троих. Весной 1854 года Мари Добрен стала играть на сцене театра «Гете». В ту пору увлечение Шарля перешло в наивное обожание. Эту независимую и капризную малышку он наделял душевными качествами мадонны. Но как можно без гроша в кармане ухаживать за избалованной актрисой? Рассчитывая на положительную реакцию матери, узнающей, что сын отвернулся от Жанны и заинтересовался другой женщиной, он писал: «Милая мамочка, я *обязан*, действительно *обязан* пригласить *сегодня* на ужин одного человека. Поскольку кухня здесь<sup>[47]</sup>, из-за *нищеты* хозяина моей гостиницы, нищеты, о которой я не подозревал, — невыносимая, я должен повести этого человека в хороший ресторан. Конечно, я мог бы написать ему записку, чтобы отменить его приход — прибегнув к грубой лжи, вроде моего отсутствия или болезни, — но мне и самому было бы приятно хорошо поесть где-нибудь в другом месте, так как здесь, действительно, просто жутко готовят. Раньше это заведение поддерживали на должном уровне, а сейчас здесь все отвратительно [...] (вот один из примеров беспорядка, царящего в этом доме: представь себе только, что недавно во время ужина тут не оказалось хлеба)».

Ужин, оплаченный г-жой Опик, еще больше сблизил Шарля с Мари. Теперь не проходило и дня, чтобы он не

зашел в гримерную актрисы в театре «Гете», чтобы повидать ее. Она играла в пьесе «Камышовый загон» Фредерика Сулье и готовила роль в мелодраме Эмиля Вандербюрша «Арденнский кабан». Эта напряженная работа поддерживала актрису в возбужденном состоянии, что только прибавляло ей прелести. А Бодлер в свою очередь ждал большого события: скорой публикации своих переводов новелл Эдгара По в журнале «Пэи» и статей «О смехе» и «Карикатуристы» в «Ревю де Пари». Он писал матери, что это поможет ему встать на ноги. Но пока он по-прежнему едва сводил концы с концами.

И 14 августа 1854 года он обращается к Каролине с просьбой о помощи: «Женщине можно рассказывать о женщинах. Есть такие деликатные, честные и несчастные люди, которым достаточно чуточку ласки, чтобы они и дальше терпеливо несли свой крест. Сегодня у Мари именины. Женщина, о которой я тебе говорил, проводит ночи у кровати умирающих родителей, отыграв пять актов в глупейших пьесах. Я не так богат, чтобы делать подарки, но послать сегодня вечером несколько цветков было бы достаточным проявлением симпатии». Должно быть, Каролина улыбнулась, вообразив «родителей» актрисы, одновременно заболевших и готовых один подле другого в одночасье испустить дух! Поистине, Шарль был неисправим в своих выдумках запоздалого школяра!

Если успехи Бодлера заставляли себя ждать, то у Мари Добрен все шло, как по маслу. Она играла в театре «Гете» во всех пьесах. И у Шарля возникла мысль предложить в этот театр для постановки свою пьесу «Пьяница». Но осторожный Ипполит Остейн, руководитель театра, рисковать не захотел. Бодлеру, разочарованному, не оставалось ничего иного, как взывать к щедрости матери: «За месяц мне пришлось

шесть раз переезжать, жить в непросохших после ремонта комнатах, спать в кроватях, полных блох, письма ко мне (самые важные) теряются, потому что я переезжал из отеля в отель, и поэтому я решил жить и работать в типографии, поскольку дома не было условий [...] Работа для „Пэи“ кончается через три дня, и нужно будет начинать что-то другое, а при этом у меня нет жилья, потому что нельзя же назвать жильем мою дыру, где совершенно нет мебели, где мои книги *валяются на полу* [...] И самое смешное, что именно в таких невыносимых условиях, которые меня изнашивают, я *должен* писать стихи, а это же ведь для меня самое что ни на есть утомительное занятие».

Единственной хорошей новостью в этой лавине забот стало подписание контракта с Мишелем Леви о публикации двух томов новелл Эдгара По. Переводчик рос в глазах читателей, тогда как поэт вроде бы топтался на месте. А тут — словно ему не хватало раздоров с матерью, с Анселем, с кредиторами, с газетами и издателями — он оказался вынужден заниматься еще и карьерой Мари. Характер у актрисы легкостью отнюдь не отличался. Когда ей наступали на ноги, она активно реагировала. Во время сезона 1854/55 года Мари рассорилась с директором «Гете», женатым на женщине, ненавидевшей ее, Мари, и уехала в Италию, в турне, сулившее ей лишь жалкие гроши. Но в дороге импресарио разорился, и она застряла в Ницце. Ей хотелось бы получить хорошую роль в одном из парижских театров. Не смог ли бы Бодлер поговорить с Жорж Санд о роли в одной из ее драм, которую скоро собирались репетировать в театре «Одеон»?

Бодлер же испытывал к Жорж Санд настоящее отвращение. Он писал о ней в книге «Мое обнаженное сердце»: «Она глупа, тяжела, болтлива. В области морали ее идеи не выше и не тоньше взглядов консьержек и продажных девок [...] Тот факт, что



несколько мужчин втюрились в это отхожее место, доказывает лишь глубину падения мужчин нашего века [...] Об этой идиотке я не могу думать без содрогания. Если бы я случайно встретил ее где-нибудь, то не удержался бы и запустил ей в башку чем попало». Но на какие только уступки не пошел бы Шарль, чтобы угодить Мари. Она просила его о помощи. И он не имел права ей отказать. Так что 14 августа 1855 года он послал писательнице письмо, где расшаркивался перед этой «аморальной резонершей»: «Мадам, я обращаюсь к Вам с очень большой просьбой, а Вы даже не знаете, как меня зовут. Если бывают в жизни затруднительные положения, то одно из них — положение неизвестного писателя, вынужденного обращаться с просьбой к писателю знаменитому». Изложив подробнейшим образом положение своей подопечной, уже сыгравшей до этого с успехом в двух других пьесах Жорж Санд, он заканчивал: «Надо ли говорить, мадам, с какой радостью я бы увидел, как мадемуазель Добрен с почетом возвращается в Париж, чтобы сыграть в одной из Ваших пьес и быстро восстановить свое положение в театре после невзгод и неудач прошлого сезона? [...] Нужно ли говорить о моем восхищении Вами и о чувстве глубокой признательности, которое я заранее испытываю. С беспокойством ожидаю Вашего ответа».

Перед тем как запечатать конверт, у него возникло сомнение, как назвать ту, к кому он обращался: г-жой Санд или г-жой Дюдеван, употребив настоящую фамилию писательницы, или же вообще г-жой баронессой Дюдеван. «Больше всего я боялся вызвать Ваше неудовольствие! — писал он в постскриптуме. — Последний вариант [баронессе Дюдеван] мне показался невежливым по отношению к Вашему гению, и я решил, что Вы предпочтете имя, под которым царите в умах и душах Вашего века». Сколько банальностей в похвалах автору, которого человек презирает! Но Мари стояла

того, чтобы ради нее так вот по-лакейски раскланиваться. Да и никто об этом не должен был узнать...

Жорж Санд 16 августа ответила из Ноана, где она жила, пообещав связаться с директором «Одеона», Гюставом Ваэзом: «Я сейчас же ему напишу. Примите выражение моих наилучших чувств». Однако у Гюстава Ваэза возникло опасение, что Мари Добрен слишком полновата для этой роли. Жорж Санд возражала: «Я видела ее год тому назад, и талия у нее вовсе не полная, а красота несомненна. Могла ли она так быстро растолстеть?» Узнав о хлопотах своей знаменитой коллеги, Бодлер взволнованно ее благодарил: «Мадам, 17-го числа я получил Ваше прелестное письмо. Значит, я не ошибся, обращаясь к Вашей доброте [...] Благодарю Вас и прошу принять мои заверения в глубочайшем уважении».

В конце концов, несмотря на настойчивые просьбы Жорж Санд, кандидатура Мари Добрен не была принята, и роль отдали другой Мари, Мари Лоран. Бодлера это вывело из себя, он решил, что отвратительная дама из Ноана сознательно подвела его и Мари. Взяв в руки письмо Жорж Санд от 16 августа, он гневно написал на нем: «Госпожа Санд обманула меня и не сдержала обещания». И насмешливо подчеркнул орфографическую ошибку, допущенную его корреспонденткой.

Рассерженная этой неудачей Мари Добрен охладела к Бодлеру и вновь начала выказывать любовь к Теодору де Банвилю. А тому возобновление связи подсказало идею романа «История актрисы Нинетты», который вышел в свет осенью 1855 года с посвящением: *«Посвящаю г-же Мари Добрен эту новеллу, написанную на углу ее гостеприимного стола ее другом Т. де Банвилем, 1855 г.»* Вскоре после этого они стали жить вместе. Бодлер завидовал успеху соперника у

женщины, от которой сам он, наивный, добился лишь возможности смотреть в ее зеленые глаза да вдыхать густой аромат ее духов. Соперник-победитель повсюду афишировал свой успех, а Бодлеру оставалось лишь переживать и глубоко прятать свою любовь, не ожидая взаимности. Но Банвиль недолго торжествовал. Вскоре он заболел, а Мари, вынужденная ехать на гастроли, увезла его в Ниццу, где он постепенно выздоравливал. Оставшись в Париже, Бодлер издалека следил за их идиллией и сам не знал, хотелось ли бы ему оказаться на месте своего коллеги или нет. Его чувство по отношению к Мари было неоднозначно. Он воспевал ее в своих стихах то с бесконечной грустью, то с яростным желанием овладеть, а потом отомстить. В «Осенней мелодии» он писал, думая о ней:

Люблю ловить в твоих медлительных очах  
Луч нежно-тающий и сладостно-зеленый;  
Но нынче бросил я и ложе, и очаг,  
В светило пышное и отблеск волн влюбленный.

Но ты люби меня, как нежная сестра,  
Как мать, своей душой в прощении безмерной;  
Как пышной осени закатная игра.  
Согрей дыханьем грудь и лаской эфемерной <sup>[48]</sup>.

Ах, если бы мог он положить свою пылающую голову на колени любимой и забыть про остальной мир, словно послушный мальчик! Пусть она станет его матерью, сестрой — большего ему не надо!

Зато в стихотворении «Моей Мадонне» он делает свою возлюбленную объектом садистского колдовства. Вознеся своего кумира на некий алтарь «от глаз вдали», он наделял ее всеми атрибутами божества, чтобы тем вернее затем ее казнить:

Тут, сходству твоему с Марией в довершение,  
Жестокость и Любовь мешая в упоеньи  
Раскаянья (ведь стыд к лицу и палачу!),  
Все смертных семь Грехов возьму и наточу,  
И эти семь Ножей, с усердьем иноверца.  
С проворством дикаря, в твое всажу я Сердце —  
В трепещущий комок, тайник твоей любви, —  
Чтоб плачем изошел и утонул в крови<sup>[49]</sup>.

Вот так, умоляя Мари Добрен озарить ему душу материнской нежностью, он вынашивал жестокое намерение убить ее кинжалом, в наказание за собственную любовь к ней. В этом — весь Бодлер, метавшийся между ангельством и сатанизмом, между меланхолией и яростью, между нежностью истинного чувства и искусственно раздуваемым адским пламенем. Однако ритм фразы и подбор слов подчинялись одинаково строгому ритму, независимо от того, несли ли они в себе мольбы или проклятия. Играл ли он пианиссимо или фортиссимо, смычок артиста никогда не фальшивил.

Поскольку надежды его, связанные с г-жой Сабатье и Мари Добрен, ни к чему конкретному не привели, он, в конце концов, устав от одиночества, от переездов, от скверной пищи, в декабре 1855 года, возобновил совместную жизнь с Жанной. Она для него была вариантом «на худой конец», воплощением его дурных привычек, своего рода домашним животным, на которое можно кричать, но которое, в свою очередь, может заупрямиться, а то и боднуть. Примирение после ссор так приятно, что люди порой нарочно ссорятся, чтобы потом мириться. Восстановив отношения со спутницей жизни, Шарль даже поручал ей общаться с Анселем и писал ему: «Умоляю Вас при общении с Жанной не допускать никаких шуток или намеков на былые ссоры.

Это выглядело бы грубостью». Но примирение не оправдывало надежд. Пожив какое-то время в доме 18 по улице Ангулем-дю-Тампль, чета стала менять одну меблированную комнату за другой и наконец осела в гостинице «Вольтер» на набережной с таким же названием, в двух шагах от типографии «Монитор юниверсель», в которой должны были печатать «Приключения Артура Гордона Пима» в переводе Бодлера. Скоро ссоры между любовниками стали походить на сведение счетов.

В сентябре 1856 года, устав друг от друга, они после очередного скандала расстались. Похоже, что инициатива принадлежала Жанне. Шарль тотчас сообщил об этом матери, догадываясь, что та воспримет новость не без удовлетворения: «Моя связь с Жанной, длившаяся четырнадцать лет, порвана. Я сделал все, что было в человеческих силах, чтобы разрыва не произошло. Это расставание, это противостояние длилось две недели. Жанна мне постоянно невозмутимо отвечала, что у меня несносный характер и что в конце концов я сам же когда-нибудь скажу ей спасибо за такое решение. Вот она, примитивная буржуазная мудрость женщин. Я-то знаю, что какое бы приятное увлечение, удовольствие, заработанные деньги или удовлетворенное тщеславие ни ожидали меня, мне всегда будет не хватать этой женщины. Чтобы мое горе, которого Вы, возможно, и не поймете, не казалось вам ребячеством, признаюсь, что, подобно игроку, я поставил на эту женщину все мои надежды. Эта женщина была единственной моей радостью, единственным удовольствием, единственным товарищем и, несмотря на все стычки между нами, естественными при такой бурной любви, мне никогда и в голову не приходила мысль об окончательной и непоправимой разлуке. Еще даже и сейчас, когда все уже успокоилось, я ловлю себя на мысли, глядя на

какой-нибудь красивый предмет, прекрасный пейзаж или просто что-нибудь приятное, на мысли, почему ее нет рядом, чтобы вместе чем-то полюбоваться или вместе со мной что-нибудь купить. Как видите, я не прячу мои раны. Уверяю вас, потрясение было настолько сильным, что мне понадобилось много времени, прежде чем я понял, что, возможно, работа доставит мне удовольствие и что в конце концов я должен выполнять свой долг. Передо мной все время стоял вопрос: а зачем? [...] Десять суток я не спал, меня тошнило, я был вынужден прятаться, потому что я все время плакал [...] Передо мной простиралось будущее в виде долгой череды лет без семьи, без друзей, без подруги, годы одиночества и превратностей — и ничего для души [...] Все это случилось по моей вине; я пользовался и злоупотреблял ею, позволял себе мучить ее, а она в свою очередь мучила меня. Мной овладел суеверный ужас, и я вдруг представил себе, что Вы заболели. Я послал к Вам человека, узнал, что Вас нет дома и что Вы здоровы, во всяком случае, так мне сказали, но прошу Вас подтвердить это письмом [...] Я сейчас одинок, совсем одинок, и, скорее всего, навеки. Ибо я больше не могу, просто хотя бы *с точки зрения морали*, доверять не только людям, *но и себе самому*, поскольку отныне мне остается заниматься лишь денежными делами и вопросами, связанными с удовлетворением тщеславия, и получать радость только от литературы».

Очень может быть, что в этот мрачный период он не раз вспоминал Жерара де Нерваля, повесившегося год назад на улице Вьей-Лантерн. Этот случай не выходил у Бодлера из головы. Уйти, как он. Почему бы и нет? Однако этот период душевного расстройства длился недолго. После нескольких недель смятения, уныния и неопределенности он вновь почувствовал вкус к жизни и потребность творить. Матери, высказывавшей

сожаление по поводу того, что у него, в отличие от большинства мужчин его возраста, нет своего очага, он с иронией отвечал: «Позвольте мне немножко посмеяться, совсем немножко, над Вашим постоянным желанием видеть меня *таким, как все*, человеком, достойным Ваших старых друзей, так любезно поминаемых Вами. Увы, Вы же знаете, что я человек иного склада и что моя судьба сложится иначе. Почему бы Вам не поговорить немножко о женитьбе, как делают все мамыши? Если говорить совсем откровенно, мысль об этой девушке [Жанне] никогда меня не покидала, но я так устал от жизни, состоящей из лжи и пустых обещаний, что чувствую себя неспособным вновь попасть в те же сердечные ловушки, из которых нет выхода. — Бедняжка сейчас болеет, а я отказался посетить ее. Она долго и упорно избегала встреч со мной, потому что знает мой ужасный характер, весь состоящий из хитростей и ярости. Я знаю, что она должна уехать из Парижа, и очень этим доволен, хотя, признаюсь, меня охватывает тоска, когда я думаю, что она может уехать и умереть вдали от меня. Если сказать обо мне вкратце, то я дьявольски жажду развлечений, славы и могущества. Но все это, должен признаться, часто перемежается, — может быть, недостаточно часто, милая мамочка? — с желанием Вам понравиться».

Словно специально для придания ему оптимизма новеллы Эдгара По были горячо встречены публикой, журнал «Ля Ревю де Де Мوند» опубликовал восемнадцать лучших его стихотворений, а в разных газетах появились кое-какие статьи о живописи и карикатурах. И в довершение всего 30 декабря 1856 года Пуле-Маласси подписал с ним вполне выгодный контракт об издании «Эстетических заметок» — сборника статей, предвосхищавшего «Эстетические

редкости»<sup>[50]</sup>, и тома стихов «Цветы зла». Поскольку автор был почти неизвестен, тираж каждого издания ограничились тысячей экземпляров. Радуюсь скорому появлению этих книг, Бодлер не верил в их успех. Что касается поэзии, то издательства тогда обрушили на читателей такой поток продукции бездарных рифмачей, что люди утратили способность различать хорошее и плохое. Читатели были одновременно и пресыщены, и несведущи. Как вывести их из оцепенения? Бодлер очень рассчитывал на эффектный заголовок сборника. Сначала он дал ему название «Лесбиянки», но в 1855 году критик и романист Ипполит Бабу предложил название «Цветы зла». С тех пор Бодлер не желал иных названий. Такая формулировка, как он решил, отлично передает смысл его творения, и чувственного, и зловещего, оразившего, сознательно или нет, раздвоение души. Его поиски любви, поиски нежности, поиски идеала оказались увиденными через призму взаимоотношений поэта с Мари Добрен и г-жой Сабатье, а агрессивные, бунтарские свойства его натуры, тяга к пороку, к уродству сосредоточились в образе распутной мегеры, в образе вампира, в образе недавно покинувшей его чернокожей дьяволицы. Он выставил напоказ всю свою жизнь, обнаженную и кровоточащую. Он не знал, примут ли это и одобрят ли его как новатора, или он будет освистан, осужден как безумец, снимающий штаны на улице среди бела дня? Ну и пусть! Эта исповедь освобождала его и от пустых мечтаний, и от похотливых кошмаров. Передав издателю рукопись «Цветов зла», Бодлер почувствовал облегчение, словно после вскрытия нарыва. Гной вышел, и сразу полегчало.



## Глава XV «ЦВЕТЫ ЗЛА»

В начале 1857 года Бодлер крутился как белка в колесе. В продажу поступил новый сборник новелл Эдгара По, первый был издан в предыдущем году. «Монитор юниверсаль» продолжал публикацию «Истории Артура Гордона Пима». Больше всего сил у Бодлера отнимала работа над окончательной редакцией перевода именно этого последнего произведения, потому что он боялся ошибиться в переводе морских терминов, которыми изобилует повесть Эдгара По. Чтобы быть уверенным, что он верно передает смысл оригинала, Бодлер ходил по парижским тавернам, разыскивая английских моряков, которые могли бы растолковать ему некоторые не вполне понятные выражения из морского жаргона. Когда друг Асселино посмеялся над его скрупулезностью, он, смерив собеседника презрительным взглядом, сказал: «Стало быть, вы не понимаете, что все, мною написанное, должно быть безукоризненным и что я не должен давать повода для критики ни со стороны литератора, ни со стороны матроса!» Но еще больше нервов у него уходило на правку гранок «Цветов зла». Пуле-Маласси периодически присылал ему гранки, а он испещрял их таким количеством поправок и добавлений, что текст невозможно было прочесть. Эжен де Бруаз, родственник Пуле-Маласси, возмущался нескончаемой правкой. И получил резкую отповедь Бодлера: «По-видимому, сударь, Вы не отдаете себе отчет, что такое тщательная обработка текста и сколько времени требуется для создания произведения, которое тебе дорого [...] Если не хотите правок, сударь, не следует посылать гранки, набранные *как попало*,

вроде тех, что Вы присылали нам, пока г-н Маласси был в Париже».

Очень большое значение он придавал также тексту посвящения. Бодлер решил заручиться покровительством Теофиля Готье. Текст, которым он намеревался предварить сборник, был длинноватым и напыщенным: «Моему дорогому и глубоко чтимому Учителю и Другу Теофилю Готье [...] Я знаю, что в эфирных сферах истинной Поэзии нет Зла, как, впрочем, нет и Добра, и что этот горестный лексикон меланхолии и преступлений может, в конечном счете, послужить нравственности, точно так же, как богохульник укрепляет веру [...]». Прочитав проект, предложенный его «учеником», Готье немедленно отреагировал и предостерег поэта об опасности подобных формулировок. Он объяснил: посвящение не должно быть изложением «кредо», и в данном случае недостаток текста в том, что он «привлекает внимание к скабрёзным элементам сборника и сразу делает его уязвимым для критики». Если уж люди настолько ограничены, что не могут сами уловить запах серы, исходящий от содержащихся в книге стихов, то не автору надлежит подсказывать, чтобы они попытались уловить этот запах! Бодлер признал, что его знаменитый коллега прав, и ограничился тем, что предложил «эти болезненные Цветы» «непогрешимому поэту, всесильному чародею французской литературы», «как выражение полного преклонения». Ему казалось, что, укрывшись в тени всеми любимого и уважаемого писателя, он нашел надежный громоотвод. Затем он составил список лиц, которым по традиции издательство отправляло экземпляры книги. В него вошли, в частности, Сент-Бёв, Барбе д'Ореви́льи, Леконт де Лиль, Виктор Гюго, несколько министров и руководителей ведомств.

Книга еще не вышла в свет, когда на Бодлера обрушилось горестное событие: 27 апреля 1857 года Опик, чьи силы угасали на протяжении нескольких последних месяцев, скончался в своей парижской квартире, в возрасте 68 лет. Узнав об этом, Шарль устремился в дом 91 по улице Шерш-Миди, обнял рыдающую мать и заплакал вместе с ней, не столько, разумеется, из-за кончины генерала, сколько при виде горя матери. Три дня спустя он проводил на кладбище этого респектабельного покойника, сделавшего блестящую карьеру в армии, служившего послом Франции и сенатором Империи. На бархатной подушечке церемониймейстер нес награды усопшего. Играл военный оркестр. Отряд солдат в парадной форме воздавал последние почести. Путь от церкви Нотр-Дам-де-Шан до кладбища на Монпарнасе был недалек. Катафалк, утопавший в цветах и венках, двигался по улицам города, и люди снимали шляпы. Вдова в черных одеяниях с трудом переставляла ноги. Некоторые из друзей семьи Опик недоумевали, кто же этот незнакомец, шагающий один, в двух шагах впереди представителя императора и Сената, со строгим выражением неприступного достоинства. Им шепотом отвечали: «Это приемный сын... Поэт...» Сухое костистое лицо, зоркий взгляд, сжатые губы, лысеющий лоб — так выглядел Шарль, напоминая монаха-расстригу, презирающего всех на свете. У края могилы произносились речи. С возрастающим отчаянием слушал Бодлер этот поток хвалебной лжи. На стеле изображен герб, когда-то нарисованный самим генералом, — шпага и девиз: «Все благодаря ей». Еще одна ложь, размышлял Шарль. Но не крупный масштаб личности покойного еще больше подчеркнуло чтение завещания генерала. Напыщенность стиля достигала такой степени, что завещание походило на пародию жанра. «Я был несовершенным, — пишет Опик, — я

грешил и прошу прощения у Бога и у людей. Родился я в самых скромных условиях, но Небу было угодно, чтобы я совершил блестящую карьеру, что я и сделал без тени зазнайства [...] Оставляю на попечение друзей любимую мою жену, которая в течение тридцати лет была всегда рядом со мной, нежная и преданная, так много сделавшая для облегчения выполнения мною высоких обязанностей, особенно за рубежом, где ее тонкий ум и любезные манеры придавали ее салону всеми признанное очарование. Мои последние мысли обращены к ней, с ними я ухожу к Господу».

Со смертью Опики — так казалось Шарлю — исчезло главное препятствие между ним и матерью, и теперь она опять будет принадлежать ему, как во времена детства. Когда-то Каролина «предпочла» его постороннему мужчине, и сын страдал от ревности, стараясь своими эксцентричными выходками противопоставить себя этому человеку, жившему только условностями и для условностей. Действуя наперекор всем жизненным представлениям отчима, он хотел одновременно и утвердиться как личность, и покарать окружение. В войне с родственниками его оружием были лень, грубость, распущенность, вызывающее поведение, нищета... И вот, благодаря окончательному уходу невыносимого Опики, все изменилось. Шарль чувствовал, что он призван заменить отчима возле оставленной им несчастной женщины. Отныне только он был обязан ее оберегать и любить. Из бессердечного сына ему предстояло превратиться в ангела-хранителя.

Но Каролина не захотела оставаться в Париже. Она уединилась в своем доме в Онфлёре. Шарлю пришлось заниматься распродажей мебели, оставшейся в квартире на улице Шерш-Миди, экипажей, лошадей со всей ставшей ненужной упряжью, а также взять на себя хлопоты по получению пенсии, положенной вдове

сенатора. Ей назначили вполне приличное содержание: 11 тысяч франков в год. По сравнению с 2200 франками годового дохода от капитала ее сына, управление которыми находилось в руках г-на Ансея, это было золотым дном. Таким образом, Бодлеру не приходилось заботиться о материальном обеспечении матери. Он окружил ее заботой и вниманием. В мае 1857 года он послал ей «траурный молитвенник» взамен прежнего, который находился в ремонте у переплетчика и который Шарль пообещал привести в наилучшее состояние. «Все страницы будут промыты, пятна сведены, даже жирные пятна. Порванные листы тоже будут, насколько это возможно, отреставрированы».

В июне того же 1857 года он писал ей о своих сыновних чувствах: «Хочу коротко отчитаться перед Вами о моем поведении и чувствах после кончины моего отца. Вы найдете в этом письме объяснение моего отношения к этому великому горю и моего будущего поведения. Это событие явилось для меня торжественным призывом к порядку. Порой я был груб и несправедлив к Вам, бедная мамочка. Однако раньше я знал, что кто-то думает о Вашем счастье. А когда случилась беда, то первой моей мыслью было, что отныне этим должен, естественно, заняться я. Соответственно, отныне мне непозволительны проявлявшиеся раньше беспечность, эгоизм, грубость, эти неизменные спутники беспорядочного образа жизни в одиночестве. Все, что в человеческих силах для создания новой атмосферы особой нежности на закате ваших дней, *будет сделано*. В конечном счете это будет не слишком трудно, поскольку Вы придаете большое значение реализации всех моих планов. Работая для себя, я буду работать для Вас».

Тремя неделями позже «Цветы зла» поступили в продажу. Глядя на эту небольшую книжку, итог более чем пятнадцатилетней работы, Бодлер вновь ощутил

предчувствие негодования читательской массы, воспитанной на приторно-сладких стишках. Он даже сомневается, стоит ли посылать экземпляр матери. Она жаловалась в письмах, что утратила вкус к жизни. Он ей ласково отвечал: «Если Вы будете так опускать руки, то можете заболеть, и это станет для меня наихудшим несчастьем, принесет мне самые тяжелые беспокойства». Он сообщил матери, что, поразмыслив, решил послать ей сборник стихов, вышедший в свет две недели назад. «Я подумал, что в любом случае Вы услышите об этом сборнике, хотя бы из газетных вырезок, которые я буду Вам высылать, и стыдливость с моей стороны будет столь же неумной, как и ханжество с Вашей [...] Вы знаете, что я всегда считал, что литература и искусство идут своей дорогой, имея иные, нежели мораль, цели, и что красота замысла и стиля вполне удовлетворяет меня сама по себе. Но эта книга, заглавие которой „Цветы зла“ достаточно красноречиво, полна, как Вы увидите, холодной и мрачной красоты. Написана она с яростью и терпением [...] Книга приводит людей в бешенство [...] Мне плевать на всех этих дураков, поскольку я знаю, что этот томик со всеми его достоинствами и недостатками, оставит свой след в памяти образованной публики, наряду с лучшими стихами В. Гюго, Т. Готье и даже Байрона». Потом, вспомнив, что Каролина близко знакома с Луи Эмоном, бывшим офицером, который ненавидел его за прошлые проделки и даже не без колебания пожал ему руку в день похорон Опики, Шарль предупредил мать об опасности влияния «благонамеренных людей», с которыми она общается в Онфлёре. Луи Эмон был членом семейного совета, собиравшегося в 1841 году. Этот человек, закостеневший в условностях, лишенный какого бы то ни было воображения, казался Шарлю как бы посмертным продолжением генерала Опики. «Поскольку Вы живете бок о бок с семьей Эмон, — писал

Бодлер, — постарайтесь, чтобы книга не попала в руки мадемуазель Эмон. Что же касается кюре, которого Вы, скорее всего, принимаете у себя дома, то ему Вы можете показать сборник. Он подумает, что я совершенно пропащий человек, и не осмелится Вам об этом сказать. Тут распространили слух, что меня ждут преследования, но ничего такого не будет. Правительству в преддверии ужасных для него выборов в Париже будет не до преследования какого-то сумасшедшего». И наконец, чтобы сделать приятное матери, Шарль сообщил ей, что он был на кладбище и что останки генерала окончательно перенесены в склеп в обстановке глубочайшей почтительности: «Ваши венки, поблекшие от сильных дождей, были осторожно перенесены на новое место погребения. К ним я добавил новые».

В то самое время, как Бодлер пытался успокоить мать, а заодно и себя, в прессе уже началась кампания против «Цветов зла». Гюстав Бурдэн, один из двух зятьев Ипполита Вил-лемсана, опубликовал 5 июля в газете «Фигаро» короткую статью, подвергнув жесткой критике четыре стихотворения («Отречение святого Петра», «Лесбос», «Проклятые женщины», «Окаянные женщины»): «Если можно понять, скажем, двадцатилетнего поэта, чье воображение увлекает его к разработке такого рода сюжетов, то нет никакого оправдания человеку, перешагнувшему за тридцать и делающемуся добровольным глашатаем подобных уродств». И критик добавлял, что в этих стихах «гнусное соседствует с непотребным, а отвратительное — с мерзким. Свет еще не видел на таком малом количестве страниц столько искусанных и даже разжеванных женских грудей». Через несколько дней, в газете «Журналь де Брюссель» анонимный автор, укрывшийся за псевдонимом Z.Z.Z., написал, что «Госпожа Бовари», «этот отвратительный роман», —

«благочестивейшее чтиво» по сравнению с «Цветами зла». Флобера за его роман «Госпожа Бовари» в феврале того же года привлекали к суду. Не собиралось ли правительство Наполеона III прибегнуть к таким же мерам и в отношении «Цветов зла»? Флобера оправдали, но будет ли оправдан Бодлер? Вряд ли. Ведь Флоберу помогло дружеское вмешательство принцессы Матильды. А на кого из высоко парящих мог рассчитывать Бодлер? Сент-Бёв на просьбу о помощи ответил письмом, начинающимся словами «Милый мальчик», и от заступничества уклонился.

А тем временем в Главное управление общественной безопасности (Министерство внутренних дел) поступил конфиденциальный доклад, утверждавший, что книга «Цветы зла» содержит «вызов законам, охраняющим религию и мораль». Святотатство, восхваление похотливости, воспевание любви между женщинами, потворство сатанизму и разврату — весь сборник, по мнению чиновников из министерства, являлся оскорблением нравственности, церкви и чуть ли не отечества. Министр внутренних дел 7 июля поручил генеральному прокурору приступить к следствию. Предвидя бурю, Бодлер написал 11 июля издателю Пуле-Маласси: *«Срочно спрячьте в надежном месте весь тираж [...] Вот к чему привела отправка книги в „Фигаро“!!!»* Он попросил Теофиля Готье, имевшего друзей среди журналистов, добиться публикации хвалебной статьи в официальной газете «Монитёр юниверсель». И вот в номере за 14 июля там появилась статья Эдуара Тьерри, утверждавшего: «Автор отнюдь не радуется зрелищу зла. Он смотрит на порок как на врага, которого он отлично знает и против которого выступает». И чтобы надежнее защитить Бодлера, он поместил его «под строгое моральное поручительство Данте».



Но было уже поздно: судебная машина завертелась. 17 июля 1857 года генеральный прокурор запросил информацию о Бодлере и издателе и потребовал конфискации всех экземпляров книги. К счастью, друзья автора во главе с Асселино смогли вывезти и спрятать большую часть тиража. Все еще надеясь сорвать дело, начатое против него, Бодлер написал 20 июля Ашилю Фульдю, министру императорского Дома<sup>[51]</sup>, выражая благодарность за пенсию, назначенную матери после смерти генерала Опики, а заодно и уверяя адресата в полной своей невиновности: «Я вовсе не чувствую себя виноватым. Наоборот, я горжусь тем, что написал книгу, наполненную ужасом и отвращением перед Злом [...] Вот почему, господин министр, я с чистой совестью прошу Вас, насколько это возможно, оказать мне защиту, ибо Вы не только по своему положению, но и, что самое главное, умом и духом, являетесь естественным защитником Литературы и Искусств».

По своей неопытности Бодлер рассчитывал, что, польстив Ашилю Фульдю, государственному министру и хозяину «Монитёра», и расположив его в свою пользу, он сделает того своим союзником и защитником против двух других министров — внутренних дел (Бийо) и юстиции (Абатюси). Детская наивность: министры друг друга всегда поддержат. А вот Барбе д'Оревилли, написавший для газеты «Пэи» хвалебную статью о «Цветах зла», столкнулся с чуть ли не официальным отказом опубликовать ее. Он тут же обратился к Бодлеру: «Хотелось бы знать, в каком состоянии находится дело. Кончится ли это абсурдное преследование? Если дело дойдет до суда и Вас оправдают, как оправдали Флобера, то статья появится [...] Если же судебное преследование прекратится, то

срочно сообщите мне! Чтобы моя статья восстала в Вашу защиту, подобно героическому Сиду».

Страшно перепуганный Бодлер искал какого-нибудь известного адвоката, вхожего в правительственные круги. Он обратился к Ше д'Эст-Анжу. Но тот решил не вмешиваться и направил его к своему сыну, Гюставу. За неимением лучшего, Бодлер удовлетворился этим вариантом. Тут важно было не адвокатское красноречие, а престиж крупных фигур, поддерживающих защитника за кулисами процесса. И в этом отношении Бодлер склонялся к оптимизму. Он уверенно писал матери: «За меня — г-н Фульд, г-н Сент-Бёв и г-н Мериме (а он — не просто знаменитый писатель, но и единственный представитель литературы в Сенате), г-н Пьетри, человек очень влиятельный и, подобно Мериме, близкий друг императора. *Не хватает только какой-нибудь женщины.* Вот если бы удалось привлечь к этому делу принцессу Матильду. Пока все мои поиски были тщетными [...] Надо ли говорить, что книга по-прежнему продается, хотя тайком, но зато по двойной цене».

Жившая в уединении в Онфлёре Каролина сильно переживала. Быть вдовой замечательного человека — генерала, посла, сенатора, кавалера ордена Почетного легиона, кавалера тридцати шести иностранных орденов — и одновременно иметь сына, которого таскают по судам за покушение на религию и мораль, — это слишком много для одной женщины. Она благодарила небо за то, что муж ее ушел из жизни до этого публичного позора. На него это подействовало бы как лишение звания перед строем. Чтобы хотя бы немного утешить себя, она думала о тех влиятельных людях, о дружбе с которыми писал ей Шарль, в надежде, что они вступятся за него и помогут прекратить судебное преследование.

Но Шарль, по своему обыкновению, витал в облаках. Никто из предполагаемых его сторонников пальцем не пошевелил, чтобы защитить его. Мериме, которому он послал экземпляр книги, выполненный на специальной голландской бумаге, никакой симпатии к нему не испытывал, и книга ему не понравилась. 29 августа он написал г-же Ларошжаклен, захотевшей узнать его мнение по этому поводу: «Я не предпринимал ничего, чтобы спасти поэта, о котором вы пишете, разве что посоветовал бы высокопоставленному чиновнику начать с кого-нибудь другого». Он считал, что «Цветы зла» представляют собой сборник «весьма посредственных, совершенно не опасных стихов», где сверкают, разумеется, «несколько ярких искр поэзии», как положено «несчастному юнцу, не знающему жизни и уставшему от нее, потому что ему изменила подружка». У Фульда хватало забот поважнее, чем спасение какого-то неудачника-дебютанта. Пьер-Мари Пьетри, префект полиции, отгородился от этого дела. Что же касается Сент-Бёва, то он ограничился тем, что указал Бодлеру на несколько «приемов защиты», способных обезоружить суд. По его мнению, адвокату следовало бы привлечь смягчающие обстоятельства, опираясь на следующие аргументы: «В области поэзии все уже распределено. Ламартин занял *небеса*. Виктор Гюго — *землю* и даже более того. Виктор Ришар де Лапрад — *леса*. Мюссе — *страсти и блестящие пиры*. Другие занялись описанием *семейной жизни, сельской жизни*, и т. д. Теофиль Готье взял себе *Испанию* и ее яркие цвета. Что же осталось? Именно то, что и взял себе Бодлер. Он как бы вынужден был это сделать». Сент-Бёв добавил, что при слушании дела нужно непременно напомнить о Беранже, который умер 16 июля того же года и которому власти устроили пышные государственные похороны, хотя он был автором довольно фривольных куплетов, равно как и упомянуть умершего в мае

месяце Мюссе, которого приняли во Французскую академию, несмотря на некоторые шокирующие стыдливое ухо стихи. Одним словом, по мнению выдающегося критика, Бодлеру следовало настаивать на своей невинности, поскольку другие, оказавшись виновными, не были осуждены. И сам Флобер тоже написал преследуемому поэту: «Если Вам нетрудно, держите меня в курсе Вашего дела. Я интересуюсь им, как если бы оно касалось меня лично. Данное судебное преследование лишено всякого смысла. Оно возмутительно. Ведь только что воздавали *национальные* почести Беранже! Этому ужасному мещанину, воспевавшему дешевую любовь в потрепанных лохмотьях! Я полагаю, что в атмосфере всеобщего восторга по отношению к этой знаменитой роже, хорошо было бы прочесть в ходе суда отрывки из его песенок (которые даже и не песенки, а оды ограниченному мещанину) [...] И поскольку Вас обвиняют, очевидно, в оскорблении морали и религии, я полагаю, что было бы уместно провести параллель между им и Вами. Сообщите эту мысль (если она стоящая) Вашему адвокату». Бодлер послушно готовил замечания для своего защитника, рекомендовал тому упомянуть в защитительной речи Ламартина и его «Падение ангела», а также «с отвращением процитировать ужасные гадости Беранже». Кроме того, чтобы придать своим аргументам убедительности, он издал тиражом в сотню экземпляров брошюру: «Статьи в оправдание Шарля Бодлера, автора „Цветов зла“», и разослал часть тиража в прокуратуру и членам исправительного суда.

Но ему по-прежнему не хватало «какой-нибудь женщины», которая, благодаря своей обходительности и очарованию, смогла бы склонить власть к милосердию. Принцесса Матильда, кузина императора и покровительница Флобера, была явно недоступна.

Тогда кто же? И тут Бодлер вспомнил о г-же Сабатье, вдохновившей его на создание нескольких самых жгучих стихотворений. Он посылал их ей без подписи с 1852 по 1854 год. На этот раз он решил обойтись без маски и отправил ей 18 августа, за два дня до процесса, экземпляр «Цветов зла» на особой бумаге, в переплете, выполненном Лортиком из светло-зеленого сафьяна. К книге приложено письмо с признанием в любви и с мольбой: «Сможете ли Вы поверить, но эти негодяи (я имею в виду следователя, прокурора и др.) посмели осудить, среди прочих произведений, два стихотворения, посвященных моему кумиру, стихотворения: „Вся целиком“ и „Слишком веселой“? А это последнее произведение достопочтенный Сент-Бёв назвал лучшим в сборнике. Я впервые пишу Вам своим настоящим почерком. Если бы я не был так занят делами и написанием писем (суд — послезавтра), я воспользовался бы этой возможностью, чтобы попросить у Вас прощения за столько сделанных глупостей и за ребячество». Шарль знал, что она давно догадалась, кто является автором стихов, и лишь кокетничает, будто ей неизвестен аноним. Кстати, она говорила об этом своей сестре, шаловливой «Бебе». Эта «ужасная малышка», встретив однажды Бодлера, спросила его, смеясь, по-прежнему ли он влюблен в Аполлонию, которой посвящал такие красивые стихи. Вот почему продолжение письма нисколько не удивило очаровательную получательницу: «Забыть Вас невозможно. Говорят, были поэты, прожившие всю жизнь с глазами, устремленными на один и тот же любимый образ. Я и в самом деле полагаю (правда, я здесь лицо более чем заинтересованное), что *верность* — *один из признаков гениальности*. Вы — более, чем образ, о котором мечтают, Вы — мое суеверие. Сделав какую-нибудь крупную глупость, я говорю себе: „*Боже! Если бы она узнала об этом!*“ А когда я делаю что-

нибудь хорошее, то говорю себе: „Вот это приближает меня к ней духовно“. В последний же раз, когда я имел счастье (совершенно помимо моей воли) встретить Вас, — ибо Вы даже и не подозреваете, как старательно я избегаю Вас! — я говорил себе: было бы странно, если бы этот экипаж ожидал именно ее, и тогда, может быть, мне стоило выбрать другой путь. И вдруг: *„Добрый вечер, месье!“* — прозвучал ваш дивный голос с очаровательным и волнующим тембром. И я ушел, повторяя всю дорогу: *„Добрый вечер, месье!“*, пытаюсь даже имитировать ваш голос».

Напомнив, таким образом, Аполлонии о силе своей скрываемой страсти к ней, он тут же перешел к делам серьезным: «В прошлый четверг я видел моих судей. Я не скажу, что они некрасивы, они чудовищно безобразны, и души их, должно быть, похожи на их лица. У Флобера среди защитников была принцесса. Мне не хватает женщины. И несколько дней назад мною вдруг овладела странная мысль, что, быть может, Вы могли бы, используя свои связи, по каким-нибудь сложным каналам, направить разумный совет кому-то из этих балбесов. Слушание дела назначено на послезавтра, на четверг. Вот имена этих чудовищ: *председатель* — Дюпати; императорский прокурор — Пинар (очень опасен); *судьи*: Дельво, Де Понтон д'Амекур, Наккар. 6-й зал для уголовных дел [...]». «Особо опасен» Пинар, который, являясь всего лишь исполняющим обязанности прокурора, в свое время требовал сурово покарать Флобера. Какого-нибудь понимания от этого типа ожидать не приходится! И Бодлер пишет в заключение: «Я хочу оставить все эти пошлости в стороне. Помните только, что есть человек, думающий о Вас, что в мыслях его нет ничего пошлого и что он просто немного сердится за Ваше лукавое веселье. *Очень прошу хранить в тайне все, что я смогу Вам сообщить*». И, чтобы поставить все точки над «і», он

добавляет в постскриптуме письма к своей «Мадонне»: «Все стихи со страницы 84 по страницу 105 — принадлежат Вам».

Получив это послание, г-жа Сабатье оказалась польщена вдвойне. Поэт не только заявлял, черным по белому, что она — его признанная муза, но еще и просил ее сыграть такую же роль, какую играла императрица в процессе Флобера. От таких ролей не отказываются. Надо было действовать как можно скорее. На всякий случай она сумела получить аудиенцию у Луи-Мари де Белейма, почтенного судьи, недавно назначенного советником Кассационного суда. Запоздалый и бесполезный маневр. Белейм не захотел рисковать своей репутацией ради такого сомнительного дела. И г-жа Сабатье стала размышлять о других способах проявить преданность своему чичисбею.

В четверг, 20 августа 1857 года, Бодлер, весь сжавшись от стыда и гнева, явился во Дворец правосудия, в 6-й зал уголовного суда, который до него повидал стольких хулиганов, жуликов, пьяниц, сутенеров и проституток. Эрнест Пинар произнес, в общем, довольно сдержанную обвинительную речь, но пространно цитировал «скандальные» строки из «Украшений», из «Леты», из «Слишком веселой», из «Лесбоса», «Проклятых женщин», «Вампира», из «Отречения святого Петра», из «Авея и Каина», из «Литаний сатане», из «Хмеля убийцы»... При этом он все же допускал, что автор, «по природе человек беспокойный и неуравновешенный», возможно, не осознавал характера тех оскорблений, которые содержатся в его стихах. В заключение он призвал судей к определенной сдержанности: «Будьте снисходительны к Бодлеру [...] Но осудите, по крайней мере, некоторые стихи из книги, поскольку необходимо сделать предупреждение». Защитительная речь Ше д'Эст-Анжа получилась слабоватой. Адвокат все

повторял, что «утверждение существования зла не является его преступным одобрением», что истинные чувства поэта выражены в «Благословении» и что Мюссе, Беранже, Готье, Лафонтен, Вольтер, Руссо, Ламартин, Бальзак и Жорж Санд публиковали тексты в чем-то тоже аморальные, но их за это никто под суд не отдавал.

В тот же день был вынесен приговор. Бодлера приговорили к штрафу в триста франков, Пуле-Маласси и де Бруаза — к штрафу в сто франков каждого. Кроме того, суд постановил запретить стихи, показавшиеся ему наиболее одиозными: «Украшения», «Лету», «Слишком веселой», «Проклятых женщин», «Лесбос» и «Метаморфозы Вампира»<sup>[52]</sup>. По окончании суда Бодлер не знал, радоваться ему или возмущаться: книга не была запрещена целиком, но оказалась изуродована изъятием нескольких незаменимых строф. Выходя из зала заседаний и видя мрачное лицо друга, Асселино тихо его спросил: «Вы ожидали, что вас оправдают?» — «Оправдают! — ответил он мне. — Я ожидал, что передо мной извинятся за поправление чести!» Бодлеру этот суд всегда представлялся недоразумением.

Бодлер не отказался от своей идеи: искусство не имеет ничего общего с моралью. Тот, кто пишет для поучения современников, может быть отличным проповедником, но непременно окажется плохим поэтом. Вынесенный Бодлеру приговор привел к тому, что поэт полностью утратил доверие к правосудию в своей стране и подавать апелляцию отказался. Чтобы спасти сборник, Пуле-Маласси вырвал из него страницы с запрещенными стихами и отдал книгу в типографию, чтобы там перебрали соседние страницы, затронутые этой «хирургической операцией»<sup>[53]</sup>. А безденежный автор обратился к императрице с просьбой помочь ему уплатить штраф, ибо, как писал Бодлер, эта сумма



«превосходит возможности общеизвестной бедности поэтов». В январе 1858 года сумму уменьшили с 300 до 50 франков — законная компенсация за дискредитацию виновного.

Еще более неожиданной оказалась компенсация, которую приготовила своему обожателю г-жа Сабатье. После его письма от 18 августа она раздумывала о том, каким способом его утешить после всех этих неприятностей с правосудием. И приняла решение, подобающее женщине, уверенной в своей неотразимости: отдаться Бодлеру, чтобы вознаградить поэта за верность и излечить его от меланхолии. Когда она сообщила ему об этом, он пришел в замешательство. Ужасно смущенный милостью, которой не добивался, он не мог отказаться, чтобы не прослыть грубым и невоспитанным.

Решительная встреча произошла в обстановке величайшей секретности. Наедине с этой женщиной, которая давно уже не была ни его кумиром, ни прежней элегантной хозяйкой ужинов на улице Фрошо, а превратилась в располневшую даму с тяжелым бюстом и объемистыми бедрами, Бодлер почувствовал себя парализованным с головы до ног. Она оказалась слишком мясистой, чересчур смешлива и, на его взгляд, чересчур напориста. Впору было опасаться, удастся ли ему настроиться. Ему хотелось просто убежать. Но он выполнил то, что от него требовалось. Увы, без энтузиазма! Однако она была довольна. Искренне или нет, но она написала ему после этого события: «Сегодня я чувствую себя спокойнее. Лучше ощущаю благотворное влияние нашего вечера в четверг. Могу сказать без опасения услышать от тебя упрек в преувеличении, что я самая счастливая женщина на свете, что никогда еще я не ощущала с такой остротой, как сейчас, что люблю тебя, что никогда еще ты не представлялся мне таким красивым и таким желанным,

таким обожаемым моим другом. Если хочешь, можешь красоваться и распускать хвост колесом, но только не смотришь в зеркало: что бы ты ни делал, ты никогда не придашь себе то выражение, какое я видела на твоём лице одну лишь секунду. И теперь, что бы ни случилось, я буду видеть тебя только таким — Шарлем, какого я люблю. Можешь сколько угодно сжимать губы и хмурить брови, меня это не испугает, я закрою глаза и увижу другое твоё лицо». В следующем письме она обвиняла себя в «абсолютной потере стыда» и писала: «Мне кажется, что я твоя с первого же дня, как тебя увидела. Делай что хочешь, но я твоя и душой, и сердцем, и телом».

Такая вулканическая страсть заставила Бодлера отпрянуть назад. Уж не собирается ли Аполлония порвать с богачом Моссельманом и сойтись с ним, когда у него ни гроша, а сам он, как никогда поглощённый работой, мечтает только об уединении? Опасаясь такого развития событий, он стал осторожно отступать: «...у меня нервы в ужасном состоянии, просто хоть криком кричи, — ответил он ей, — и я, непонятно почему, проснулся в отвратительном настроении, которое не покидает меня со вчерашнего вечера, проведенного у Вас. [...] никто же не наказывает за нарушение клятв Дружбы и любви. Вот я и сказал себе вчера: Вы меня забудете, Вы измените мне; тот, кто Вас веселит сегодня, Вам быстро надоеет. А сегодня я добавляю: только тот будет страдать, кто, как дурак, принимает всерьёз дела душевные. Вот видите, прекрасная моя дорогуша, какие *отвратительные* предрассудки я питаю по отношению к женщинам. Одним словом, у меня нет веры. У Вас прекрасная душа, но это женская душа. Вы видите, как за несколько дней наше положение полностью изменилось. Во-первых, оба мы боимся оскорбить честного человека, счастливого тем, что он любит Вас по-прежнему [Моссельман]. К

тому же мы оба боимся нашей собственной грозы, поскольку мы оба знаем (особенно я), что есть узлы, которые трудно развязать».

Эта ссылка на Моссельмана, который по-прежнему ей покровительствовал, и на Жанну, отношения с которой Бодлер поддерживал теперь лишь эпизодически, весьма удивила г-жу Сабатье. Для пущей убедительности Шарль принялся рассуждать о странностях своего характера: «И наконец, наконец несколько дней тому назад ты была божеством... Но вот теперь ты женщина. И если, к несчастью для меня, я обрету право ревновать, — как страшно об этом даже просто подумать, а ведь страдания будут невыносимы, потому что Ваши глаза полны любезных улыбок, обращенных ко всем [...] Но будь что будет. Я же немного фаталист. Одно только я знаю точно: я боюсь страсти, ибо она мне знакома, вместе со всеми ее издержками [...] Боюсь перечитывать письмо, потому что, может быть, мне пришлось бы переписать его, поскольку я не хочу Вас огорчать; кажется, в текст прокралась какая-то гадкая частица моего характера. [...] Прощайте, любимая; я немного сержусь на Вас из-за Вашей способности быть всегда очаровательной. Знайте, что, унося с собой аромат Ваших рук и Ваших волос, я унес также желание вернуться. Это какое-то невыносимое наваждение! — Шарль».

Ошарашенная таким холодным душем, г-жа Сабатье тут же ответила: «Вот что, дорогой, хотите, я скажу, какая мысль пришла мне в голову, жестокая и очень болезненная для меня мысль! Просто Вы меня не любите. Отсюда все эти опасения, сомнения по поводу нашей связи, которая в подобных условиях превратилась бы в источник неприятностей для Вас и в непрекращающееся мучение для меня. Разве это не правда? А вот доказательство, оно такое явное, что у меня прямо стынет кровь, и заключено в одной Вашей

фразе: „Одним словом, у меня нет веры“. У Вас нет веры? Тогда и любви у Вас нет. Что на это можно сказать? Ведь все ясно. О Боже! Как мучительна эта мысль, и как хотела бы я выплакать ее у тебя на груди! Кажется, мне стало бы легче. В любом случае, я не буду ничего менять в нашей договоренности о завтрашней встрече. Я хочу Вас видеть, хотя бы только для того, чтобы примерить к себе роль подруги. Ах, зачем вы захотели вновь увидеть меня? Ваша очень несчастная подруга».

В ответ на этот вопль оскорбленной любовницы Бодлер сделал вид, что симпатизирует ее союзу с Моссельманом. Так он надеялся заставить ее забыть про его псевдолюбовь. Главное теперь было придать игре более спокойный характер. Он слал Аполлонии записку за запиской, то с просьбой извинить его, что он не смог поужинать с ней и ее покровителем, то приглашая их обоих пойти с ним в театр, то с приложением какой-нибудь безделушки, которую он им дарит от чистого сердца. И подписывался: «Ваш преданный друг и слуга».

Оскорбленная этой игрой в прятки, г-жа Сабатье послала ему письмо с выражением недоумения: «Что за комедию, а вернее, драму мы разыгрываем? Мой рассудок отказывается понимать. Не скрою, я очень встревожена. Ваше поведение на протяжении последних нескольких дней так странно, что я ничего не понимаю. Что-то чересчур тонкое для толстокожей вроде меня. Объясните мне, друг мой, я просто хочу понять. Что за могильный холод подул на наше прекрасное чувство? Или это просто результат здравых размышлений? Поздновато. Увы, может быть, я виновата? Я должна была оставаться серьезной и разумной, когда Вы пришли ко мне. Но что Вы хотите? Когда сердце бьется, а губы дрожат, здравые мысли улетучиваются...»

Больше всего Аполлонию возмутила записка Бодлера от 13 сентября, где он выражал сожаление, что не сможет присутствовать в это воскресенье на ужине, но одновременно пообещал забежать на минутку повидать и поприветствовать ее и «наших прекрасных друзей». «Получила Ваше письмо, — продолжает она. — Как Вы понимаете, я ожидала, что в нем содержится. Итак, мы будем иметь удовольствие видеть Вас лишь несколько минут! Очень хорошо, как Вам будет угодно. Я не привыкла осуждать поступки друзей. Похоже, Вы страшно боитесь остаться наедине со мной. А это было бы необходимо! Поступайте, как хотите. Когда Ваш каприз пройдет, напишите или просто приходите. Я снисходительна и прощу Вам то зло, которое вы мне причиняете. Не могу удержаться от желания сказать несколько слов по поводу нашей ссоры. Ведь я составила для себя план поведения, полный достоинства, но не прошло и дня, и вот силы мне изменяют, хотя мой гнев, Шарль, был совершенно законным. Что мне думать, когда я вижу, как ты избегаешь моих объятий? Лишь одно: ты думаешь о другой, чье черное лицо и черная душа встают между нами. Одним словом, я чувствую себя униженной и оскорбленной. Если бы я меньше уважала себя, я наговорила бы тебе уйму оскорблений. Мне хотелось бы, чтобы ты страдал. Меня сжигает ревность, а в такие моменты трудно быть рассудительной. Ах, милый друг, я хочу, чтобы Вы не знали таких мучений. Какую дикую ночь я провела и как я проклинала эту жестокую любовь! Я ждала Вас весь день. [...] На тот случай, если каприз привел бы Вас завтра ко мне в дом, должна предупредить, что дома я буду только от часа до трех или вечером, от восьми до полуночи. До свидания, мой Шарль! Как чувствует себя то, что осталось от Вашего сердца? Мое успокоилось. Я его всячески урезониваю, чтобы не слишком надоедать Вам со своими

слабостями. Вот увидите! Я сумею умерить жар моего сердца — до температуры, о какой Вы мечтали. Конечно, я буду страдать, но, чтобы Вам угодить, соглашусь перенести любые возможные огорчения».

Чтобы конкретизировать свою досаду, г-жа Сабатье вложила в отпечатанный на голландской бумаге экземпляр «Цветов зла» с дарственной надписью Бодлера портрет Жанны Дюваль, нарисованный самим автором, презрительно написав на нем: «Его идеал». Тем временем их отношения, как он и хотел, изменились и приняли форму вялой светской дружбы. Если он еще и появлялся за столом «Президентши» среди старых и привычных друзей, то уж никак не из-за желания обладать ею, которое пропало у него сразу же, как только он увидел ее сжигаемой животной страстью. Пропал и страх перед ней после того, как он дал ей понять, что ему претит всякая длительная связь. В глубине души он был рад, что отделался от этой женщины, которую ставил так высоко, пока не смел до нее дотронуться, и которая так низко упала в его глазах, едва сняв платье, чтобы ему отдаться.

И вот он опять оказался без женщины. Инстинктивно он вновь сблизился с матерью. Она одна заслуживала того, чтобы быть его подругой и наперсницей на протяжении всей жизни. Однако он не решался отправиться в Онфлёр, чтобы ее обнять. Ведь ее окружало множество людей, своей мещанской ограниченностью и глупостью напоминающих Опику. Накануне Нового года он написал ей письмо — просил прощения за то, что не пишет и не приезжает, хотя и думает о ней постоянно. «Станный успех моей книги и порожденная ею ненависть на какое-то время отвлекли меня, а потом я опять сник». Главная причина этого разочарования, как он считал, крылась в «обидном и неприятном контрасте между [его] духовным достоинством и нищенской, безденежной жизнью». Но

он признавал, что отношение матери вовсе не поднимает ему настроение. На этот раз он выложил ей все начистоту. Именно она виновата в его несчастьях: «На следующий же день после кончины отчима Вы говорили, что я Вас обесчестил и что Вы и думать запрещаете мне (еще до того, как я подумал просить Вас об этом) когда-либо поселиться в одном доме с Вами. Потом Вы заставляли меня делать унижительные жесты дружбы в отношении г-на Эмона. Признайтесь, дорогая мамаша, что я покорно перенес эти наставления, жалея Вас в Вашем печальном состоянии. Но когда потом, после того как Вы писали мне письма с одними упреками и порицаниями по поводу этой проклятой книги [„Цветов зла“], хотя это всего лишь весьма и весьма приличное *произведение искусства*, Вы пригласили меня приехать к Вам, давая одновременно понять, что отсутствие г-на Эмона позволит мне жить в Онфлёре, *как если бы г-н Эмон имел право запрещать или позволять мне видаться с матерью*, и, наконец, настойчиво предупреждая меня, чтобы я не делал в Онфлёре долгов, то после всего этого я, право же, оказался настолько озадачен и выбит из колеи, что вполне возможно, выгляжу порой несправедливым [...] По-видимому, дорогая мамочка, Вы никогда не знали, как я невыносимо чувствителен».

Далее он намекал на сводного брата, ненавистного ему за его глупость и манеру поучать. Когда-то он говорил о нем матери: «Вина моего брата заключается всего лишь в глупости и только — но это очень много [...] Отвращение мое к брату так велико, что я не люблю, когда меня спрашивают, есть ли у меня брат». На этот раз он ограничился тем, что написал матери: «Сейчас мы очень одиноки и слабы, так как я думаю, брата нечего принимать в расчет. Не попытаться ли нам раз и навсегда стать счастливыми вдвоем, благодаря друг другу?» Затем, растерянный, он вспомнил своего

отца, которого почти не знал. Ему вдруг показалось, что Франсуа Бодлер, художник-любитель, понял бы его переживания, и что они могли бы объединить свои усилия в поисках идеала пластического совершенства. За несколько месяцев до этого он увидел в пассаже «Панорама», у какого-то продавца картин, довольно гривуазное полотно, написанное когда-то его отцом: спящая обнаженная женщина, которая видит во сне две другие обнаженные фигуры. Надо было бы купить картину, но он не сделал этого. И теперь сожалел об этом: «У меня совсем не было денег, даже для задатка, а потом из-за невыносимого потока бытовых мелочей я напрочь забыл про это». Кто продал эту реликвию лавочнику в пассаже «Панорама»? Не Каролина ли по совету отвратительного г-на Эмона? «Как Вы думаете, не могли ли иметь место подобные оплошности? — продолжал Шарль. — Отец был плохим художником, но подобные старые вещи имеют для нас моральную ценность».

Предположить, что мать предала покойного мужа, как она предала сына, было вполне естественно. И Бодлер без труда свою догадку превратил в реальность. Он охотно создавал миф о поэте-сироте, сторонящемся людей, непонятом, преследуемом за дикий характер, обуреваемом дурными инстинктами. Подобно тому, как некоторые религиозные люди стремятся умерщвлять свою плоть, он без явной причины отыскивал в своей судьбе символы проклятия. И зачастую сам не мог отличить, что же в его поведении было искренним, а что — наигранным, даже тогда, когда он сидел наедине с листом бумаги в своей комнате, и тем более тогда, когда он пребывал в шумном и легкомысленном обществе ужинающих на улице Фрошо. Но, возможно, научившись отличать одно от другого, он просто не смог бы больше сочинять? Во всяком случае, над письменным столом он повесил портрет своего отца,



Франсуа Бодлера, с задумчивым и строгим лицом, седовласого, но с черными бровями. С покойниками всегда легче договориться, чем с живыми.

## Глава XVI. ПРИТЯЖЕНИЕ ОНФЛЁРА

Пресса мало писала о «Цветах зла», но зато широко комментировала суд, учиненный над автором. И Бодлер мгновенно стал знаменитостью. Причем благодаря не таланту, а своей дерзости. В читательских кругах он прослыл малопочтенным типом, нарушающим хороший тон грубостью своих стихов и эксцентричностью манер. Все о нем слышали, но никто или почти никто не читал. Его репутация держалась на мифе. В литературных кругах ещё не знали, кто он — гений или мистификатор? Повстречав его в октябре 1857 года в кафе «Риш», посещаемом многими писателями, братья Гонкур отметили в своем «Дневнике»: «Рядом ужинает Бодлер. Без галстука, с расстегнутым воротом и со своей бритой головой он похож на человека, идущего на гильотину. Единственный признак изысканности — лайковые перчатки, маленькие, до белизны вымытые руки, ухоженные ногти. Голова безумца, голос резкий, как лезвие ножа. Менторская манера говорить; метит в сходство с Сен-Жюстом, и это ему удастся. Упорно и резко отрицает, что в стихах своих нарушал нравственность».

Однако если Гонкуры недовольно морщились, то прочие известные писатели выражали Бодлеру свое восхищение. Флобер удостоил его великолепным письмом: «Я сразу же с жадностью прочел Ваш сборник от начала до конца, как какая-нибудь кухарка читает в газете роман с продолжением, а теперь, вот уже неделю, перечитываю один стих за другим, строчку за строчкой, слово за словом и, честно скажу, мне это нравится, меня это чарует. Вы нашли способ омолодить романтизм. Вы не похожи ни на кого (а это первое из всех положительных качеств) [...] Мне нравится Ваша

резкость, которая в сочетании с тонкостью языковых оборотов оказывается чем-то вроде узоров на лезвиях кинжалов дамасской стати. [...] О, вы разбираетесь в передрягах этой жизни! [...] Короче говоря, в Вашей книге мне больше всего нравится то, что Искусство занимает в ней доминирующее положение. И потом Вы воспеваете плоть без особой любви к ней, как-то печально и отстраненно, что мне симпатично. В Вас есть твердость мрамора и способность пронизывать человека насквозь, как у английского тумана».

И Виктор Гюго из своего изгнания похвалил его письмо: «Ваши „Цветы зла“ сияют и ослепляют, словно звёзды. Продолжайте. Из всех сил кричу „браво“ Вашему могучему таланту [...] Вы получили одну из тех редких наград, которые способен дать существующий режим. То, что он именует своим правосудием, осудило Вас во имя того, что он именует своей моралью. Вы получили еще один венок. Жму Вашу руку, поэт».

Смиренник Сент-Бёв выразился более сдержанно: «Я Вас не удивлю, сказав, что общее впечатление печальное, но Вы именно этого и хотели. Собирая свои цветы. Вы не останавливались ни перед какими красками и образами, сколь ужасными и горестными они бы ни были; Вы знаете это лучше меня и опять же Вы этого сами хотели [...] Вы хотели сорвать покров тайны с ночных демонов. И Вы проделали это тонко, умно, с редким талантом, отбирая почти *изысканно* нужные выражения, нанизывая детали, одну за другой, словно жемчуг, *по-петрарковски* описывая ужасы и создавая впечатление, будто Вы забавлялись и писали просто играючи. А ведь Вы страдали, мучились, описывая Ваши горести, кошмары, моральные пытки. Вы, наверное, многое пережили, дитя мое. Эта особая печаль, исходящая из Вашей книги, печаль узнаваемая, последний симптом больного поколения, уже хорошо знакомого нам по старшим его представителям, и это

Вам тоже зачтется». Прочитывая строку из «Духовного рассвета» («В животном сонном, злом вдруг Ангел восстает») он педантично заключал: «Именно к этому Ангелу в Вас я взываю, чтобы Вы поддержали его. Если бы Вы могли заставить его появляться почаще, в двух-трех конкретных местах, этого хватило бы, чтобы Ваша мысль освободилась, чтобы все эти видения зла, все эти мрачные формы и все эти странные переплетения, порождаемые Вашей фантазией, явились в истинном свете, то есть уже наполовину рассеявшимися, готовыми исчезнуть в лучах света. Тогда бы Ваша книга предстала, как какое-нибудь *искушение святого Антония* в тот момент, когда приближается заря и чувствуется, что искушение вот-вот утратит свою силу [...] Если бы я прогуливался с Вами по берегу моря вдоль скалистых берегов, я постарался бы, не претендуя на роль ментора, подставить Вам, дорогой друг, подножку и неожиданно столкнуть Вас в море, чтобы Вы, умея уже плавать, поплыли бы по течению навстречу солнцу».

Одним словом, Сент-Бёв упрекал Бодлера в том, что тот — Бодлер, а не Теодор де Банвиль или Теофиль Готье. Более суровый «урок» получил автор «Цветов зла» от Луи Менара, своего старого товарища по лицею Людовика Великого. Тот не простил бесцеремонной шутки Шарля в «Корсаре» по поводу его «Освобожденного Прометея». Теперь Менар взял реванш, опубликовав злобную статью в «Философском и религиозном журнале» за сентябрь 1857 года. Он подверг сомнению искренность Бодлера, описывающего свои сатанинские развлечения. По его мнению, автор — «скорее всего какой-нибудь долговязый, немного неуклюжий парень в длинном черном сюртуке, с желтым цветом лица, подслеповатыми глазами и шевелюрой семинариста. Сколько бы он ни писал о паразитах и скорпионах, населяющих его душу, сколько

бы ни присваивал себе пороков, легко понять, что самый большой его недостаток — слишком богатое воображение, а недостаток этот очень распространен среди эрудитов, проводших молодость в уединении». Ничто не могло так обидеть Бодлера, как обвинение в том, будто в области сладострастия он — всего лишь новичок с непомерными претензиями. Он изо всех сил старался, чтобы читатель поверил в подлинность его сатанизма. Ему гораздо легче было перенести проклятия даже некоего Жан-Жака Вейсса, упрекавшего его («Ревю контанпорен» от 15 января 1858 года), в том, что он оскверняет «грацию, красоту, любовь, молодость, свежесть, весну». «А ведь у г-на Бодлера есть читатели, — возмущался Жан-Жак Вейсс. — И им восхищаются! Его превозносят! И приходится говорить о нем, словно это какое-то событие».

Бодлер хотя и хмурил брови, но на самом деле ликовал, читая такие критические отзывы, которые мог бы подписать любой Опик или Эмон. Точно так же он для виду ворчал, но втайне радовался первым карикатурам на него, появившимся в журналах. На одной из них он изображен нюхающим букет ядовитых цветов («Монд иллюстре»), на другой отец семейства возмущался, стоя перед очаровательной девчушкой в юбке с кринолином: «Кто дал моей дочке „Цветы зла“ этого ужасного Бодлера?» («Журналь амюзан»), на третьей можно было видеть мужчину, в изнеможении упавшего на постель после чтения «Цветов зла» со стоном: «Ах, это чересчур, дайте воздуха!»

Привлекала и вместе с тем шокировала редких читателей сборника конечно же прежде всего дерзость стихотворений.

Все они — шла ли речь об омерзительно-тошнотворной «Падали» или о гармоничном и светлом «Приглашении к путешествию», о таинственных

«Кошках» или о грустно-сочувственном «Вине тряпичников» — были ключами к душе автора. Вся книга, от первой до последней строки, является исповедью странного человека, находящегося в постоянных метаниях между светом и мраком. Меньше всего она похожа на изящное литературное упражнение, задуманное, чтобы понравиться публике. Это взволнованная автобиография больного человека, мечтающего о прекрасном и находящего удовольствие в уродливом, желающего добра и отступающего перед злом, себя ненавидящего и одновременно обожающего, всецело занятого самим собой и отказывающегося слиться с остальным миром. Это грубое самообнажение отпугивает робких, словно их заставляют присутствовать при хирургической операции. Сколько крови, сколько гноя, но над этим, в вышине — сколько небесного света! Куда же Бодлер зовет? Кто его союзники — сатана или Господь Бог?

Вторая удивительная черта — исключительная строгость этих стихов. Порвав с любезными романтической традиции порывами красноречия, Бодлер добился максимальной лаконичности в выражении своей мысли. Формулировки его кратки, стих чеканен. Если до него царило многословное вдохновение, то он не дает себе увлекаться. Стилистической избыточности он предпочитает сжатость. Интенсивность его образов объясняется их отчетливостью и согласованностью. У него ничто не бывает случайным, каждый слог стоит на своем месте. Он не гладит — он бьет в точку.

Третье новшество: употребление на лирическом взлете какого-нибудь простого слова, введение какого-нибудь совсем прозаического, почти тривиального образа. Например, в четвертом стихотворении под заглавием «Сплин»: «И небо низкое, тяжелое давит словно крышка»; в «Искуплении»: «На смятую бумагу

похожим стало сердце вдруг»; в «Балконе»: «Ночь мрак сгущает будто переборка»; в стихотворении «Веселый мертвец»: «Чтоб в почву жирную и полную улиток упасть»; последняя строка в «Романтическом закате»: «И под ногой — то жаба, то слизняк». Такого рода резкие переходы от заклинания к реальности подчеркивают аномалию целого. Повседневная речь, врываясь в торжественную песнь стихотворения, придает ему удивительную современность. Странная мелодия, в которой фальшивые ноты обретают кристальную звучность. Для Бодлера не существует ни благородных выражений, ни запретных тем. Его резкое, язвительное искусство одинаково убедительно и в мрачных картинах, и в описаниях разных сатанинских, или мистических, или экзотических сцен, и в эротических эпизодах или ностальгических сюжетах. За этими самыми разными видениями, возникающими в его мозгу, всегда угадывается глубокое сочувствие несчастной участи человека, равно как и постоянный бунт против общества, называющего себя христианским. Единственный способ уйти от пошлости мира — это укрыться в мечте, с помощью, если надо, наркотиков и алкоголя. Все прекрасно, кроме обыденности. Бодлер, находящийся во власти этой навязчивой идеи, уподобляется больному анорексией человеку, у которого один лишь вид пищи уже вызывает тошноту. Человек с оголенными нервами, он страдает от всего, что напоминает ему о его печальной участи одиночки, затерявшегося среди людей. Он не прощает Бога, сотворившего мир, полный несправедливости и абсурда. Но именно потому, что он противостоит Творцу, он признает Его власть. Полагая, что отрицает Его во имя дьявола, он взывает к Нему вне рамок всякой церкви. Его поношения являются, по сути, молитвами, вывернутыми наизнанку. Строки, пущенные им, как стрелы, в небо, никогда не возвращаются вниз.

Бодлер вне всякого сомнения представляет собой тип человека, не приспособленного к жизни в обществе. Будь он богачом, живи он в замке с сонмом слуг, будь он окружен самыми красивыми женщинами, он все равно жаловался бы на жизнь. Для счастья ему не хватало того, что никто бы и не мог ему дать. Он страдал врожденным, органическим пороком: отсутствием тяги к земным благам, постоянными сомнениями в смысле жизни, ностальгией по вчерашнему дню и отвращением ко дню завтрашнему. И всю эту сумятицу он выразил в книге, поражающей четкостью алмазной огранки. Даже структура сборника отличается безукоризненной точностью. Порядок, в котором выстроены стихи, является результатом тончайшего расчета. Бодлер считал, что в составлении оглавления существует своя логика, помогающая заморозить читателя. И действительно, с того самого момента, как открываешь «Цветы зла», испытываешь нечто подобное волнам магнитного поля. Чем дальше читаешь книгу, тем глубже становится впечатление разрыва между нашим повседневным существованием и мрачным чувственным круговоротом, в который вовлекает нас автор.

Удивительное дело: этот поэт, такой искренний в стихах, в жизни просто наслаждается злыми выходками и трюкачеством. Стоило ему выйти за порог дома, как главной его заботой становится ошеломить окружающих, а то и устроить небольшой скандалчик. Какой-то чиновник скромно упрекнул его в том, что сюжеты его стихотворений редко бывают приятными, на что он ответил: «Месье, это специально — чтобы удивлять глупцов». Или же в кругу друзей он холодно спрашивал: «А вы ели мозги младенца? Это напоминает мякоть недозрелого ореха и очень вкусно!» Домовладельцу, упрекнувшему его за шум по ночам, он ответил: «Не знаю, что вы имеете в виду. В гостиной я



колю дрова, в спальне таскаю за волосы любовницу, но это же происходит во всех квартирах!» В присутствии Нестора Рокплана, директора Оперы, он как-то раз, вынув из кармана книгу, заявил, что ее переплет «сделан из человеческой кожи».

Все это — дешевые шутки, рассчитанные на то, чтобы ужаснуть глупцов, но так или иначе Бодлер всегда любил пооригинальничать. Он постоянно стремился вызвать сенсацию. В детстве он мечтал стать актером. Это ему удалось в зрелом возрасте. Некоторые утверждали, что он гримируется и красит волосы. Притворство стало для него второй натурой. Единственный человек, перед которым он не мог играть роль, была его мать. Вот он и не торопился ехать к ней: ему так нравилось эпатировать и дразнить публику, что он предпочитал прозябать в Париже, находясь в долгу, как в шелку, терпеть неприятности и сплетни, хотя и мог бы променять все это на спокойную жизнь в комфортабельном и тихом доме в Онфлёре. «Повторяю, я твердо решил перебраться в Онфлёр, — писал он матери 11 января 1858 года, — надеюсь, что мне это удастся в начале февраля [...] Я сказал об этом проекте кое-кому из друзей [...] Все мне говорят: гениальная идея. Ведь в самом деле, таким способом я избавлюсь от бесполезных хлопот и метаний, а получу, наконец, столь любимое мною одиночество. К тому же следует надеяться, что если в Париже, среди бесчисленных и самых разных неприятностей, я зарабатываю 5-6 тысяч франков в условиях, когда уделяю очень мало времени работе, то при спокойной жизни я смогу зарабатывать гораздо больше». Но 19 февраля он все еще оставался в Париже и приносил извинения Каролине, с нетерпением его ожидавшей: «Откровенно говоря, я давно хочу вырваться из этого проклятого города, где я так страдал и где я потерял столько драгоценного времени. Кто знает, может, мой дух помолодеет там, среди покоя

и счастья? В голове моей роятся десятка два романов и пара драм. Я не хочу нормальной, обычной репутации, хочу потрясать и удивлять умы, как Байрон, Бальзак или Шатобриан. Успею ли, Боже? [...] Я не хочу, чтобы, читая это, ты думала, что мною движет только эгоизм. Большая часть моих забот сводится к следующему: *Моя мама не знает меня, она почти не общается со мной; нам не удалось даже пожить вместе. А ведь надо найти время и пожить бок о бок хоть несколько счастливых лет*».

К сожалению, прежде чем двинуться в путь, он должен был рассчитаться с самыми неотложными долгами. Несмотря на мизерное пособие, выдаваемое ему Анселем, он не отказался ни от обедов с друзьями, ни от покупки книг, гравюр, разных безделушек, вина и крепких напитков, а также от скромных вознаграждений случайным девицам. Чтобы иметь больше свободы, он хотел бы сменить придирчивый попечительский совет на поверенного в лице Антуана Жакото, друга семьи. Пока же он просил последнего повлиять на Анселя, чтобы тот не был таким жестким и выдал солидное пособие, которое помогло бы ему покинуть Париж. Но 25 февраля Ансель без лишнего шума явился в гостиницу «Вольтер», где жил Шарль, и учинил там хозяину, г-ну Денневалю, настоящий допрос: «Принимает ли г-н Бодлер дам? Поздно ли он возвращается вечером?» Узнав об этой слежке, Бодлер взорвался от возмущения и послал матери в один день сразу четыре письма: *«Ансель — негодяй, я надаю ему пощечин в присутствии его жены и детей. Я сделаю это в 4 часа [...], а если не застану его, то буду ждать, пока не придет. Клянусь, что конец этой истории будет громким»* (Письмо от 27 февраля 1858 года, около полудня). Поскольку хозяин гостиницы упросил его не применять силу, он решил отложить возмездие: *«Я соглашаюсь подождать с отмщением. Поручала ли ты*

ему [Анселю] позорить и оскорблять твоего сына, г-на Ш. Бодлера, носящего это имя незапятнанным? Я требую извинений. Требую глубокого раскаяния. [...] Если я не получу полного удовлетворения, то я дам пощечину Анселю, дам пощечину его сыну, и попечительский совет подаст в суд на г-на Шарля Бодлера, за избиение и ранение» (Письмо от 27 февраля 1858 года, 4 часа пополудни). «Меня очень расстраивает, что я причиняю тебе огорчения. Мне надо работать, а теперь мне придется искать свидетелей на случай настоящей ссоры между мною и Анселем или между мною и его сыном. Парень подрос и годится для такого дела. Я требую настоящих извинений и четкого выражения сожалений. Я хочу, чтобы это произошло в присутствии двух или трех свидетелей, предложенных мною. Если этого не сделают, то я приму крутые меры. А каких свидетелей мне надо? Скромных и преданных! *Надо*, чтобы это были люди, которым я могу признаться, что, по невольному настоянию моей матери, я был оскорблен моим юристом-советником, учинившим в прихожей недостойную сцену [...] Бедная мамочка, я знаю, в каком состоянии находятся твои нервы, тебе будет больно. Но, говоря откровенно и по правде, разве я в этом виноват?» (Письмо от 27 февраля 1858 года, 5 часов пополудни.) «я уже посоветовался с двумя знакомыми, как мне поступить. Ударить старика в присутствии членов его семьи — это нехорошо. Но мне нужно получить удовлетворение. Что делать, если я не получу удовлетворения? Я должен хотя бы пойти к нему и в присутствии его жены и других членов семьи сказать, что я думаю о его поведении. А если я опять буду оскорблен, то тогда что делать? В какое положение ты меня поставила, Боже мой! [...] Ведь он — человек без чести, без души, без сердца, он меня обкрадывал, и ты выбрала именно его в качестве доверенного лица твоих материнских опасений, именно

ему поручила помогать мне в деле, требующем деликатности, в деле, в котором я абсолютно доверился тебе!» (Еще одно письмо от 27 февраля 1858 года, написанное в более поздний час.)

На следующий день, оказавшийся воскресеньем, Бодлер остыл: он решил отказаться от денег, которых просил, решил не ехать в Онфлёр и отступился от намерения покарать Ансея. Вспышка гнева оставила его без сил: «Вчера вечером у меня поднялась температура, и головная боль не проходила всю ночь. Наконец, сегодня утром меня вырвало и стало легче. Поскольку сегодня на улице было не так холодно, я вышел подышать свежим воздухом. Как же счастливы люди, которые могут работать! Как я им завидую!»

После целой серии писем Каролине с целью выяснить обстановку, Шарль написал ей 5 марта 1858 года: «Прошу извинить меня за сухой и категоричный тон писем. Я только что вышел от г-на Жакото и настоящее мое послание можно считать кратким изложением содержания беседы с ним [...] Одиннадцать дней тому назад матушка предоставляет мне в долг сумму, достаточную, чтобы поехать к ней. Ансель хлопочет, чтобы не выдавать мне эти деньги (между прочим, это незаконно). Я отказываюсь от всего. Тем временем Ансель ведет себя так, что мое решение становится бесповоротным. Г-н Жакото вступает в игру и предлагает поручить ему роль Ансея. Теперь спрашивается: где деньги? Они существуют в виде ценных бумаг, которые Ансель должен продать. *А что сделал Ансель за эти одиннадцать дней?* Он приехал в гостиницу. И как там себя вел! Я поспорил с г-ном Жакото, что Ансель вообще ничего не сделал, ничего не продал, не был готов что-либо делать, что, кстати, объясняется его решимостью *ничего не платить и ничего мне не давать*. Следующий вопрос: а есть ли у Ансея доверенность на продажу этих бумаг? Если у

него нет такой доверенности, надо срочно выслать ее г-ну Жакото. Как и ты, г-н Жакото полагает, что мою личную ссору с Анселем надо предать забвению».

В результате многочисленных объяснений в письмах, курсировавших между Онфлёром и Парижем, Бодлер помирился с Анселем, которого он только что обзывал висельником, и документ на регулярную выплату ренты был продан 11 марта 1858 года за три тысячи франков. Этих денег ему хватило, чтобы расплатиться с самыми неотложными долгами. Но и освободившись временно от денежных забот, Бодлер опять отложил день отъезда. У него оказалось слишком много срочных дел, чтобы позволить себе так вот внезапно уехать. Поскольку книга «История Артура Гордона Пима» как раз находилась в производстве, Бодлер отправился в Кор-бей, чтобы проследить за работой типографии. «Несмотря на все тщание, которое я вкладываю в свои литературные дела, — писал он матери, — я не совсем доволен этим последним переводом. Мне все кажется, что можно было бы сделать лучше [...] Боже мой, в какого же несчастного человека меня превращает эта жизнь без домашнего очага, без друзей и без приличной квартиры!»

Едва закончил он работу над гранками повести Эдгара По, как тут же приступил к доработке статей о гашише и опиуме для журнала «Ревю контанпорен», проправительственного издания, принадлежавшего Альфонсу де Калонну. Журнальчик этот опубликовал в свое время, в связи с выходом «Цветов зла», ругательную статью за подписью Жан-Жака Вейсса. Бодлер не забыл обиды. Но его забавляла возможность получить деньги от редакции журнала, извалявшего его в грязи всего лишь несколько месяцев назад. «Ты нашла, что меня здорово обругали в этом „Ревю контанпорен“, — писал он Каролине. — Эти люди [...] — форменные идиоты, безмозглые индюки; они не могут

себе даже представить, какие проекты и планы вынашиваю я в своей голове [...] За последние три или четыре года я прекрасно научился выслушивать ругань в мой адрес. Все эти люди, поносящие меня, совершенно не догадываются, какой у меня прочный и здоровый ум. В общем, пока я лишь слегка показал, на что я способен. Ужасная лень! Ужасная мечтательность! Крепость моего ума составляет и для меня самого неприятный контраст, когда я размышляю о медлительности в исполнении своих проектов. Вот почему мне надо поехать в Онфлёр».

Однако он все не ехал туда и не ехал. Каждый день изобретал новые поводы, чтобы не двигаться с места: срочная работа, реальные или выдуманные планы, свидания с директорами журналов или театров, встречи с другими писателями в кафе «Диван», «У Тортони», в пивной братьев Шоен... Никаких друзей, а только приятели, с которыми можно поболтать и чокнуться. Журналисты ловили малейшие его высказывания, чтобы преподнести своим читателям нечто «остренькое». Так, Жан Руссо писал в «Фигаро»: «Господин Бодлер вроде бы сказал, услышав фамилию автора „Созерцаний“: — Гюго! А кто это такой, Гюго?.. Кто знает этого Гюго?» И добавлял: «Господин Бодлер теперь занимается тем, что злословит в адрес романтизма и поносит членов „Молодой Франции“. Можно догадаться о причинах этих неблагоприятных действий. Именно гордыня [...] толкает ныне Бодлера отречься от своих учителей и наставников. Но ведь можно было бы просто спрятать свое знамя в карман; какая нужда плевать на него?» Бодлер сразу выразил протест руководству «Фигаро» и написал Вильмессану: «Г-н Виктор Гюго находится на такой высоте, что отнюдь не нуждается в словах восхищения того или другого из нас; однако глупые слова, которые в устах первого встречного оказались бы

просто свидетельством глупости последнего, в моих устах звучат как нечто запредельно чудовищное».

Действительно, он перестал восхищаться Виктором Гюго, но подобный низкий донос возмутил Бодлера. Ему казалось, что если бы он уехал из столицы, то брань и саркастические реплики в его адрес усилились бы. И потом он не мог позволить себе уехать из столицы в тот момент, когда «История Артура Гордона Пима» только что поступила в продажу и ему нужно было мобилизовать все знаменитые перья, чтобы обеспечить успех книги. Несмотря на обещания, Сент-Бёв так и не удосужился посвятить ему большую статью, на которую Бодлер мог рассчитывать. А между тем этот знаменитый критик опубликовал в газете «Монитор» от 14 июня 1858 года хвалебную статью о романе «Фанни» Эрнеста Фейдо, писателя, к которому Бодлер относился с ненавистью и презрением. Он возмутился и, наступив на горло собственной гордыне, стал умолять Сент-Бёва, как о милостыне, о статье, которая бы явилась публичным возданием почестей ему, Бодлеру: «С Вами надо быть прямым до цинизма, потому что Вы настолько умны, что хитрость с моей стороны обернулась бы против меня самого. Так вот, эта статья [про „Фанни“] вызвала во мне ужасную ревность! [...] Неужели не найдется добрый человек, который написал бы такое же обо мне? Какими ласками, могущественный друг мой, могу я получить от Вас такую же статью? А ведь я не прошу у Вас чего-то незаслуженного. Вначале Вы мне чуть-чуть помогли, не так ли? Разве „История Пима“ не является превосходным поводом для *общего* обзора моего творчества?»

Тщетная попытка. Но Бодлер не отчаивался. Надо настаивать, полагал он, напоминать о себе важным персонам, стучать во все двери. В характере его было странное противоречие: он мог проявлять совершенно неразумную гордыню, когда речь шла о его собственной

персоне, и униженно хитрить, когда успех его произведения зависел от похвальных отзывов, вовремя направленных по верному адресу. То он умолял, а то стучал кулаком по столу. Он считал, что настоящий писатель должен уметь полностью брать на себя заботу о своем успехе. Это касалось и сочинения, и продажи созданного произведения. А тем временем Бодлер тешил себя множеством иллюзий — так приятно было мечтать об Онфлёре, оставаясь в Париже, набрасывать фабулы романов и театральных пьес, не удосуживаясь при этом написать ни строчки, в мечтах завоевывать все то, в чем тебе отказывает повседневная жизнь. Ах, Онфлёр, Онфлёр! Морской воздух, ласковое прикосновение нежной руки к разгоряченному лбу, ужины вдвоем с любимой матерью! «Как все вы должны быть счастливы там, у себя, где жару смягчает ветер с моря! Здесь же работать совершенно невозможно. Весь день я изнемогаю, и ночь тоже не приносит никакого облегчения».

Бодлер писал правду. Чем старше он становился, тем сильнее ощущал в себе потребность вновь окунуться в мягкую атмосферу детства, дабы забыть превратности своей жизни взрослого человека. Порой ему казалось, что, вернувшись к матери, он помолодеет и к тому же вновь будет черпать из этого источника вдохновение. В то же время он опасался провинциальной пошлости, которой прониклась Каролина в Онфлёре. Боялся увидеть за ее фигурой тень Опики. И, с сожалением вздохнув, он отодвигал на будущее радость или разочарование от грядущей встречи.



## Глава XVII. ВОСХИЩЕНИЕ

Мысль о поездке в Онфлёр не покинула Бодлера. 12 октября 1858 года он подписал с Калонном договор, обязуясь сдавать тому каждый год тексты общим объемом двенадцать печатных листов<sup>[54]</sup> для журнала «Ревю контанпорен» за три тысячи франков ежегодно, из которых, кстати, он уже получил к тому времени несколько авансов. Итак, теперь он был на плаву. Он сообщил об этом матери и 20-го числа того же месяца сел в поезд Париж-Гавр, откуда пароход должен был доставить его в Онфлёр. Но еще накануне он уточнил в письме: «Приеду только, чтобы обнять тебя и поболтать. И тут же уеду». Так и получилось. Буквально три-четыре поцелуя, столько же откровенных бесед, после чего он вернулся в Париж. Он был очень доволен таким молниеносным визитом: дом над берегом моря показался ему столь прекрасным и удобным, что он прозвал его «домик-игрушка»; да и мать встретила его самым что ни на есть нежным и благожелательным образом.

Между тем он выехал из гостиницы «Вольтер». И куда отправился? Куда угодно, лишь бы не быть в одиночестве. Он поселился у Жанны, в доме 22 на улице Ботрейи. Решение, как он считал, продиктованное соображениями благотворительности. Но благотворительности по отношению к кому? К Жанне или к самому себе? Не успел он перебраться к ней, как тут же бросился в Алансон, где Пуле-Маласси мужественно боролся с разного рода денежными и юридическими трудностями. Переговоры заняли двенадцать дней, после чего он снова вернулся в Париж. А там — Жанна, рукопись, которую нужно сдавать в «Ревю контанпорен», стихи — в «Цветы зла»

для замены тех, которые забраковал суд. В конце января 1859 года он отправил сундуки и узлы в Онфлёр, куда поехал следом сам, чтобы там спокойно поработать, экономя к тому же деньги. Рассчитывая на долгое пребывание сына, Каролина приготовила для него две комнаты на третьем этаже «домика-игрушки»: спальню с окнами на город, и кабинет, откуда было видно море, вечно меняющее цвет, и вдаль — порт, откуда доносился негромкий шум такелажных работ.

Когда в марте 1859 года он появился в Париже, то мечтал лишь о том, чтобы поскорее вернуться к морю. Вихрем пронёсся по залам выставки «Салон 1859 года», написал репортаж, надеясь на «прежнюю память, которой помогает каталог». Через несколько недель он уже был у матери. По правде говоря, работалось ему лучше в Онфлёре, чем в Париже. Между прогулками в порт и беседами с Каролиной он переводил «Исповедь англичанина-опиомана» английского поэта Томаса Де Куинси и писал новые «Цветы» для переиздания сборника — вполне байроновское «Плаванье», посвященное Максиму Дю Кану; пахучие и сладострастные «Волосы»; вторую версию «Альбатроса»; «Старушек» («Эти женщины в прошлом, уродины эти»); «Семь стариков», призрачное видение дряхлых старцев, идущих друг за другом «в желто-грязном тумане» Парижа. Об этом последнем стихотворении, посвященном Виктору Гюго, Бодлер писал главному редактору «Ревю франсэз», Жану Морелю: «Боюсь, что я просто-напросто сумел превзойти границы, отведенные Поэзии». Действительно, и «Старушки», и «Семь стариков» — это не что иное, как ужасный крик возмущения перед лицом неизбежного разрушения плоти. Фантазии Бодлера частично объяснялись регулярным употреблением наркотиков, в основном — опиума. Шафранно-опийная настойка, прописанная ему от

боле́й, вызванных прогрессирующим сифилисом, размягчала мозг и вредила организму, но помогала творчеству. «Дорогой друг, я в мрачном настроении, — писал он Пуле-Маласси, — не привез с собой опиума, и у меня не осталось денег, чтобы оплатить моего парижского аптекаря». К счастью, онфлёрский аптекарь г-н Алле<sup>[55]</sup> чутко отнесся к хорошо одетому парижанину, с изысканными манерами, но со странным, не вполне нормальным взглядом. Он выдавал ему в малых дозах лекарство, которое тот просил. Кстати, из уважения к матери Шарль вел себя любезно с окружающими людьми. Эксцентричность в одежде и другие причуды он хранил для Парижа. Самое большее, что он себе позволял, так это надевать изредка красный галстук-шарф и проявлять подчеркнуто насмешливую вежливость по отношению к г-ну Эмону, этому своему щепетильному надзирателю. По мере того как проходили дни, Бодлер частенько говорил себе, что в Онфлёре жизнь прекрасна. Здесь он был защищен от всего. В столице жизнь состояла из сплошных интриг, из требований оплатить векселя и из осложнений в отношениях с женщинами.

В начале года над Жанной нависла угроза паралича. Ее приняли в муниципальную больницу, так называемый дом Дюбуа, расположенный в доме 200 по улице Фобур Сен-Дени. Обеспокоенный Бодлер послал Пуле-Маласси деньги, необходимые для лечения. «Даже если Вам это неприятно, рассчитываю на Вашу дружбу, — писал он. — Я не хочу, чтобы мою парализованную вышвырнули за дверь. Быть может, она и не возражала бы, но я хочу, чтобы ее держали там, пока есть хоть какая-то надежда на выздоровление». Он переживал, видя физическую деградацию этой женщины, давно переставшей вызывать в нем желание, и тщетно пытался найти ей замену на роль наперсницы,

вдохновительницы и любовницы. Мари Добрен, по-прежнему влюбленная в Теодора де Банвиля, уехала с ним в Ниццу. Г-жа Сабатье разочаровала своего обожателя, пытаясь привязать его к себе. Уличные девицы его больше не волновали. Не утратил ли он вообще вкус к женщинам? Он жестоко критиковал это отродье в своих заметках «Мое обнаженное сердце»: «Женщина — это противоположность денди. Следовательно, она должна внушать отвращение. У женщины возникает чувство голода — и она хочет есть. Жажда — и она хочет пить. У нее течка — и она хочет, чтобы с ней совокуплялись. Великая заслуга! Женщина естественна, то есть омерзительна. Вот почему она всегда вульгарна, то есть является полной противоположностью денди». По существу, этот неисправимый мечтатель упрекал представительниц другого пола в том, что они самим своим нутром слишком близки к природе. Рабыни плоти в любви, они производят плоть, становясь матерями, и в мыслях своих не видят ничего за пределами плоти.

Несмотря на свои столь категоричные взгляды на женщин, Бодлер признавался, что на него произвела впечатление вызывающая красота некой Элизы Нери, женщины полусвета, о которой говорили, будто она шпионит в пользу Италии. Тогда же он весьма эмоционально реагировал на одну загадочную даму, которую в посвящении к «Искусственному раю», опубликованному весной 1860 года у Пуле-Маласси, обозначил инициалами J. G. F. «[...] эту небольшую книгу я посвящаю не покойнице, нет, женщине, которая, хотя и больна сейчас, во мне по-прежнему живет активной жизнью, а теперь обращает все свои взоры к Небесам, то есть туда, где происходят все преобразования, — писал он в своего рода введении к произведению. — [...] Ты увидишь на этой картине одиноко прогуливающегося мрачного человека, окруженного

бесчисленным потоком людей и пребывающего сердцем своим и помыслами своими рядом с некой далекой Электрой, когда-то утиравшей ему пот со лба и *освежавшей ему горячие, от жара подобные пергаменту губы*. И ты угадаешь благодарность другого Ореста, чьи кошмары ты часто наблюдала, отгоняя своей легкой материнской рукой ужасные сновидения от его головы». Однако кто же такая эта Электра, «далекая» и «больная», которая склонялась над своим лишившимся сна любовником и ласками успокаивала его? Уж не Жанна ли, возвеличенная воображением поэта, не желавшего видеть ее такой, какая она есть? Разумеется, он давно уже не придерживался обета верности ей. Но весь мир женщин он делил на три части: на уличных девок, с которыми он общался, тут же их забывая, на Жанну, от которой осталось лишь воспоминание, и на светских дам, которых он посещал, надеясь, что они удовлетворятся письменными знаками почитания.

Вот почему ему пришлось так по душе проявившая к нему интерес г-жа де Калонн. Ей было уже под сорок, но ее обаяние и приятность беседы с ней заставляли забыть про ее возраст. В каждом письме к директору «Ревю контанпорен» Бодлер уделял фразу-другую его супруге: «Заметив, что г-же де Калонн нравятся романтические повести, я позволил себе послать ей „Пима“ и „Героя нашего времени“»<sup>[56]</sup> (15 декабря 1858 года); «Соблаговолите, пожалуйста, напомнить обо мне г-же де Калонн и скажите, что я очень тронут любезными словами, сказанными ею, когда я имел удовольствие видеть ее в последний раз» (1 февраля 1859 года); «Нижайший поклон г-же де Калонн» (11 февраля 1859 года); «Я подчиняюсь г-же де Калонн. Ведь она сказала мне: „Пишите для нас побольше стихов“» (24 февраля 1859 года).

Если г-жа Калонн неизменно благоволила к Бодлеру, этого никак нельзя было сказать о ее муже. Тот жаловался, что его автор не вовремя сдает тексты рукописи о гашише и опиуме, на слишком крепкие выражения, встречающиеся в новых стихах, присылаемых из Онфлёра. Когда г-н де Калонн стал возражать против употребления слова «gouge»<sup>[57]</sup> в «Пляске смерти», Бодлер ошетинился: «Это прекрасное слово, единственное и в данном случае незаменимое, слово из старого языка, вполне применимое к пляске смерти [...] Разве Смерть не является *Прислугой*, повсюду идущей за *Великой всемирной Армией*, разве она не является любовницей, чьи поцелуи *действительно неотразимы*? Цвет, антитеза, метафора — все на месте. Как же ваш критический вкус, всегда такой точный, не угадал моего замысла?» Сердитые замечания г-на де Калонна учащались по мере того, как писатель сдавал свои новые произведения. Бодлеру это так осточертело, что он подумывал о разрыве с «Ревю контанпорэн» и писал Пуле-Маласси: «Можете себе представить, этот дурак де Калонн выразил недовольство, прочитав стихотворение „Плаванье“? С тех пор, как он получил правительственную субсидию, он опять стал страшно придирчивым, этот наш *сверхглавный редактор*. И у него еще хватает наглости приставать ко мне с требованием новых стихов. Он их не получит [...] Новые „Цветы зла“ написаны. И они будут взрывоопасными, как газ в мастерской стеклодува. Но что бы там ни говорила эта дама де Калонн, стихи эти пойдут не к ней». Несмотря на затронутое самолюбие, Бодлер соблюдал вежливость и уже к тому времени предупредил Калонна: «Не обижайтесь, но, видя Ваши сомнения, я позволил себе передать „Плаванье“ в „Ревю франсез“ [...] Преданный Вам [...] Кланяйтесь, пожалуйста, г-же де Калонн».

Между Бодлером, Калонном и Пуле-Маласси сложились довольно сложные отношения, поскольку Бодлер, связанный с Калонном оформленным должным образом договором, по которому он уже получал авансы, передал часть своих авторских прав в «Ревю контанпорен» Пуле-Маласси, которому он был должен деньги. А поскольку тот оказался на грани разорения, то стал умолять Шарля рассчитаться с ним. Но как? Призвали на помощь Калонна. Наконец вроде бы нашелся выход — векселя. Чтобы успокоить Пуле-Маласси, Бодлер заверил его, что скоро получит солидные суммы за выход в свет своего перевода «Эврики» Эдгара По в «Ревю энтернасьональ» и за постановку в императорском театре «Сирк» откровенно бульварной драмы «Маркиз из первого», переработанной из новеллы его друга Поля де Молена. Однако хотя Бодлер составил план пьесы, акт за актом, она так никогда и не увидела свет ramпы. Это был еще один из тех миражей, за которые он цеплялся, чтобы не впасть в отчаяние от неудач. Вокруг него все рушилось. Журнал «Ревю энтернасьональ» еле держался на плаву. Его директор Карлос Дерод отказался продолжать после январского номера за 1860 год публикацию «Эврики», к которой читатели потеряли интерес. Отношения с «Ревю контанпорен» тоже превратились в нескончаемые ссоры и примирения, что очень изматывало Бодлера. «Имя мое и талант должны были бы уберечь меня, и, как правило, уберегали, от мелких придирок типичных *главных редакторов*, причем я даю честное слово, что Вы — первый, к кому я отношусь с таким уважением», — писал он с достоинством г-ну де Калонн 5 января 1860 года. А через месяц он сообщил Пуле-Маласси: «Четыре раза ссорился я с Калонном, и он дважды присылал мне письма с извинениями, но вот в пятый раз ему захотелось показать свою власть

литературного руководителя. Такая жизнь мне совершенно неважноту».

Наглостъ этих хозяев прессы, считавших себя вправе давать ему советъ, о чем он должен писать и где нужно что-то сократить, придиравшихся к каждому слову, настолько раздражала Бодлера, что он просто занемог, о чем и написал как-то матери: «Позавчера я испытал странный приступ. Это случилось на улице; я с утра почти ничего не ел. По-видимому, это было что-то вроде кровоизлияния в мозг. Мне помогла одна старушка, которая сделала что-то непонятное, и все прошло. Но когда я немного оправился, случился другой приступ. Тошнота, головокружение и такая слабость, что не мог подняться на ступеньку лестницы, мне казалось, что я вот-вот потеряю сознание. Потом, через несколько часов все прошло. [...] Была одна смешная деталь в этой печальной истории: я ни на секунду не терял сознания и все беспокоился о том, как бы меня не приняли за пьяного». Наверное, Каролина пережила несколько тревожных часов, прочитав письмо об этих приступах слабости. Шарль вполне мог бы ей и не сообщать об этом. Но ему нравится встревожить мать — тогда она жалеет его, как во времена детства...

Незадолго до того, желая преподнести ей новогодний подарок, он купил рисунок пером и акварелью Константена Гиса «Турчанка с зонтиком». «Надеюсь, тебе понравились подарки, — писал он матери, отправив посылку. — Этот рисунок — единственный восточный мотив, какой я сумел вырвать у этого странного человека, о котором я собираюсь написать большую статью». Как ему казалось, Константен Гис был в определенном смысле не менее талантлив, чем Делакура. В этом художнике, обладавшем легким штрихом, искусством аллюзии, с живым, ненавязчивым шармом, он видел представителя современной эстетики сиюминутного. Именно



благодаря его карандашу многие парижские содержанки, посетители публичных домов, извозчики фиакров, вернувшиеся с Крымской войны солдаты оказались увековечены для потомства. Он был художником, запечатлевшим мимолетное и возвеличивавшим незначительное. Суровая скромность этого человека, его литературный талант и мастерство рисовальщика восхищали Бодлера настолько, что он написал о нем большую хвалебную статью. Но, увы! Один за другим журналы «Конститусьонель», «Ревю контанпорен» и «Ревю эропеен» отказались ее опубликовать: Константен Гис недостаточно знаменит, чтобы привлечь внимание читателей. Слишком обыденны были сюжеты его произведений. Только в 1863 году газета «Фигаро» наконец напечатала эссе Бодлера. По просьбе самого Константена Гиса он фигурирует в очерке как «господин Г.». Художник и поэт часто проводили время вместе, причем выбирали для своих встреч места отнюдь не фешенебельные, и там с улыбкой наблюдали за девицами легкого поведения, за подвыпившими горожанами.

Среди других друзей Бодлера — гравер Мерион, чье фантастическое видение мира поэт высоко ценил, Надар, к тому времени уже освоивший мастерство фотографии — выполненные им портреты удивляли современников, и, разумеется, «старики»: Асселино, Пуле-Маласси, Бабу, Буайе, Сулари, величавший его в письмах «дорогим мэтром». Что же касается литературных предпочтений Бодлера, то о них свидетельствуют его хвалебные заметки о Гюго, Готье, Леконте де Лиле, Банвиле, написанные для составленной Эженом Крепе антологии «Французские поэты». К этому изданию в четырех томах предисловие написал Сент-Бёв. Критик высоко оценивал Бодлера в частных беседах, но так и не считал возможным ни написать статью о «Цветах зла», ни как-то отозваться

на переводы из Эдгара По. Для него Бодлер оставался второстепенным поэтом с наигранными странностями и неестественным вниманием к темным сторонам души и тела. Бодлер страдал от этого вежливого пренебрежения, но навсегда сохранил по отношению к Сент-Бёву смутную ученическую благодарность.

Огорчал его и Делакруа, о гениальности которого он не переставал писать и который упорно отказывал ему в дружбе. По-видимому, художник, тщательно следивший за своими контактами, стеснялся этих странных знаков внимания со стороны человека, у которого были нелады с правосудием. Прочитав хвалебные отзывы Бодлера в его обзоре «Салон 1859 года», он вежливо поблагодарил его: «Вы пришли мне на помощь в тот момент, когда меня ругали и смешивали с грязью многие критики, серьезные или же так называемые серьезные критики [...] Я счастлив тем, что мои картины Вам понравились, и это утешает меня. Вы отнеслись ко мне, как относятся лишь к великим усопшим. Вы глубоко симпатичны мне и в то же время заставляете меня краснеть — так уж мы устроены. Прощайте, милостивый государь, и почаще публикуйте Ваши вещи: ведь Вы вкладываете душу во все, что пишете, и друзья Вашего таланта сожалеют лишь о том, что Вы редко публикуетесь». Впоследствии, получив от Бодлера брошюру о Теофиле Готье, он поздравил его в связи с выходом этой «красивой книжки», но оговорился: «Недостаток многих Ваших публикаций состоит в том, что тексты набраны настолько мелким шрифтом, что мне, например, трудно их читать [...] Извините тысячу раз и примите выражения дружбы». Не слишком обращая на все это внимание, Шарль по-прежнему ставил Делакруа выше всех живописцев. Его способность восхищаться была безгранична. Во всех отношениях.

В очередной раз Рихард Вагнер приехал в Париж осенью 1859 года. Французские поклонники встретили его как мессию. Бодлер сразу увидел в нем ведущего представителя современной музыки. 25 января, а также 1 и 8 февраля 1860 года он присутствовал на концертах в помещении Итальянского театра, где оркестром дирижировал сам композитор. В программе были увертюра к «Летучему голландцу», отрывки из опер «Тангейзер» и «Лоэнгрин», вступление к «Тристану и Изольде». А 16 февраля Бодлер писал Пуле-Маласси: «Я уже не решаюсь больше говорить о Вагнере: надо мной и так все смеются. Это музыка была одним из самых больших наслаждений в моей жизни; лет пятнадцать не испытывал я такого душевного подъема». В тот момент, когда вся бульварная пресса обрушилась с руганью на этого революционера от искусства, этого «Марата от музыки», этого могильщика «хорошего тона», Бодлер, возмущенный глупостью своих соотечественников, послал Вагнеру письмо, «подобное крику признательности». «Прежде всего хочу сказать, что я обязан Вам *самым большим из когда-либо мною полученных наслаждений от музыки*. Я уже в том возрасте, когда не спешат писать писем знаменитостям, и еще долго не решился бы выразить Вам мое восхищение, если бы каждый день не видел в печати недостойных, нелепых статей, где авторы изощряются в попытках оклеветать Ваш гений. [...] Когда я в первый раз пошел на концерт в Итальянский театр слушать Ваши произведения, я был настроен не лучшим образом и даже, признаюсь, был полон дурных предубеждений [...] Но я был покорен Вами тотчас же. То, что я испытал, неопишимо, и если Вы сообразоволяте прочесть без смеха, попытаюсь выразить словами. Сперва мне показалось, что я уже слышал эту музыку [...] Мне почудилось, что это моя музыка, и я узнавал ее, как любой человек узнает то, что он призван любить. [...]

Затем меня главным образом поразило ощущение величия. Являясь выражением величественного, эта музыка толкает нас вперед, к великому. В Ваших произведениях я повсюду обнаруживал торжество великих звуков, великих образов Природы и торжественность великих страстей человека. [...] И вот еще что: я не раз испытывал довольно странное ощущение, такую гордость и радость от понимания музыки, от того, что в меня проникало и меня захватывало поистине чувственное наслаждение, словно я поднимался в воздух или плыл по морю [...] С того самого дня, когда я услышал Вашу музыку, я все время говорю себе, особенно в тяжелые минуты: *„Вот если бы мне довелось послушать сегодня вечером немножко Вагнера. [...] Еще раз благодарю вас, сударь; в тяжелую минуту Вы вернули меня к себе самому и ко всему величественному“*». И постскриптум: «Адреса своего не пишу, чтобы Вы не подумали, будто я хочу о чем-то Вас просить».

Тронутый похвалой французского поэта, Вагнер попросил Шанфлёрі поблагодарить Бодлера и пригласил своего поклонника в гости. Но тот уклонился. «Я приду к нему, но не сейчас, — написал он Шанфлёрі. — Довольно печальные дела поглощают все мое время. Если Вы увидите его раньше меня, скажите, что я сочту большой радостью пожать руку гениальному человеку, которого оскорбляла легкомысленная чернь».

Бодлер был настолько восхищен Вагнером, что кроме восторженного письма, посланного ему, захотел посвятить композитору большую статью в журнале «Ревю эропеен». Между тем в Опере репетировали «Тангейзера». Премьера состоялась 13 марта 1861 года. Это был полный провал. Автора и его произведение освистала публика, враждебно настроенная еще задолго до представления. Возмущенный Бодлер забрал

из редакции статью, исправил и дополнил ее и в мае 1861 года выпустил книжку «Рихард Вагнер и „Тангейзер“ в Париже». Тронутый этим вниманием, Вагнер заявил, что никто и никогда не поддерживал столь значительно его «бедный талант». Свое благодарственное письмо он закончил так: «Поверьте мне, я очень горжусь тем, что могу назвать Вас другом».

Увлечшись музыкой, Бодлер примерно в то же время неосмотрительно согласился перевести на французский язык либретто романтической симфонии американца германского происхождения Роберта Штепеля «Гайавата». В основу либретто легла эпическая поэма Лонгфелло «Песнь о Гайавате». Бодлер рассчитывал получить за свою работу полторы тысячи франков. Но еще до ее окончания Штепель уехал в Лондон, не заплатив ни копейки. Не помогли ни письма, ни угрозы обратиться в суд. Штепель не соизволил даже ответить и, укрывшись в Соединенных Штатах, стал недосыгаемым. Бодлер остался в дураках со стихами, которые ему не нравились, не зная, какое им найти применение. В конце концов он положил свою работу в ящик стола, а большой фрагмент из нее отдал в «Ревю контанпорен», чтобы опубликовать его под названием «Трубка мира».

От всего этого происшествия у него сохранились лишь сожаление о потерянном времени и обида, что его обманули как новичка. А в том печальном финансовом положении, в каком он находился, он не имел права писать, ничего не получая за свой труд. Жанна была полностью на его иждивении. Не вполне психически здоровая, она всеми правдами и неправдами старалась вытянуть из Шарля денежную «добавку». Хотя из больницы Дюбуа ее выписали, физическое ее состояние тоже оставляло желать лучшего. Шарль с ней уже не жил. Он поселился временно в гостинице «Дьеп» и

лишь посещал ее в качестве «попечителя» или «сестры милосердия». Сердце его сжималось, когда он подолгу смотрел на эту развалину с пустым взглядом, одряхлевшим телом, обвисшей темной кожей, — когда-то она подарила ему столько наслаждений, а нынче внушала лишь острую жалость. Она бормотала, что-то вспоминая и в чем-то его упрекая. А он чувствовал, что своей тоской и угрызениями совести искупает какую-то очень давнюю и очень невнятную вину.

Даже живя у матери, Шарль не мог отделаться от мыслей об этой мулатке, занозой сидевшей у него в душе и властвовавшей теперь над ним не своей красотой, а немощью. Единственное сохранившееся письмо Жанне свидетельствует о его грустном сочувствии. Письмо отправлено из Онфлёра 17 декабря 1859 года: «Милая девочка, не сердись, что я уехал из Парижа, не навестив тебя, чтобы немного развлечь [...] Клянусь, что через несколько дней я вернусь [...] Теперь я не хочу жить в Париже подолгу, это мне дорого обходится. *Мне лучше приезжать чаще и оставаться всего несколько дней.* А пока, поскольку меня не будет целую неделю и поскольку я не хочу, чтобы в твоём состоянии ты оставалась без денег хотя бы один день, обращай к г-ну Анселю». К письму была приложена расписка: «Получена от г-на Анселя сумма в сорок франков для госпожи Дюваль». И он советовал наполовину парализованной Жанне: «Положи эту расписку в новый конверт, и коль скоро ты не решаешься писать левой рукой, попроси, чтобы твоя прислуга за тебя написала адрес». В конце — последние обещания и последние советы: «Итак, я скоро приеду и, как полагаю, при деньгах, постараюсь тебя поразвлечь [...] Сейчас на улице скользко, одна не выходи. Не теряй мои стихи и статьи».

В конце лета 1860 года, то ли в порыве преданности, то ли ради собственного удобства, он

перевез Жанну в Нёйи, в дом 4 по улице Луи-Филиппа, и туда же отправил мебель. Сообщая об этом матери, он еще раз упрекнул ее за то, что когда-то она решилась учредить опекунский совет, за «ту ужасную ошибку, которая поломала мне всю жизнь, омрачила все мои дни, сообщила мыслям моим оттенок ненависти и отчаяния». Растущая тревога рождала мысли о подстерегающей его смерти. «Я могу умереть раньше тебя, несмотря на все мое дьявольское мужество, которое так часто меня выручало, — писал он Каролине. — Последние полтора года меня поддерживает только мысль о Жанне. (Как будет она жить после моей смерти, коль скоро тебе придется оплатить мои долги, распродав все мое имущество?) Есть и другие причины для отчаяния: как оставить тебя одну? Оставить тебя в затруднительном положении, оставить тебе хаос, разобраться в котором способен только я один! [...] Короче говоря, когда расставляю все на свои места, то думаю о двух людях, нуждающихся в помощи: о тебе и о Жанне [...]. Как бы ни сложилась моя судьба, если после того, как я составлю список долгов, я внезапно умру, а ты останешься жить, надо будет что-то предпринять, чтобы поддержать эту бывшую красавицу, превратившуюся в калеку».

Так, выражая свою последнюю волю, Шарль думал в одинаковой степени о матери, которую он обожал, порой ее критикуя, и о старой своей любовнице, которую он не хотел бросать в нищете, отягощенной пьянством. Каролина, жена генерала, посла, сенатора, была оскорблена тем, что в сердце сына она оказалась на одном уровне с потаскухой. Поистине, он просто не знает, что и придумать, только бы расстроить и унижить одинокую вдову! Вдобавок он сообщил ей о появлении на горизонте брата Жанны: «Нашелся ее брат, *я видел его* и говорил с ним, и он конечно же тоже поможет ей. У него ничего нет, но он зарабатывает деньги».

Каролина насторожилась: это еще что за новости? В какую ещё абсурдную историю с братом собирается впутаться Шарль? Он так наивен, что способен дать себя морочить целой семье африканцев!

Она и в самом деле не слишком ошиблась, задаваясь вопросом об опасностях, угрожающих сыну вдали от нее. Едва переехав в Нёйи, Шарль узнал о существовании так называемого брата Жанны. Этот рослый мулат появлялся у Жанны каждый день в восемь утра и уходил только в одиннадцать вечера, целый день преспокойно и без зазрения совести болтал, курил и закусывал, сидя рядом с постелью сестры. «Он не оставляет нас ни на секунду, — писал Шарль матери. — Я долго сдерживался, не желая огорчать ее в таком тяжелом состоянии, но однажды в полночь я все же сказал, с максимальной деликатностью, что приехал сюда ради нее, что выгонять брата я не имею права, но раз так, то я уеду к матери, которая тоже во мне нуждается. Я ей сказал также, что не собираюсь лишать ее денежной помощи, но раз брат общается с ней, не обращая на меня внимания, справедливость требует, чтобы он, зарабатывающий больше, чем литератор, и не имеющий долга в 50 тысяч франков, к тому же с нарастающими процентами, помог бы больной сестре и взял бы на себя на две трети или половину расходов, необходимых на ее содержание». Жанна заплакала, признала, что Шарль прав, и пообещала попросить брата помочь ей по возможности. Однако она сомневалась, согласится ли тот, потому что в прошлом он никогда не присылал матери денег. И действительно, на следующий день, воспользовавшись отсутствием Шарля, она призвала нахлебника осознать свои обязанности. «Ты целыми днями сидишь тут, — сказала она, — и не даешь мне общаться с Шарлем. А ведь он залез в долги, и отчасти из-за меня. Он уедет, но рассчитывает, что ты возьмешься оплачивать



половину расходов на мое содержание». В ответ брат только расхохотался. Вечером Жанна рассказала об их разговоре Бодлеру, и тот написал матери: «Никогда не догадаешься, какой глупый и дикий был ответ. Если бы он произнес его при мне, я палкой раскроил бы ему морду. Он сказал, что я, наверное, привык к нехватке денег и трудностям и что тот, кто берет на себя заботу о женщине, должен понимать, чего это стоит, а он никаких денег не откладывает и рассчитывать на него в будущем не следует». В заключение Шарль сообщил: «Она так горько плакала, постаревшее лицо ее выражало такую растерянность, что я пожалел эту обессиленную женщину, и гнев мой смягчился. Но я нахожусь в состоянии постоянного раздражения, оттого что мои житейские невзгоды никак не идут на убыль [...] Когда Жанна хочет видеть меня, она заходит в мою комнату. А ее брат от нее не вылезает. Если я решу уехать из Парижа, он своей больной сестре явно не поможет. А ведь в прошлом я часто и не без оснований обвинял себя в чудовищном эгоизме. Но, право же, мой эгоизм никогда не был так жесток».

Вскоре Бодлер, потеряв всякое терпение, покинул квартиру в Нёйи и вернулся в гостиницу «Дьеп». Оттуда он писал Пуле-Маласси: «Я убежал из Нёйи, чтобы сохранить собственное достоинство, не желая больше оставаться в смешном и даже позорном положении. На протяжении двадцати пяти дней я имел дело с человеком, проводившим все время в комнате своей сестры [...], мешая мне получать единственное удовольствие — беседовать со старой, больной женщиной [...] Мне пришлось жить с этим типом и несчастной слабоумной женщиной. Я сбежал и до сих пор не могу успокоиться от возмущения. Голова у меня сейчас, как ватная, и, хотите верьте, хотите нет, но мне уже тяжело писать час подряд». Оставив Жанну с ее братом, который, возможно, вовсе и не брат, а бывший

любовник, Шарль не торопится увидеть ее вновь. Вскоре он узнал, что состояние больной ухудшилось и ее опять поместили в больницу. По-видимому, инициатива этого срочного перемещения принадлежала брату. В отсутствие Жанны он поспешно распродав часть мебели и одежды несчастной женщины. Когда она вернулась из больницы, брат исчез, а квартира заметно опустела.

Несмотря на эти неприятности, Бодлер все равно не покинул Жанну. В частности, на Рождество 1861 года он писал матери об этой «все еще больной женщине, которую надо поддерживать и утешать» и которой он сумел бы без труда давать немного денег, если бы мог откладывать что-то, живя не в Париже. Каролине пришлось смириться: у Шарля в жизни есть две подруги, одна — белая, другая — черная, одна — мать, другая — любовница, одна — пожилая, берегущая деньги, другая — больная, тратящая их. Обе они его мучают, каждая по-своему, но обе ему необходимы. Он не может выбрать одну из них, считает обеих виновными в нарушении его покоя и вместе с тем получает извращенное удовольствие от этой смеси жалости, бунта и бессилия.

## Глава XVIII. НОВЫЕ «ЦВЕТЫ»

Первого января 1860 года Пуле-Маласси и де Бруаз подписали с Бодлером договор о переиздании «Цветов зла», предусматривавший тираж в 1500 экземпляров. Была также оговорена публикация отдельным томом «Искусственного рая» и двух сборников критических статей под названиями «Литературные мнения» и «Эстетические диковины». Во второе издание «Цветов зла» не могли войти шесть стихотворений, запрещенных решением суда, но оно обогащалось новыми стихами, написанными после суда и уже опубликованными в различных журналах. За эти четыре тома автор должен был получить «300 франков за каждый том, выплачиваемые в следующем порядке: половина — при сдаче рукописи каждого тома, другая половина — при подписании „в печать“ последнего листа». Но поскольку он уже получил в виде аванса 250 франков, а издатели были ему должны 30 франков за брошюру о Теофиле Готье, то гонорар в итоге составлял 980 франков. В конце того же года Пуле-Маласси открыл еще один книжный магазин на углу пассажа Мирес<sup>[58]</sup> и улицы Ришелье. Под потолком приемной висят портреты в медальонах некоторых авторов издательства. Среди них: Шарль Монселе, Виктор Гюго, Теофиль Готье, Шанфлёр, Теодор де Банвиль, Бабу, Асселино, Шарль Бодлер... Этот последний, возвышаясь над полками книг, смотрел на посетителей беспокоящим взглядом. Портрет был написан Александром Лафоном, учеником Энгра, с фотографии Надара. «Волевое лицо, с глубокими морщинами в углах губ и возле глаз, — вспоминал современник, — гладкий подбородок, щеки с легким румянцем, лысеющий лоб, длинные и волнистые волосы, откинутае назад.

Пугающее лицо не то трагического актера, не то какого-нибудь сатанинского служителя. Высокомерное выражение усиливается остро опущенными углами губ, а также ироничным, пристальным взглядом широко открытых глаз. Голова почти в натуральную величину выделяется на зеленоватом фоне, который еще больше подчеркивает волнующую печаль»<sup>[59]</sup>.

Очевидно, Бодлеру нравился этот портрет, призванный утверждать посетителей книжного магазина в мысли о демоническом характере его творчества. В новых стихах, посылаемых Пуле-Маласси по мере их написания, он умудрялся добиваться еще большей выразительности и еще сильнее сгущать краски. Начиная эту работу, он намеревался лишь дополнить сборник, изуродованный по требованию суда изъятием полдюжины стихотворений. Однако уже 5 ноября 1858 года, посылая Пуле-Маласси «Одержимого» («Я вопию к тебе, мой бог, мой Вельзевул!»), он писал: «Я начинаю думать, что пришлю Вам не шесть *цветов*, а целых двадцать». И вот на свет появились «Скелет-землероб» («На погосте или в склепе могильный сон не так глубок»), «Наваждение» («Затем, что пустоты и тьмы ищу кругом»), «Лебедь» («Да и ты, негритянка, больная чахоткой») — самый, возможно, волнующий и тревожащий из его призывов к жалости по отношению к человечеству, замученному Создателем. Посылая эти стихи Виктору Гюго, он объяснял свою цель: «Для меня было важно быстро сказать, как много разных мыслей может внушить всего одно какое-нибудь событие, всего один образ, и как вид страдающего существа [лебедя] заставляет нас вспомнить обо всех любимых нами отсутствующих и страдающих людях и животных, обо всех тех, кто лишен чего-то, безвозвратно ушедшего».

Из ссылки Виктор Гюго наставительно ответил: «Как все, что Вы делаете, сударь, ваш „Лебедь“ — это идея.

[...] Благодарю Вас за эти строфы, такие проникновенные и такие сильные». Двумя месяцами ранее тот же Виктор Гюго поздравил его в связи с «Семью стариками» и «Старушками» в еще более ярких выражениях: «Что вы делаете? Вы шагаете. Вы идете вперед. Вы зажигаете на небосводе искусств ка-кой-то новый, мрачный луч. Вы творите новый трепет».

После такого поощрения Бодлер продолжил составление букета будущих «Цветов зла». Договор от 1 января 1860 года уже предусматривал «двадцать новых стихотворений». А 13 марта Бодлер сообщил Пуле-Маласси: «Вот еще стихи [„Мечта любознательного“ и „Парижский сон“]. Так что теперь уже есть двадцать пять произведений, не считая трех начатых стихов». На самом же деле, постоянно добавляя, он довел число неизданных стихотворений, вошедших в доработанный сборник «Цветы зла», до тридцати пяти. Бодлер, нетерпеливый автор, уже тревожился о том, как обставить выход сборника в свет: «Надо будет об афишах подумать [...], об оповещениях и рекламе. *Если находите меня слишком требовательным и боитесь Де Бруаза, я добавлю своих денег.* Весьма и весьма непопулярная природа моего таланта не позволяет мне пренебрегать грубыми методами (цитированием в прессе за несколько дней до начала продажи, афишами, объявлениями и рекламой во время продажи) [...] Я предполагаю, что оформительские украшения и фронтиспис у г-на Бракмона уже закончены. Довольны ли Вы и могу ли я быть доволен?»

В отношении этого фронтисписа Бодлер первоначально хотел, чтобы художник почерпнул вдохновение в гравюре XVI века, изображавшей некий «древовидный скелет», распускающийся странной листвой и прикрывающий своими раскидистыми ветвями «несколько рядов ядовитых растений в горшочках, расставленных, как в теплице у садовника».

Идея эта пришла ему в голову, когда он перелистывал «Очерк о танцах мертвецов» Эсташа-Иасента Ланглуа. Желая облегчить работу Феликса Бракмона, Пуле-Маласси послал ему кальку-копию гравюры, так понравившейся поэту. После двух неудачных попыток Бракмон представил Бодлеру законченный, по его словам, офорт. Но тот остался недоволен: это вовсе не то, чего он хотел: офорт искажает смысл сборника, вместо того чтобы его символизировать. Не решаясь прямо высказать художнику свое мнение, он пожаловался Пуле-Маласси: «Вот какую чепуху наделал Бракмон. Я ему сказал, что это хорошо. Я просто не знал, что ему сказать, до того был удивлен. Этот скелет *шагает, опираясь на целый веер ветвей, вылезающих у него из ребер*, вместо того чтобы *вылезать из рук*. Стоило снимать кальку с офорта Ланглуа! Я никак не могу допустить, чтобы так это и вышло, и если я доставляю Вам слишком много огорчений, как ребенку, который хочет съесть то, за что заплатил, то постараюсь Вас утешить и возместить так или иначе нанесенный ущерб». Не доверяя больше вкусу и таланту Бракмона, Бодлер теперь потребовал, чтобы на фронтисписе «Цветов зла» была просто воспроизведена старинная гравюра, найденная им в книге Ланглуа о танцах мертвецов. Но затем и эта идея была отвергнута и аллегорический фронтиспис заменен портретом самого Бодлера, выполненным Бракмоном в технике офорта по фотографии Надара.

Книга еще не вышла, а Бодлер уже писал матери: «„Цветы зла“ закончены. Сейчас делаются обложка и портрет. В сборник вошли тридцать пять новых стихотворений, а все старые были тщательно переработаны. Впервые в жизни я почти доволен. Книга *почти хорошая*, и она останется, эта книга, свидетельством моего отвращения и ненависти ко всему».

И все же порой он спрашивал себя: не перегнул ли он — уже в который раз — палку в своих демонических проклятиях. Не уцепятся ли власти снова за какое-нибудь несоответствие общепринятой морали, чтобы осудить также и эти, новые «Цветы»? Но ведь годом раньше прошел было слух, что он может получить (за какие заслуги?) орден Почетного легиона. Одна эта мысль выводила его из себя. Коллекционировать кресты и медали — это же удел Опики! Для него единственной наградой может быть только творчество. «Тут еще поговаривали об этом смехотворном ордене, — писал он матери 11 октября 1860 года. — Надеюсь, мое предисловие к „Цветам“ сделает подобное событие на веки веков невозможным. Кстати, я прямо ответил тому из моих друзей, кто первым сказал мне об этом: „Лет двадцать назад (понимаю, что звучит абсурдно) это было бы хорошо! А сегодня я хочу быть *исключением*. Пусть наградят всех французов, кроме меня. Я никогда не изменю ни свои взгляды, ни свой стиль. Вместо ордена дали бы мне *денег*, денег и только денег. Если орден стоит 500 франков, пусть мне дадут 500 франков, если он стоит только 20 франков, пусть дадут 20“. Одним словом, хамам я ответил *по-хамски*. Чем несчастнее я становлюсь, тем больше у меня гордыни».

С какой радостью встретила бы мадам Опик весть о награждении ее сына орденом Почетного легиона! Наконец-то, подумала бы она, он выходит на путь истинный, каким шел его отчим. Но вместо этой прекрасной новости Каролина получает проклятую книжку, и она, увы, представляет собой второй вариант «Цветов зла». Перелистав ее, Каролина констатировала, что в этом издании сын усугубил свою вину перед церковью и обществом. Но хуже всего то, что, исполненный благих намерений, он отправил книгу также и аббату Жану-Батисту Кардину, священнику церкви Святой Екатерины Онфлёрской. Почтенный

священнослужитель, прочитав книгу, решил сжечь ее немедленно, чтобы дьявол не поселился в его доме. Перепуганная Каролина написала сыну о своих впечатлениях и о впечатлении своего духовника от святотатственного произведения, которое он посмел сочинить. Уязвленный ограниченностью своей матушки, Бодлер возмутился. «Ты всегда готова бросать в меня камни вместе с толпой, — ответил он ей 1 апреля 1861 года. — Причем началось это, ты сама знаешь, еще во времена моего детства. И как тебе удастся всегда быть для своего сына во всем, за исключением денежных вопросов, не другом, а противоположностью друга. Причем ты согласна полностью брать на себя тяжесть решения этих денежных вопросов — тут как раз и проявляется весь твой характер, абсурдный и щедрый одновременно. Я специально для тебя пометил в оглавлении все новые стихи. Нетрудно было убедиться, что все они обрамляют старые произведения. Это книга, над которой я работал двадцать лет, а к тому же, даже если бы я и захотел, я *не могу ее не переиздать*».

Ну а про аббата, устроившего очистительное аутодафе, Бодлер написал: «Что же касается г-на Кардина, то это тяжелый случай, но в каком-то смысле совсем иной, чем ты думаешь. Невзгод мне и так хватает — я не хочу, чтобы еще и какой-то священник боролся против меня в голове моей старой матери, и я улажу это, если смогу, если будут силы. Поведение этого человека чудовищно и необъяснимо. Сейчас уже никто не сжигает книги, кроме разве что сумасшедших, которые любят смотреть, как горит бумага. А я-то, дурак, лишил себя ценного экземпляра лишь для того, чтобы сделать ему приятное, — ведь я отдал ему книгу, которую он просил у меня уже три года! При том, что у меня нет экземпляров даже для друзей! Вечно ты ставила меня на колени перед кем-нибудь. Раньше — перед г-ном Эмоном. Вспомни. Теперь — перед



священником, у которого не хватило даже деликатности скрыть от тебя неприятную тебе мысль. И, наконец, он даже не понял, что вся книга исходит из католической идеи! Но это уже соображение иного порядка».

Не для того ли, чтобы наказать мать за непонимание, вспомнил он вновь про не раз возникавшее у него желание покончить с собой? Поскольку Каролина обидела его, критикуя написанные им стихи, он как бы получил право помучить мать в ее комфортабельном уединении в Онфлёре, опять сообщая, что жизнь ему недорога. С чисто сыновней жестокостью он написал в том же письме: «Когда я пребывал в ужасном состоянии духовной опустошенности и ипохондрии, меня не раз посещала мысль о самоубийстве; сейчас, когда все прошло, я могу сказать, что мысль эта преследовала меня в любое время дня. Я видел в этом полное освобождение, освобождение ото всего. Тогда же, *причем на протяжении трех месяцев*, каким бы противоречием это ни выглядело, хотя противоречие тут лишь кажущееся, я молился! *И днем, и ночью* (кому молился? какому существу? — не имею ни малейшего представления) умолял только о двух вещах: мне — дать силы жить, а тебе — долгих-долгих лет жизни».

Дальше он уточнял, что ему захотелось задержаться на этом свете еще на некоторое время лишь по двум причинам: для того чтобы составить для матери точный список своих долгов, а также, чтобы издать сборник критических статей и «большую книгу, — писал он, — о которой я мечтаю вот уже два года, книгу „Мое обнаженное сердце“, в которой я выплесну весь накопившийся во мне гнев. О, если когда-нибудь такая книга будет опубликована, она затмит „Исповедь“ Жан-Жака [Руссо]». Таким образом, писатель в нем поддерживал человека.

Через месяц мрачное настроение вновь завладело им: «Всякий раз, когда я беру в руки перо, чтобы изложить тебе, в каком положении я нахожусь, мне становится страшно, я боюсь тебя убить, разрушить твое слабое тело. А я постоянно нахожусь, хотя ты об этом даже не догадываешься, на грани самоубийства. Думаю, что ты меня безумно любишь; при таком слепом рассудке у тебя такой сильный характер! Я же тебя страстно любил в детстве, а потом, из-за твоей несправедливости, во мне стало меньше почтительности к тебе, как будто материнская несправедливость дает сыну право не почитать собственную мать [...]. Конечно, мы с тобой созданы, чтобы любить друг друга, жить друг для друга и закончить свою жизнь как можно более кротко и как можно более честно. И тем не менее в тех ужасных условиях, в которых я оказался, я уверен, что один из нас убьет другого и что в конце концов мы взаимно убьем друг друга. После моей смерти ты долго не проживешь, это ясно. Я единственное существо, которое заставляет тебя жить. А после твоей смерти, особенно если ты умрешь от причиненного мною потрясения, я себя убью, это несомненно [...]. Чтобы я убил себя? Это же абсурдно, не правда ли? „Ты хочешь оставить свою старую мамочку совсем одну?“ — скажешь ты. Право же, может, я, строго говоря, и не имею права так поступать, но *за почти тридцать лет* я пережил столько горя, что это будет моим оправданием. „А Бог!“ — скажешь ты. Я всей душой хочу верить (настолько искренне, что никто кроме меня и не догадывается!), что некое внешнее и невидимое существо интересуется моей судьбой, но как сделать, чтобы поверить в это?»

Читая эти наполненные смятением строки, Каролина предположила, что со времени публикации первых «Цветов зла» у ее сына несколько изменилось

отношение к Богу, что бунт и гордыня уступили место беспокойным вопросам, что Шарль догадывается о существовании высшей и неизмеримой тайны и даже чувствует вокруг себя ее трепет, но его не устраивают упрощенные догматические объяснения, что он хотел бы верить, но ему мешает рассудок, что сердце влечет его к вере, а рассудок удерживает, что он завидует верующим, которые не задаются вопросами, что, подобно страждущим от жажды, он тянется к чаше, а ее у него отнимают. Даже его полная святотатства книга стала теперь казаться ей христианской книгой. Мол, разве не служит он Господу, даже когда пишет о Сатане? Только глупцы вроде аббата Кар-дина не понимают этого, а настоящие католики знают, что дьявол идет за ними по пятам и даже порой, на пути к Откровению, идет впереди них.

Еще за несколько дней до публикации книги Бодлер испытывал страх перед реакцией властей. Однако после того, как со сборником ознакомился генеральный императорский прокурор Парижского суда, министр юстиции решил не возбуждать дела против второго издания «Цветов зла», поскольку это могло послужить для автора «лишней рекламой». И действительно, вышедшая в новом варианте без судебной шумихи книга не вызвала у публики никакого интереса. В прессе появились уклончивые или враждебные отклики. Журнал «Ревю анекдотик» утверждал: «Отныне странность приобрела своего поэта»; в «Фигаро» Альфонс Дюшен упрекал автора, не отрицая его талант, в том, что тот смакует «непристойную смесь языческой испорченности с утрированной католической суровостью». Эжен Морэ в «Козри» заявлял, что «еще никогда более неистовый человек не воспевал более пустые вещи более невозможным языком». И добавлял: «Как жаль, что г-н Бодлер не хочет принимать себя всерьез. Правда, говоря между нами, это нелегкое

дело». И вот Пормартен заканчивал свою статью в «Ревю де Дё Монд» таким ироническим вопросом: «Что стало бы с обществом, что стало бы с литературой, которые признали бы г-на Шарля Бодлера своим поэтом?» Правда, в «Ревю эропеен» за 1 декабря 1861 года появилась хвалебная статья Леконта де Лиля, но в данном случае речь шла о простом обмене любезностями: накануне Бодлер опубликовал очень теплую заметку об авторе «Варварских стихотворений». Так что гордиться было нечем! А ведь в это же самое время Мистраль, «поэт, пишущий на местном наречии», получил поздравления от Барбе д'Оревилли за «Мирей», сентиментальную эпическую поэму из сельской жизни. «Этот автор тарабарщины — звезда сегодняшнего дня», — возмущался Бодлер. И лишь несколько месяцев спустя — в виде своего рода компенсации — он прочел в журнале «Спектейтор» восторженный отзыв о «Цветах зла» английского писателя Суинберна.

«Искусственный рай», поступивший в продажу годом раньше, привлек к себе внимание читателей не больше, чем «Цветы зла». Это произведение, посвященное анализу воздействия некоторых наркотиков на мозг человека, удивляет своим классически назидательным тоном. В первой части, «Поэма о гашише», автор объясняет, что употребление «зеленого варенья» втягивает человека в некое безудержное веселье, вскоре сменяющееся приятным оцепенением, а затем — лихорадочной активностью воображения, позволяющей этому же человеку прожить несколько жизней за час, после чего он изнемогает, чувствует себя разбитым, плавающим в каком-то тумане, не зная, кто он такой и чего хочет. Вторая часть — «Опиоман» — описывает наслаждение от опиума, рассматриваемое сквозь призму статьи «Исповедь англичанина-опиомана» Томаса Де Куинси. Это — не пересказ, а оригинальное произведение, хотя в нем и

присутствуют многочисленные цитаты, совпадающие с мнением самого Бодлера. Великолепный, кристально чистый текст местами принимает форму стихотворения в прозе. Финал этого совершенного с ясной головой путешествия в царство галлюцинаций таков: писателю дозвоительно прибегать к наркотикам лишь в те моменты, когда его подводит вдохновение. Перечитав свою книгу, Бодлер остался доволен. Обсуждая с издателем Мишелем Леви вопрос о ее переиздании, он сказал: «Менять ничего не надо, книга хороша как есть».

Иным было мнение широкого круга читателей, которые явно не клевали на наживку причудливости. Если в массах читателей Бодлер не получил поддержки, то многие молодые писатели выразили Бодлеру симпатию. Они смутно чувствовали, что этот странный тип, болезненный, ворчливый, с дерзким взглядом и резким голосом, держит в руках ключи от того мира, куда непременно устремится поэзия завтрашнего дня. Для них он был первопроходчиком нового искусства, построенного на точности, горечи и мрачности. Их звали: Анри Кантель, Альбер Глатиньи, Альбер Мера, Леон Кладель... Как правило, Бодлер встречался с ними в разных кафе, где он порой подолгу работал. Чтобы выразить свои мысли и образы, ему нужны были только бумага и перо. Когда Фелисьен Ропс искренне удивился в связи с тем, что Бодлер не пользуется никакими словарями, тот решительно заявил: «Человек, ищущий слово в словаре, подобен новобранцу, который начинает искать патрон в патронной сумке, когда слышит команду „Огонь!“». Фелибер Одебран так однажды описал Бодлера, сидящего за столиком в кафе «Робеспьер», неподалеку от Итальянского театра: «Постаревший, увядший, потяжелевший, хотя прежде был всегда худощавым, эксцентричным, поседевший, неизменно гладко выбритый, он больше походил на

священника из церкви Сен-Сюльпис, чем на поэта, воспевающего демонические наслаждения. Не утративший привычку изображать из себя мизантропа, он садился за столик один, заказывал кружку пива, набивал трубку табаком и курил, не произнеся ни слова за весь вечер. Но поскольку у него уже появились поклонники из числа молодых людей, обретающихся в пассаже Шуазель, порой к нему торжественно приближался какой-нибудь неофит и либо начинал обхаживать его, либо читал свои собственные стихи». Перед этими почтительными собеседниками Бодлер хранил загадочный и важный вид. Когда один из них захотел показать ему номер «Фигаро», где речь шла о нем, он процедил сквозь зубы: «Сударь! Кто просил вас разворачивать эту бумагу? Знайте, что я никогда не смотрю на эту грязь». Другой очевидец, Шарль Ириарт, высказывался в том же духе: «В нем уживались священник и художник, и еще нечто странное и необъяснимое, как-то связанное с его талантом и экстравагантными привычками его жизни». Временами этот величественный посетитель кафе с повадками священнослужителя вставал с банкетки и шел к бильярду сыграть партию, «держа кий кончиками пальцев, как писчее перо, и приподнимая то и дело свои муслиновые манжеты». Когда ему удавалась трудная игра карамболом, он был счастлив не меньше, чем если бы написал прекрасное стихотворение.

Иногда по вечерам он ходил также в казино «Каде», известное малопрстойными танцами, канканом и назойливыми проститутками. Чаще всего его спутниками были Шанфлёр и Константен Гис. Он бродил там с мрачным видом, среди разгоряченных девиц и игривых участников ужина. Играла оглушительная музыка, юбки взлетали выше колен, у всех был жизнерадостный вид, все спешили насладиться жизнью, — все, кроме этого никогда не

улыбавшегося гостя в черном, с глазами убийцы. Случайно встретив его в толпе веселящихся, Шарль Монселе спросил: «Что вы тут делаете, Бодлер?» Тот невозмутимо ответил: «Дорогой друг, я рассматриваю окружающие меня черепа».

Это не мешало ему время от времени «снимать» какую-нибудь из девиц. В своей записной книжке он аккуратно записывал адреса тех дам, что предоставляли кратковременные утехы. Целая лавина всяких Аделей, Адриенн, Луиз, Фанни, Клеманс, Маргерит... — избранниц на одну ночь. Впрочем, на страничке, посвященной Агате, мы видим уточнения: «Прическа, как у маленькой девочки, ниспадающие на спину кудрявые волосы. Макияж. Брови, ресницы, губы. Помада, белила, мушки. Сережки, ожерелья, браслеты, кольца. Декольтированное платье, обнаженные руки. Никакого кринолина. Ажурные шелковые чулки, черные, если платье черное или коричневое. Розовые, если платье светлое. Туфли очень открытые. Пикантные подвязки. Ванна. Руки и ноги очень ухоженные. Все тело надушено. Из-за прически — накидка на вечернее платье с капюшоном, если выезжаем. *Простыни чистые*». А вот другая запись по поводу такой же эфемерной добычи: «Выглядывающая из-под платья рубашка. Тяжелая, свисающая грудь. Прежде всего моральный аспект. Сплошное уныние. Плечи, как у Мессалины. Страшные, зловещие куклы». В записной книжке воспоминания о любовных встречах соседствуют с подсчетами расходов, заметками о литературных планах, предстоящих визитах и письмах, которые следует написать. Среди всей этой повседневной суеты — горделивый крик: «Быть величайшим из людей. Говорить себе это постоянно».

Эту же мысль Бодлер повторяет в работе «Мое обнаженное сердце»: «*Прежде всего быть великим человеком и Святым для себя самого*». Далее он

настаивает в молитве, обращенной к Господу: «Не наказывай меня в матери моей и не наказывай мать из-за меня. Молю Тебя за души отца моего и Мариетты<sup>[60]</sup>. Дай мне силы незамедлительно исполнять мой каждодневный долг и стать, таким образом, героем и Святым». Он повторил это кредо и в другой части «Личных дневников» под названием «Гигиена»: «Клянусь самому себе принять отныне следующие правила в качестве вечных правил на всю мою жизнь: *Каждое утро молиться Богу, вместилищу всякой силы и справедливости, молиться отцу моему, Мариетте и Эдгару По*, моим заступникам; просить их дать мне силы, чтобы мог я выполнить мой долг, и дать матери моей *жизнь достаточно долгую*, чтобы она порадовалась моему превращению; работать весь день или хотя бы *столько, сколько позволяют мне мои силы*; полагаться на Господа, то есть на саму Справедливость, чтобы планы мои исполнились; каждый вечер совершать новую молитву, чтобы испросить у Господа жизнь и силу для матери моей и для себя».

Однако этот мистический порыв, эта почти монашеская дисциплина прекрасно уживались в Бодлере с аномальным поведением, осуждаемым религиозной моралью. Он хотел верить в Бога и пребывать в грехе. Как он считал, настоящий человек — такой, каким задумал его Бог, — с неизбежностью соединяет в себе небеса и грязь. «В человеке, — писал он, — в любой момент сосуществуют одновременно два устремления: одно — к Богу, другое — к Сатане. Призыв к Богу, или духовность, — это воспарение, желание подняться ввысь; призыв же к Сатане, или животное начало, — это радость падения. К этой последней должны быть отнесены и любовь к женщине, и общение с животными, собаками, кошками и т. д. Радости,



проистекающие от этих двух любовей, соответствуют природе этих любовей».

Бодлер испытал «радость падения», в частности, благодаря некой Луизе Вильдьё, «дешевой шлюхе», отправившейся с ним в Лувр, где она никогда прежде не была и где, как он пишет, «стала краснеть, закрывать лицо руками, дергать меня то и дело за рукав, спрашивая перед бессмертными статуями и картинами, как можно выставлять напоказ подобные неприличные вещи». Фигурируют в списке Бодлера еще некая связанная с театральным миром Берта, какие-то неизвестные дамы, быстро промелькнувшие, оставившие лишь свои имена. Однако там нет ни одной юной девушки. Шарль всегда испытывал презрение к этим «молокососкам», специально выращиваемым для замужества и продления рода человеческого. Впрочем, даже позволь он соблазнить себя подобному существу, сифилис заставил бы его отказаться от естественного желания создать семейный очаг. В конце концов он стал думать, что эта болезнь, считающаяся позорной, предоохранила его от еще более позорного недуга — от состояния мужчины, связанного супружескими привычками. «Ведь девица, в сущности, что такое девица? — писал Бодлер. — Это дурочка и маленькая мерзавка; сочетание самой большой глупости с самой большой развращенностью. В девице сидят вся гнусность хулигана и вся гнусность школьника». Впрочем, женщина ненамного лучше: «Женщина не умеет отделить душу от тела. Она проста, как животное. Сатирик сказал бы, что это потому, что у нее есть только тело». В 1862 году лишь две женщины избежали такого обвинения со стороны Бодлера: его мать и Жанна, помещенные в царство мифов.

В том же году Жанна, хотя и больная, позировала Мане. На картине, которой потом дали название «Любовница Бодлера», изображена мулатка в летнем

платье с перемежающимися широкими лиловыми и белыми полосами. На поблекшем ее лице застыло трагическое выражение. От него веет непреклонностью, глупостью и гордостью... Зная об искреннем восхищении Бодлера его творчеством, художник запечатлел однажды и поэта — на втором плане групповой картины «Музыка в Тюильри». Бодлер изображен на полотне в профиль в широкополом шелковом цилиндре. Он явно приделся в самое лучшее, что у него было, как того захотел художник. Мане тогда уже сильно потеснил Делакруа в сердце Бодлера. Но он по-прежнему продолжал расхваливать последнего в своих статьях и, в частности, приветствовал появление «Сарданапала», роскошный сумбур красок которого вполне отвечал безумным мечтаниям романтической молодежи. Но 13 августа 1863 года Делакруа умер от воспаления легких, проболев три недели... Поздно узнав об этом, Бодлер кинулся на улицу Фюрстенберг, где художник поселился пятью годами раньше. Гроб с телом покойного выставили в мастерской. Посетители молча проходили, прощаясь. Последние картины мастера участвовали в траурном бдении. Женни, верная служанка, заботившаяся о нем на протяжении двадцати восьми лет и ограждавшая хозяина от надоедливых непрошенных гостей, теперь не мешала людям отдать последний долг. Бодлер пробыл там до позднего вечера, рядом со старушкой, вспоминая шепотом какие-то эпизоды, а может быть, творя молитву, по-своему... В понедельник, 17 августа, Делакруа отпевали в церкви Сен-Жермен-де-Пре. Служба началась в полдень. Все было очень официально, очень торжественно. Присутствовали различные делегации. На площади выстроились национальные гвардейцы с барабанами, отдавая последние почести. Затем утопавший в венках катафалк направился к кладбищу Пер-Лашез.

Затерявшись в толпе зевак, едва не касаясь друг друга локтями, шли двое мужчин и вспоминали ничем внешне не выделявшегося человека, осторожного и болезненного, одержимого мечтателя. Эти двое были Мане и Бодлер.

Шарлю хотелось любой ценой почтить память своего кумира серией блестящих статей. Ему удалось опубликовать три из них под общим названием «Творчество и жизнь Эжена Делакруа» в журнале «Опиньон насьональ». Правда, в рубрике «Разное». Две первые были напечатаны 2 и 14 сентября. После чего прошли недели, а третья все не появлялась. Главный редактор Адольф Геру счел, что столь пышный панегирик может наскучить читателям. Наконец он сдался, и последние главы были напечатаны в «Опиньон насьональ» 22 ноября 1863 года, через долгие три месяца после кончины художника<sup>[61]</sup>. Дань уважения Бодлера гению Делакруа тем более похвальна, что поэт много лет терзался безразличием к нему со стороны художника. Резюмируя свое восторженное отношение к живописцу, Бодлер утверждал: «У Фландрии есть Рубенс, у Италии — Рафаэль и Веронезе, а у Франции — Лебрен, Давид и Делакруа».

Бодлер и сам теперь стал объектом поклонения; его обожатели кричали ему в лицо, что он сделал их счастливыми. Пожалуй, самым преданным из них был юный Огюст Вилье де Лиль-Адан, недавно опубликовавший сборник вполне достойных стихов, правда, не имевших успеха. Весной 1861 года, прочитав «Цветы зла», он писал автору: «По вечерам открываю Вашу книгу и перечитываю великолепные стихи, в которых каждое слово — едкая насмешка, и чем больше я их перечитываю, тем больше нахожу, что надо перестроить свою жизнь. Как это прекрасно, то, что вы

делаете!.. Все это, право, так величественно. Рано или поздно люди признают человечность и значение этих стихов, непременно. [...] Но что за похвала смех тех, кто не умеет уважать!» Музыкант-любитель Вилье де Лиль-Адан сочинил музыку к стихотворению «Смерть любовников». Как-то вечером он пропел эти стихи на свою музыку поэту Эмилю Блемону, который заметил: «Никогда еще я не слышал ничего более убаюкивающего, более болезненного, более легкого и воздушного, чем этот прекрасный сонет, положенный на такую простую и прекрасную музыку». Очарованный талантом своего ученика, Бодлер задумал написать вместе с ним одноактную пьесу, своеобразную инсценировку стихотворения «Хмель убийцы». Но очень скоро отказался от этого театрального проекта — так же, как и от всех предыдущих.

Его увлекла другая идея. Понимая, что в традиционной поэзии ему уже не создать ничего лучше «Цветов зла», он захотел попробовать свои силы в бескрайнем океане стихотворений в прозе. В письме-предисловии Арсену Уссе, который вел литературную рубрику в газете «Пресс», Бодлер написал, что он надеется изобрести новую форму, «поэтическую прозу, музыкальную, хотя и лишенную ритма и рифмы, достаточно гибкую и достаточно свободную, чтобы приспособиться к лирическим порывам души, к волнообразным движениям мечты, к капризам сознания». Дальше он добавлял: «Этот мой навязчивый план подсказала мне жизнь в огромном городе с его пересечением бесчисленных разного рода взаимоотношений». Издатель Этзель был готов опубликовать отдельной книжкой эти «стихи в прозе» под заголовком «Парижский сплин». Но Арсен Уссе, думавший о благонамеренных читателях своей газеты, не спешил пуститься в авантюру. Тогда, чтобы подтолкнуть его, Этзель написал ему: «Нет такой

газеты, которая могла бы заставить ждать этого странного классика неклассических вещей».

Подстегнутый таким образом, Уссе решился опубликовать в «Прессе» за 26, 27 августа и 24 сентября 1862 года двадцать небольших прозаических текстов с примечанием «продолжение в ближайших номерах». Но никакого продолжения не последовало, так как Уссе узнал, что из двадцати якобы не издававшихся ранее текстов шесть уже были в 1861 году опубликованы в журнале «Ревю фантезист». Причем три из них еще раньше, в 1857 году, попали в журнал «Презан». Уссе, разъяренный, потребовал у Бодлера объяснений, а тот стал неумело оправдываться, говоря, что, во-первых, «Ревю фантезист» — никому не известное издание, во-вторых, многие отрывки были сильно переделаны им и могут считаться новыми произведениями и, в-третьих, автор хотел дать читателю общее представление о книге. *«Мне следовало бы посоветоваться с вами лично, — признал он, — и поэтому я должен принести Вам, только Вам свои извинения».* К сожалению, Уссе прослышал, что Бодлер не впервые проделывал такого рода штуки. И, несмотря на извинения поэта, публикация стихотворений в прозе прекратилась.

Раздосадованный Бодлер обратился к Этзелю и 13 января 1863 года подписал с ним договор, на пять лет уступая ему право на «Стихотворения в прозе» («Парижский сплин») и на третье издание «Цветов зла», по 600 франков за каждую книгу. По небрежности или из тактических соображений он не предупредил Пуле-Маласси об этом новом договоре. Еще один не вполне корректный поступок автора, обычно любившего рассуждать о честности в делах. 9 марта 1863 года Этзель запросил рукопись, чтобы сдать «Парижский сплин» в набор. Но теперь Бодлер уже не спешил. Он ответил, что тексты еще не совсем готовы: «По правде

говоря, я недоволен книгой и поэтому переделываю ее и *перелопачиваю* [...] Судя по состоянию моих нервов, не смогу сдать ее раньше, чем 10 или 15 апреля. Зато могу гарантировать, что книга получится *оригинальная и легко продаваемая*». В конечном счете, ни Этзель, ни Пуле-Маласси — вскоре разорившийся — так и не смогли опубликовать «Парижский сплин». Бодлер держал рукопись несколько лет под рукой, до самого конца своих дней все дорабатывая, все расширяя.

Книга эта явно уступает по качеству «Цветам зла». Что-то написано великолепно, магия срабатывает, но там, где проза подавляет поэзию, получились простые, вполне заурядные, лишенные очарования новеллы. Что же превращает заклинания Бодлера в банальные рассказы: недостаточная лаконичность некоторых произведений или выбранный автором повествовательный стиль? И «Героическая смерть», и «Великодушный игрок», и «Веревка», и «Мадемуазель Бистури» представляют собой не что иное, как образчики элегантной прозы. Фразы, «лишенные ритма и рифмы», утратили музыкальность и загадочность. При том, что все навязчивые темы Бодлера налицо. Но в «Цветах зла» они выглядят священно-величественными, а в «Парижском сплине», смешавшиеся с уличным шумом, рассеявшиеся в парижском тумане, они словно утратили свой зловещий смысл. Боль здесь более повседневна, не столь убийственна, рок не так тяжело давит на плечи людей. Тоска уступила место неприятностям.

После разрыва с Уссе Бодлер предлагал свои стихи в прозе журналам, и те неохотно, но публиковали их. Однако поэт оставил за собой право рассказать о своих переживаниях того времени в «Моем обнаженном сердце». Этот сборник заметок вместе с «Ракетами», «Гигиеной» и «Записной книжкой» представляет собой совокупность личных дневников, в которых автор

изливал свою ненависть и свое возмущение, рассказывал о своей печали, своей вере, о преследовавшем его страхе смерти, о своей надежде на Бога. Крайняя резкость его исповедей, их отрывистость свидетельствуют о лихорадочном возбуждении Бодлера, склонявшегося вечерами над рукописью. В комнате при свете свечи, в одиночестве он вверял бумаге свое презрение к женщинам, к ордену Почетного легиона, к демократии, к Наполеону III, к Жорж Санд, к Виктору Гюго... Он записывал вперемешку: «Чем больше человек занимается искусством, тем хуже работает его детородный орган». «Великие люди появляются только вопреки воле своей нации». «Любовь — это преступление, в котором невозможно обойтись без соучастника». «Не будучи в силах запретить любовь, Церковь решила хотя бы обеззаразить ее и придумала брак». «Мне во Франции тоскливо главным образом потому, что все здесь похоже на Вольтера». Бодлер настолько увлекся этим выстраиванием необычных мыслей, что готов был признать «Мое обнаженное сердце» основным своим произведением. Каждый день он повторял себе, что ему нужно уехать в Онфлёр и спокойно поработать там рядом с матерью. И каждый день он откладывал это необходимое и доброе дело. Он писал в «Гигиене»: «Ехать в Онфлёр! Как можно скорее, пока я не упал еще ниже. Сколько уже было предчувствий и знаков, поданных Богом, что *давно пора* действовать, считать каждую минуту самой важной из минут и превращать мое обычное мучение, то есть Работу, в *постоянное наслаждение*».

Одним из «знаков, поданных Богом», Бодлер считал теперь и кончину своего сводного брата: Альфонс умер от кровоизлияния в мозг 14 апреля 1862 года. Шарль не испытывал к нему ничего, кроме презрения и обиды. Однако для приличия написал жене покойного письмо,

в котором приносил извинения за то, что не смог присутствовать на похоронах. В ответ Фелисите пригласила его заглянуть к ней. Он нехотя согласился поехать в Фонтенбло вместе с Анселем. Тот в 1851 году уже оставил нотариальную контору, но зато занял пост мэра города Нёйи, что не мешало ему продолжать выполнять обязанности представителя опекунского совета. Бодлер, хотя и пользовался не раз его благосклонностью, считал Анселя «настоящей карой», «отвратительной язвой всей своей жизни», «типичным идиотом, болваном и сумасбродом», который «понимает в литературе не больше, чем слон в танцах болеро». Даже вид этого человека вызывал у него тошноту. И вот он отправился вместе с ним в путь в одном вагоне поезда. Ужасное путешествие — сидеть лицом к лицу с неприятным тебе человеком, под монотонный стук колес. К счастью, благодаря записке, полученной от матери, он сумел вытянуть из своего глупого «советника» немного денег. «Я бы предпочел обойтись без этих 500 франков, — сообщал он Каролине. — Лучше бы я лишился этих денег, чем видеть его и часами слушать его медленное заикание: „У вас очень добрая матушка, не так ли? *Ведь вы любите вашу матушку?*“ Или же: „*Вы верите в Бога, ведь Бог есть, не правда ли?*“ Или: „*Луи-Филипп был великий король. Ему еще воздадут должное...*“ И каждую из таких фраз он размазывает на полчаса. В то самое время, когда в Париже меня ждут дела сразу в нескольких местах».

При виде Фелисите, одетой в черное, с глазами, покрасневшими от слез, Бодлера охватило предчувствие смерти, подкарауливающей и его. И когда он вернулся в Париж, его продолжала преследовать эта мысль: каждое мгновение жизни может оказаться последним. То ему мерещился мгновенный конец, который наступит посреди трудов и наслаждений, то он сам призывал смерть, чтобы раз и навсегда подвести



черту под накопившимся грузом страданий и переживаний. То ему казалось, что он еще многое не сказал из того, что хотел сказать людям, а на следующий день чувствовал себя окончательно выбившимся из сил. Жил он по-прежнему один в гостинице «Дьеп», на улице Амстердам. Чтобы он ни съел, его мучили боли в желудке. И номер у него в гостинице был такой же темный и мрачный, как его душа. «Да, эта конура, это вместилище вечной тоски — это все мое, — писал он в „Парижском сплине“. — Вот нелепая, пропитанная насквозь пылью мебель с потертыми углами, заплеванной камин без огня и без углей, тоскливые окна со следами дождя на пыльных стеклах, разрозненные, исчерканные вдоль и поперек рукописи, календарь с помеченными карандашом траурными датами!» А в воздухе — «отвратительное табачное зловоние, смешанное с запахом какой-то тошнотворной плесени. Здесь дышится прогорклостью отчаяния. В этом тесном мирке, вызывающем только омерзение, единственное, что мне улыбается, — это пузырек с шафранно-опийной настойкой, моей старой и зловещей подругой, как все подруги, увы, щедрой на ласки и на предательство».

Опасаясь, что мать, поверив в утешительные байки о нем, перестанет тревожиться за него, он 13 декабря 1862 года посвятил ее в свое нынешнее состояние — ведь так приятно лишний раз подкинуть хвороста в огонь, который обжигает любимого человека: «Тебе сказали, что я весел. Такого не бывает никогда. Да и возможно ли такое? Разве что вдруг мне понадобилось это дикое веселье, чтобы напугать кого-то и избавиться от чьего-то присутствия. Тебе сказали, что я был хорошо одет? Только неделю назад я сбросил с себя тряпье. Тебе сказали, что я хорошо себя чувствую? Меня не покинула ни одна из моих болезней: ни ревматизм, ни ночные кошмары, ни боли в желудке, ни, главное,

страх, страх внезапно умереть, страх пробыть слишком долго в живых, страх увидеть твою смерть, страх уснуть, страх проснуться. Да еще эта вечная летаргия, заставляющая месяцами откладывать на потом самые срочные вещи. Не знаю, как это происходит, но все мои странные недуги усиливают мою ненависть ко всем людям». Дальше он немного успокоился и стал рассказывать матери, что недавно ездил в Версаль, гулял в саду возле Трианона и что во время прогулки ему представилось, будто она была рядом с ним и даже произнесла со своей характерной гримаской: «Тут прекрасно, но, понимаешь, мой дорогой сын, я все же больше люблю мой сад». Ему казалось, что такая история должна была развеселить Каролину. Поэтому, напугав ее описанием своих невзгод, он закончил письмо словами: «Дорогая мамочка, мне хотелось тебя рассмешить».

В этом резком переходе от отчаяния к нежности — весь Бодлер. Выставив напоказ свои хвори и посетовав на свое душевное смятение, он опять стал пай-мальчиком, заботящимся о здоровье мамочки и готовым поклясться, что не хочет доставлять ей никакого беспокойства. Он еще раз пообещал ей вскоре приехать в Онфлёр. В его комнате были слышны свистки паровозов на вокзале Сен-Лазар, находящемся неподалеку. Эти приглашения к путешествию доносились до него каждый день. Но иные призывы, еще более настойчивые, чем паровозные гудки, удерживали его в Париже.

## Глава XIX. АКАДЕМИЧЕСКАЯ ГОРЯЧКА

Бодлер нередко заявлял, что какие-то из его решений были продиктованы ему Богом, а другие — дьяволом, — кто же именно подсказал ему столь внезапную, сколь и нелепую мысль выставить свою кандидатуру во Французскую академию? Может быть, ему хотелось произвести впечатление на мать, чтобы она стала наконец восхищаться им и уважать его, чтобы из разряда проклятых поэтов перейти в число поэтов признанных? Какая бы это была звонкая пощечина всем идиотам из Онфлёра, если бы его избрали! И какое счастье для Каролины, которую он так часто огорчал своими выходками и фантазиями! Г-н Ансель, г-н Эмон, аббат Кар-дин встретили бы его низкими поклонами и смотрели бы ему в рот. С другой стороны, говорил он себе, совершенно невыносимо держать академика под колпаком опекунского совета. Если бы его избрали, он заставил бы мать освободить его от этой унижительной опеки. 10 июля 1861 года он пишет матери о своем проекте: «Несколько человек предложили мне воспользоваться возникшей вакансией (освободившееся место Скриба<sup>[62]</sup>) или возможными другими вакансиями и выставить мою кандидатуру в Академию. Но опекунский совет! Бьюсь об заклад, что даже в этом беспристрастном святилище это будет выглядеть серьезным минусом».

Он, разумеется, понимал, что в академической среде человека, чья жизнь столь неупорядочена, могут счесть недостойным этого традиционно благочестивого общества. Но он был слишком высокого мнения о своем таланте, чтобы допустить мысль, что признанные писатели не согласятся принять его в Академию,

поскольку у него нет денег, живет он в гостинице и был судим за книгу, в которой, по существу, больше отчаяния, чем непристойности. Он думал, что, напомнив академикам об их ответственности, он заставит их реабилитировать его в глазах общественного мнения. А если уж он вступит в это сообщество избранных, то подозрительность читателей по отношению к нему тут же рассеется.

Едва намерение Бодлера стало известно, как в литературных кругах, в кафе, в редакциях злопыхательских газетенок его принялись поднимать на смех. Его называли предателем, человеком, пытающимся перейти из клана богемы в клан официальных литераторов. Как же он не понимает, что в затхлой атмосфере академических салонов его «Цветы зла» просто зачахнут? Не реагируя на саркастические замечания, он 25 июля писал матери: «Считаю, что быть членом Академии — единственное почетное звание, которого истинный литератор может добиваться, не краснея [...] Надо подготовиться к тому, что не примут и раз, и два, и три. Надо встать в очередь. Количество голосов, поданных за меня в первый раз, покажет, есть ли у меня серьезные шансы на будущее».

Он еще не решился послать письмо в Академию с предложением своей кандидатуры, как газеты сообщили о кончине 21 ноября 1861 года монаха-доминиканца Лакордера. Таким образом, кроме места Скриба освободилось и другое кресло. Ну просто везение! Бодлер загорелся еще больше. 11 декабря 1861 года он написал Абелю Вильмену, постоянному секретарю Французской академии: «Милостивый государь, имею честь сообщить Вам, что я желаю быть включенным в число кандидатов на замещение одного из вакантных мест во Французской академии и прошу Вас поблагословить довести до сведения Ваших коллег

это мое намерение. Возможно, я должен сообщить благожелательным академикам некоторые данные о себе: позвольте мне напомнить Вам о сборнике стихов, вызвавшем больше шума, чем хотелось бы; о переводе с целью популяризации ранее неизвестного во Франции великого поэта; о строгом и подробном исследовании радостей и опасностей, заложенных в возбуждающих средствах; и, наконец, назову множество брошюр и статей о крупнейших художниках и литераторах, моих современниках. Однако я понимаю, милостивый государь, что всех перечисленных работ недостаточно, особенно если сравнить с теми, более многочисленными и оригинальными, о которых я мечтал. Так что поверьте, милостивый государь, что моя скромность неподдельна [...] Чтобы сказать всю правду, добавлю, что главная причина, толкнувшая меня просить о включении моего имени в список кандидатов уже сейчас, заключается в том, что, если бы я решил просить об этом *лишь тогда, когда почувствую себя достойным* этой чести, я бы не обратился с этой просьбой никогда [...] Если моя фамилия известна некоторым из вас, то, быть может, дерзость моя будет встречена благожелательно, и те несколько голосов, которые я чудом получу, явятся для меня великодушным поощрением и призывом к более успешным делам».

Когда на очередном заседании Французской академии Вильмен зачитывал письмо, из которого следовало, что некий Бодлер выставляет свою кандидатуру на одно из освободившихся кресел, академики обменивались удивленными взглядами. Одним он был просто неизвестен, для других его имя сопрягалось с подмоченной репутацией анархистствующего сумасброда, а некоторые даже вспомнили, что года четыре назад он преследовался уголовным судом. С чего это он, имея такое прошлое,

возжелал заседать среди них? Уж не очередная ли это провокация с его стороны?

Не отдавая себе отчета в подобном остракизме, Бодлер, как полагается, наносил визиты академикам. Все это происходило зимой, и он являлся к ним закутанный ярко-красным шарфом из плотной ворсистой ткани. Вильмена, встретившего его более чем холодно, он так охарактеризовал матери: «Это хам и глупец, претенциозная обезьяна» и добавил, что тот «дорого заплатит» за такой прием. Жан Вьенне, которому тогда было восемьдесят четыре года, показался ему похожим на смехотворное привидение, упрямо повторявшее: «Существует только пять жанров литературы, сударь: трагедия, комедия, эпическая поэзия, сатира и мимолетная поэзия, куда относятся басни, в которых я большой мастер». Эрнест Легуве банальными фразами декорировал полное безразличие к новому кандидату. Франсуа Понсар оказался недоступен, несмотря на то, что Асселино и направил ему предварительно благожелательную записку. Сен-Марк Жирарден не ответил на письмо Бодлера с просьбой принять его. Мериме, которым Бодлер так восхищался, ответил отказом. Были и другие более или менее вежливые отказы принять его.

Двадцатого декабря 1861 года Бодлер писал Арсену Уссе: «До меня дошел слух, что, поскольку моя кандидатура воспринята как *оскорбление* Академии, то кое-кто из этих господ решил, что им невозможно встречаться со мною. Но это же слишком фантастично, чтобы быть правдой». Однако в его положении и в ту пору это было более чем «возможно», это было неизбежно. В азарте преодоления препятствий, нагромоздившихся на его пути, Бодлер обратился к Флоберу, который поддерживал дружеские отношения с Жюлем Сандо. Флобер выполнил просьбу: «Кандидат просит меня сказать Вам, „что я думаю о нём“. Вы,

должно быть, знаете его произведения. Что до меня, то, разумеется, если бы я был членом почтенного собрания, я хотел бы видеть его между Вильменом и Низаром! Вот это была бы картина! Сделайте же это! Выберите его! Это будет прекрасно». В тот же день он сообщил Бодлеру, что выполнил его просьбу: «Первейший долг друга — оказать услугу товарищу. Так что, ничего не поняв в Вашем письме, я написал Жюлю Сандо, умоляя его проголосовать за Вас. Но, похоже, его голос уже кому-то обещан? Мне хочется задать Вам столько вопросов, и удивление мое было так велико, что мне не хватило бы и тома, чтобы выразить все это». А в постскриптуме добавил: «Несчастный! Вы хотите, чтобы купол Академии обрушился?» На что Бодлер с гордостью ответил: «Я веду себя, как упрямец, и не раскаиваюсь в этом. Даже если за меня не подадут ни одного голоса, я не пожалею о содеянном [...] Неужели Вы не догадались, что Бодлер — это значит Огюст Барбье, Теофиль Готье, Банвиль, Флобер, Леконт де Лиль, то есть *чистая литература*? Несколько друзей сразу поняли это и выразили мне свою симпатию».

На место, освободившееся после кончины Скриба, претендовало много кандидатов, и потому Бодлер решил направить свои помыслы на менее искомое кресло, которое раньше занимал Лакордер. И ему в голову не приходило, что человеку, которого судили за нарушение религиозной морали, неприлично претендовать на место, занимаемое ранее доминиканским монахом. Бодлер считал, что искусству прощается все. Да и вообще-то, разве в глубине души он не такой же христианин, как все прочие? Просто его отношения с Богом особого рода. Он попытался объяснить это супругам Сандо, которые, благодаря рекомендации Флобера, приняли его очень доброжелательно; однако особой надежды на избрание Бодлера у них не возникло. «Правда, он [Жюль Сандо]

пообещал, что поговорит обо мне с некоторыми из друзей по Академии, — писал Бодлер Флоберу, — и *может быть, может быть*, я смогу получить несколько голосов протестантов. А это все, чего я желаю». Что же касается лично Жюля Сандо, то он сказал, что не может ничего обещать. Просьба Флобера застала его «врасплох». Бодлеру надо было бы встретиться с ним раньше. А теперь дело уже сделано...

Отнюдь не утратив надежды, поэт продолжал наносить визиты. Он ходил по городу пешком, в любую погоду, «в лохмотьях» (как он сообщал матери), не располагая хотя бы несколькими экземплярами своих книг, чтобы вручить их этим господам, которые в большинстве своем их не читали. Кстати, впоследствии он язвительно высмеял некоторых из них (Понсара, Эмиля Ожье, Лапрада, Сен-Марка Жирардена...) в своих статьях. А собственно, с какой стати они должны были оказывать ему эту честь, голосовать за него? Он знал, что его шансы незначительны. Но чем меньше он верил в вероятность успеха, тем больше упорствовал. Теперь его прежде всего интересовало, сколько же голосов он все-таки получит.

Впрочем, порой эти встречи приносили ему неожиданную радость. Ламартин принял его с братской теплотой, хотя и сказал, не одобряя намерений Бодлера, что в таком возрасте не следовало бы «подставлять лицо для пощечины». Сообщая это матери, Шарль добавил: «Ламартин сделал мне настолько чудовищный, настолько колоссальный комплимент, до того огромный, что я не решаюсь его повторить. Но думаю, что не надо полностью доверяться его красивым словам. Ведь он немножечко шлюха, немножечко проститутка (кстати, он спросил меня, как ты поживаешь. За эту его любезность я ему благодарен. В конце концов, он же светский человек)». Скорее всего, в ходе беседы речь зашла и о генерале



Опики, чья дипломатическая карьера пришлась на то время, когда Ламартин был министром иностранных дел. Этот намек на заслуги отчима ничуть не смутил кандидата. Он готов был любыми средствами обзавестись друзьями в Академии.

По правде говоря, он с большим удовольствием встретился с Альфредом де Виньи, который заперся с Бодлером, чтобы их не беспокоили, и они общались «целых три часа». «Как и Ламартин, — написал Шарль матери, — он поначалу стал отговаривать меня, но узнав, что по совету Сент-Бёва я официально предложил свою кандидатуру Секретариату, он заявил, что, поскольку зло уже сделано, надо непременно идти до конца». И Бодлер констатировал: «Де Виньи, которого я до этого никогда не видел, был великолепен. Поистине, происхождение положительно сказывается на качествах человека, а большой талант делает его добрым». Со своей стороны, Виньи тоже был очарован этим болезненным человеком с горячным блеском в глазах, восторженно отзывавшемся о его «Античных и современных поэмах», а также о творчестве Эдгара По. «Он очень образованный, — записал де Виньи после ухода Бодлера, — хорошо знает английский, жил в Индии в возрасте 17 лет и немало там повидал [еще одна маленькая ложь Шарля]. Знает, популяризует и развивает творчество Эдгара По. Похоже, его литературная жизнь сводится к переводам этого философичного романиста». При этом ни слова о «Цветах зла». Провожая Бодлера до дверей, Виньи приглашал его заходить еще. И тот неоднократно писал ему, спрашивая у Виньи совета, как вести себя во время избирательной битвы.

Шарль обратился также за поддержкой к Каролине, чтобы привлечь на свою сторону академика Пьера Лебрана, бывшего товарища Опики по службе и по Сенату. Она согласилась и даже вознамерилась

обратиться к другому академику, Гизо-отцу. Но Шарль ее отговорил. Он очень боялся, как бы она не наделала ошибок! Кстати, продолжая визиты с расшаркиваниями, он одновременно подумывал о «шутовской книжке» — хотелось ему рассказать об унижениях, которым он подвергся со стороны «бессмертных». Потом отказался от этой затеи, чересчур рискованной. «Догадываешься, каким был бы результат, — писал он матери. — Во-первых, навсегда будет закрыта дорога в Академию, а к тому же еще не исключено обвинение в бесчестности и вероломстве. Меня могут обвинить в том, что я проникал в дом к людям с заведомой целью познакомиться с ними поближе и изобразить в смешном виде. Альфред де Виньи, с которым я имел наглость поделиться этим намерением, сказал, что не у меня первого появилась эта идея: когда-то и Виктор Гюго испытал подобное желание, но поскольку его в конце концов избрали, он не опубликовал свою книгу».

Однако в этой деликатной истории с Академией Бодлер больше, чем кому бы то ни было, доверял по-прежнему Сент-Бёву. 20 января 1862 года тот опубликовал в журнале «Конститусьонель» статью «О предстоящих выборах в Академию», где высмеял некоторых кандидатов, в том числе герцога Альбера де Броя, конкурента Бодлера в соревновании за кресло покойного Лакордера. Не без сарказма коснулся Сент-Бёв и самого Бодлера: «Сначала подумали, не собирается ли г-н Бодлер, выставляя свою кандидатуру, сыграть с Академией шутку и написать затем на нее эпиграмму, или не хочет ли он таким образом дать понять, что ей пора подумать о приеме в свои ряды выдающегося и утонченного мастера во всех областях поэзии и литературы вообще, каким является его учитель Теофиль Готье. Многим членам Академии, ничего не ведавшим о существовании Бодлера, пришлось впервые по буквам прочесть его фамилию. Но

ох как нелегко доказать академикам — политикам и государственным деятелям, — что в „Цветах зла“ есть стихи, свидетельствующие о выдающемся искусстве и таланте автора; нелегко объяснить им, что стихотворения в прозе „Старый паяц“ и „Вдовы“ являются жемчужинами и что вообще Бодлер ухитрился на самом краю так называемой необитаемой земли, за пределами общеизвестного романтизма, построить странный домик, причудливый, вычурно украшенный и кокетливо-загадочный, где читают Эдгара По, где декламируют изумительные сонеты, где опьяняются гашишем, а затем рассуждают о нем, где одурманиваются опиумом и множеством других отвратительных зелий из чашечек тончайшего фарфора. Этот странный домик из оригинальной, условной и разнородной мозаики, с некоторых пор притягивающей взгляды к окраине романтической Камчатки, я называю бодлеровским павильоном. Автор доволен: он сделал нечто невозможное там, куда, как считалось, никому нет ходу [...] Несомненно одно: господин Бодлер выигрывает, когда его видишь воочию, ибо люди ожидают, что вот сейчас войдет странный и эксцентричный человек, а входит вежливый кандидат, почтительный, воспитанный, симпатичный мужчина, с тонким чувством языка и совершенно классической внешностью».

Бодлер мог бы обидеться за такую насмешливую благосклонность. Но он, довольный тем, что сам великий Сент-Бёв пишет о нем в своей статье, направляет критику взволнованное письмо: «Дорогой друг, позвольте в нескольких словах описать совершенно исключительное удовольствие, какое Вы мне доставили. Я до сих пор молчал, но на протяжении ряда лет страдал от того, что меня почитали за бирюка, за человека, неприятного в общении. Как-то в злобной газетенке я прочел строки о моей отталкивающей

внешности, из-за которой ни о какой симпатии ко мне не может быть и речи (трудно слышать такое мужчине, так любившему аромат женщины). Однажды некая дама мне сказала: „Как странно: вы вполне приличный человек, а я думала, что вы вечно пьяны и от вас дурно пахнет“. Она говорила так, наслушавшись сплетен. Наконец-то, дорогой друг. Вы поставили все на свое место, и я очень Вам признателен. Ведь я всегда говорил, что мало быть ученым, главное — быть любезным. Что касается моей *Камчатки*, то, если бы меня почаще так подбадривали, я думаю, у меня хватило бы сил сделать из нее необъятную Сибирь, только теплую и населенную людьми».

Бодлер, немного повеселевший, с философским спокойствием ждал результатов голосования, назначенного на 20 февраля 1862 года. Чтобы увеличить свои шансы, он решил написать г-ну Вильмену письмо, рассказав академикам о своих качествах, сближающих его с отцом Лакордером. Он собирался объяснить им, что восхищается покойным священником «не только из-за содержания его проповедей, но и из-за красоты их изложения». Обо всем этом он сообщил Альфреду де Виньи. Де Виньи ошибочно полагает, что Бодлер еще не выдвинул официально свою кандидатуру, что речь идет лишь о намерении, которое поэт только предполагает осуществить. Поэтому он предупреждает коллегу об опасности: «Откровенно советую Вам не прибегать больше ни к каким хитростям, на которые, как мне известно, Вы способны, и не писать ни слова о приеме Вас кандидатом на одно из вакантных кресел [...] Не подвергайте превратностям случая Ваше имя, Ваш истинный, Ваш редкий талант, не предпринимайте никаких действий в этом направлении, не посылайте писем, не делайте заявлений». И он пригласил Бодлера зайти к нему. Тот немедленно пришел. Разговор с де

Виньи убедил его. В письмах, отправленных ему в конце января и в начале февраля, Бодлер лишь благодарил за оказанный прием и речь об Академии уже не шла. Зато он сообщал ему адреса лавочек, где можно найти хороший эль, английское пиво, которые оба очень любят, и английского повара, приготавливающего «желе из разных видов мяса с очень горячим вином, очевидно, мадерой или хересом, блюдо, которое даже самые чувствительные желудки переваривают легко и с удовольствием».

Бодлер все еще надеялся получить два-три голоса, но тут, в письме от 9 февраля 1862 года, последний удар нанес ему Сент-Бёв: «Я уже говорил Вам, и здравый смысл подсказывает: ничего, по-моему, делать не нужно [...] Оставьте Академию такой, какая она есть, испытавшей скорее удивление, чем шок, и не шокируйте ее новой попыткой добиться кресла, освободившегося после смерти Лакордера. Вы обладаете чувством меры и должны почувствовать, что я прав». Итак, сначала де Виньи, затем Сент-Бёв! Бодлер, отрезвленный, послал 10 февраля Вильмену письмо, в котором сообщал о своем решении не баллотироваться: «Милостивый государь, прошу Вас вычеркнуть мою фамилию из списка кандидатов на кресло преподобного отца Лакордера и сообщить господам Вашим коллегам о моем отказе. Позвольте также, милостивый государь, воспользоваться случаем и передать мою благодарность тем из академиков, кого я имел удовольствие посетить, за любезный и сердечный прием, какой они сообразовали мне оказать. Уверяю их, что сохраню о них благодарную память». Это письмо о снятии своей кандидатуры было зачитано на заседании Академии, и Сент-Бёв поспешил проинформировать Бодлера о впечатлении, какое письмо произвело на его коллег: «Когда была прочитана последняя фраза с благодарностями,

составленная в таком скромном и вежливом тоне, слышались высказывания: „Очень хорошо!“ Таким образом, Вы оставили о себе благоприятное впечатление, а это уже немало!»

Горькое утешение, размышлял Бодлер. В конце этой гонки он был измотан, измучен и зол на всех этих лицемеров, купающихся в лучах славы. Однако мысль занять когда-ни-будь одно из кресел под куполом Академии не покинула его. Сообщая матери о своем отказе баллотироваться, он добавил: «Уверяю тебя, что я поступил благоразумно. *Теперь я знаю*, что когда-нибудь буду избран, но когда? Вот этого я не знаю». 20 февраля на место Лакордера был избран герцог Альбер де Брой, сотрудник журналов «Ля Ревю де Дё Монд» и «Корреспондан». Что же касается кресла Скриба, то количество кандидатов на него было так велико, что первое голосование оказалось безрезультатным и новые выборы назначили на 3 апреля 1862 года. На этот раз избрали автора благочестивых романчиков Октава Фёйе. Узнав о результате, Бодлер иронически усмехнулся: прощелыги!

Пытаясь завоевать расположение академиков, Бодлер в то же время ходатайствовал перед императорской Комиссией по изящным искусствам о субсидии. Пять раз он повторял свою просьбу — то умолял, то агрессивно требовал. Все оказалось тщетно. Он надеялся также, что его направят в командировку на Всемирную выставку в Лондоне, — в этом случае жалованье составляло бы тысячу, а то и 1200 франков в месяц. Для этого достаточно было стать членом императорской Комиссии по изящным искусствам. Но комиссию назначили, а никто и не подумал назвать его фамилию. Еще один мыльный пузырь, который надулся, посверкал немного и лопнул. Тогда у него зародилась мечта получить место директора какого-нибудь театра на дотации. Это сулило не только солидное жалованье,

но и возможность пристраивать в театр свои пьесы. Орден Почетного легиона и Французская академия остались в прошлом, а его окрыляла новая мечта. «В Париже существует театр, — писал он матери, — *единственный, который не может прогореть* и где за четыре года можно заработать 400 тысяч франков. Я хочу получить этот театр. Если г-н Фульд в результате перипетий политической борьбы вернется на пост государственного министра, — что вполне возможно, — я получу этот театр, благодаря моим друзьям, благодаря Пеллетье, Сент-Бёву и Мериме. Перед отъездом из Парижа я буду располагать точными цифрами расходов, доходов и буду знать, когда истекает срок службы нынешнего директора. Я хочу получить этот пост, и я его получу. Годы уходят, и я хочу наконец стать богатым.

Право же, то, что я называю богатством, вовсе не так уж и много! Ты догадываешься, что в этом случае, несмотря на все мои планы экономить, мне нужно будет обставить мебелью домик в Париже, и несколько месяцев в году ты сможешь проводить со мной. Кстати, в этом театре отпуска длятся три месяца [...] Какая фантастическая мечта: я буду стремиться к ней, может быть, реализую ее и даже питаю надежду, что среди административных хлопот не расстанусь с культом моего собственного духа».

Театр, о котором шла речь, был не чем иным, как императорским театром Одеон. С 1856 года его директором был Шарль де Ля Руна, потом пятилетний договор с ним продлили до 1866 года. Почему Бодлер решил, что этот честнейший и вполне компетентный человек скоро будет смещен или по доброй воле досрочно покинет свой пост? И как мог Бодлер вообразить, что он, не способный правильно распоряжаться собственными совершенно ничтожными ежемесячными доходами, сумеет управлять финансами

такого огромного учреждения и терпеть придирчивый контроль вышестоящей администрации за его расходами? Тут уж не добродушный г-н Ансель присматривал бы за ним, а целая толпа дотошных и беспощадных чиновников. К счастью для Одеона и для Бодлера, этот проект не покинул стены комнаты, где Шарль строил свои по-детски наивные планы. Никому и в голову не приходило ни поручить ему руководство театром, ни послать в официальную командировку в Лондон, ни призвать его заседать во Французской академии или выдать ему субсидию за его заслуги перед французской литературой. Одни показывали на него пальцем, другие украшали его гирляндами из роз, а сам он утешал себя мыслями о том, что потомки воздадут ему должное за его заслуги и определят ему место в самом первом ряду.

Но вот наконец появилось первое серьезное предложение: Эжен Крепе, убежденный республиканец, обладавший приличным состоянием, свободным временем и тягой к литературным занятиям, загорелся идеей составить антологию французских поэтов. Предисловие должен был написать Сент-Бёв, а команде из специалистов, куда вошли Филоксен Буайе, Шарль Асселино, Бабу и Бодлер, надлежало подготовить статьи об авторах отобранных стихов. Прошлые века проблем не вызывали: время сделало свой выбор. Но современники — всегда дело темное. Как только стало известно об этом проекте, тесный мирок поэтов забурлил и закипел. Кто войдет в когорту избранных, а кого отклонят? Имена передавались из уст в уста, отстраненные возмущались, принятые ликовали, в кафе зарождались коварные замыслы, чтобы включить одного или исключить другого. Бодлер согласился сотрудничать над составлением четвертого тома. Статью о нем самом согласился написать Теофиль Готье. У самого Бодлера приняли для сборника и



напечатали семь статей: о Викторе Гюго, Марселине Деборд-Вальмор, Теофиле Готье (ты мне — я тебе), Теодоре де Банвиле, Пьере Дюпоне, Леконте де Лиле, Гюставе Ле Вавассере. Три его статьи отвергли: об Огюсте Барбье, Эжезиппе Моро и о Петрюсе Бореле. Бодлер решительно возражал против того, чтобы Крепе рецензировал его работу. «Чтобы ему угодить, я уже *испортил* три статьи, — писал он Филоксену Буайе. — Оказывается, *их все* нужно переделывать. А я и так уже *трижды* поправлял их [...] Мне хочется швырнуть в морду этому идиоту те деньги, которые, как он думает, дают ему право так поступать». Споры спорами, но 18 мая 1861 года он все же подписал с Крепе договор, согласно которому статьи оплачивались «из расчета 200 франков за лист, состоящий из шестнадцати страниц размером в одну восьмую долю листа, по сорок строк в каждой».

Хотя условия договора были вполне корректны, Бодлер по-прежнему считал Крепе своим личным врагом, которому нравится его преследовать. «Видеть больше не желаю этого Крепе, — писал он Пуле-Маласси. — Не считаясь даже с общепринятым правилом, согласно которому у себя дома надо быть более вежливым, чем в других местах, он третировал меня, разговаривал со мной как с подчиненным [...] Я устал от обид всякого рода, какие я терплю от этого дурака [...] Вы даже и представить себе не можете, как дерзко он обращался со мной, эта размазня». А между тем большинство людей, встречавшихся с Крепе, находили его любезным, культурным, бескорыстным, всегда готовым прийти на помощь друзьям. Очевидно, Бодлер выводил его из себя своим злым высокомерием, своей нетерпимостью к любой критике, своими отказами принимать какой бы то ни было совет. «Вы меня ужасно, причем без всякой пользы, мучаете, — писал поэт еще в самом начале работы над

антологией. — *То, что я пишу, правильно и неоспоримо*». Это безапелляционное утверждение сделало невозможным согласие между ними. Что бы ни предпринимал Крепе, Бодлер упрямо видел в нем только богатого буржуа, торгующегося по поводу работы интеллектуалов. В своем дневнике Шарль зачислил его в компанию «противных каналов».

После долгой и трудной подготовительной работы четвертый том «Французских поэтов» вышел в свет в издательстве «Ашетт» в августе 1862 года. Не получив своего авторского экземпляра, Бодлер обратился к Крепе. Тот грубо ответил ему 7 сентября: «Я подожду отправлять его Вам, пока Вы не вернете, через моего консьержа, книгу стихов В. Гюго, которую Вы одолжили у меня приблизительно два года назад и не торопитесь возвращать». Бодлер, оскорбленный, написал 9 сентября, что книга «Стихотворения» Гюго находится у матери, в Онфлёре и что он немедленно попросит ее выслать, а тем временем он уже купил четвертый том антологии на свои деньги, поскольку Крепе отказался выдать полагающийся экземпляр. 14 сентября Крепе ответил: «Я (...) с нахальной наивностью полагаю, что, по части добропорядочной вежливости, в этом вопросе, как и в некоторых других, Вы были и останетесь моим должником». И добавил, что хочет дать ему почувствовать, как оскорблял его почти всегда презрительный, повелительный, чуть ли не приказной тон, которым Бодлер обращался к нему в письмах. Бодлер не счел нужным продолжать полемику. К тому же его порадовало то, что антологию «Французские поэты» хорошо приняли и читатели, и критика. Четвертый том в 1863 году был даже переиздан.

В каждой из кратких статей, написанных им для этой книги, Бодлер сразу начинал с главного. О стихах Теодора де Банвиля он писал, что они отражают «лучшие часы его жизни, часы, когда человек чувствует

себя счастливым уже потому, что он живет и мыслит». Пьер Дюпон — «нежная душа, верящая в утопию, и от этого прямо буколическая». Теофиль Готье — «один из крупнейших и редчайших мастеров языка и стиля». Марселина Деборд-Вальмор «придает всему страдающему, угнетенному и отчаявшемуся свежесть и прочность обновления». Вдохновение Леконта де Лиля свидетельствует о восхитительном «чувстве аристократической интеллектуальности». Гюстав Ле Вавассер обнаруживает в своем творчестве «изощенный дух, напоминающий сложные хитрости фехтования». Распределяя призы, самый щедрый и тяжелый лавровый венец по справедливости вручил Виктору Гюго. Бодлер с очевидным вдохновением набросал портрет этого гиганта, из своего изгнания на острове Гернси продолжавшего озарять своим гением Францию. Действительно, в стране тогда было две власти: Наполеон III во дворце Тюильри и отделенный от Франции морскими волнами Виктор Гюго в Отвильхаусе. Кто из них воплощал более законную власть? По мнению Бодлера, великолепный изгнанник и хулигатель империи был «самым одаренным человеком, явно предназначенным выразить языком поэзии то, что я назвал бы „тайной жизни“ [...] Ни один из художников не сравнится с ним по универсальности, по способности вступить в контакт с универсальными жизненными силами, по готовности постоянно быть в гуще природы. [...] Французский язык, вышедший из его уст, стал целым миром, многоцветным, мелодичным и подвижным. [...] Это — гений, не знающий границ. [...] Громадное, необъятное — естественная область деятельности Виктора Гюго исключительно велика; он чувствует себя там, как в родной стихии. [...] Он один из тех редчайших смертных, еще более редких в литературном мире, чем в каком-либо другом, которые черпают новые силы в прожитых годах и идут вперед,

чудодейственно молодея и набираясь мощи до самого конца жизни».

Бодлер совершенно искренне восхищался Виктором Гюго-поэтом, но был более строг к его прозе. «Отверженные», опубликованные весной 1862 года, его разочаровали. Лестно отозвавшись о романе в газете «Бульвар» от 20 апреля, он осмелился, однако, написать, что среди персонажей этого «милосердного творения» есть «ужасный Жавер», который кажется довольно искусственным, ибо на службу в полицию людей приводит вовсе не *«энтузиазм»*. Вывод: «Виктор Гюго стоит за Человека, но не против Бога. Он доверяет Господу и вместе с тем он не против Человека». Удовлетворенный приятным отзывом, Виктор Гюго напыщенно поблагодарил Бодлера в письме от 24 апреля: «Написать блестящую страницу — для Вас естественное дело. Возвышенные и сильные слова возникают у Вас в голове, как искры вылетают из пламени. „Отверженные“ явились для Вас поводом для глубокого и возвышенного исследования (...) Я уже не раз с удовольствием констатировал сходство Ваших и моих мыслей. Все мы вращаемся вокруг нашего великого Солнца, вокруг *Идеала* [...] Для поэтов честь — подносить людям наполненные светом и жизнью священные кубки искусства. Именно так Вы и поступаете. То же самое пытаюсь делать и я. Мы с Вами посвятили себя служению прогрессу с помощью Истины».

Когда Виктор Гюго писал эти строки, он и не подозревал, какая лицемерная изворотливость понадобилась Бодлеру, чтобы расхваливать литературные и моральные достоинства «Отверженных». Свое истинное отношение к роману Шарль не скрывал от матери: «Книга эта нелепа и отвратительна. Она стала для меня поводом показать, что и я тоже обладаю умением лгать. Он написал мне,

чтобы поблагодарить меня, просто смехотворное письмо. Это доказывает, что великий человек тоже может быть глупцом». Асселино вспоминал, как Бодлер с искаженным от гнева лицом поносил этот роман: «Что это за такие сентиментальные преступники, которые испытывают угрызения совести из-за копеечных краж, которые часами ведут диалоги с этой самой своей совестью и учреждают фонды поощрения добродетели? Разве эти люди рассуждают, как все остальные? Вот я, я напишу когда-нибудь роман, где выведу негодяя, но настоящего негодяя, убийцу, вора, поджигателя и пирата, а закончу такой фразой: „И под сенью этих посаженных мною деревьев, окруженный почитающей меня семьей, окруженный любящими детьми и обожающей меня женой, я спокойно вкушаю плоды моих преступлений“». И Асселино отмечал: «Книга [„Отверженные“] со всеми ее моральными фантазиями и свинцовыми парадоксами глубоко его возмущала. Он терпеть не мог фальшивой чувствительности, добродетельных преступников и ангелоподобных проституток». Не ограничиваясь критикой Виктора Гюго на публике, Бодлер пометил в своей записной книжке: «Гюго часто думает о Прометее. Он сажает воображаемого грифа себе на грудь, терзаемую лишь уколами тщеславия. [...] У Гюго-жреца всегда опущенная голова — опущенная слишком низко, чтобы ничего не видеть, кроме собственного пупка».

Бодлер весьма остро реагировал на то, что книги Гюго вызывают восторг толпы, что их автор, стоя на своей скале, как на пьедестале, изображал из себя пророка и жертву, выказывал себя защитником бедноты, а сам купался в золоте. Виктор Гюго догадался в конце концов, что под маской восхищения скрывается неприязнь. Об этом ему сообщили друзья, оставшиеся в столице. Бодлер продолжал думать, что имеет право на уважение и благодарность мэтра, а тот

уже задавался вопросом, не является ли автор «Цветов зла» фальшивым другом.

В том же письме, где Бодлер сообщал матери, стараясь ее просветить, о недостатках романа «Отверженные», он еще и жаловался на деградацию парижских литературных кругов: «Теперь это уже не тот чудесный и приятный мир, что был когда-то: художники не знают ничего, писатели не знают ничего, даже орфографии. Все эти люди стали отвратительными, теперь они, может быть, даже хуже, чем светская публика. Я превратился в *старика*, мумию, и на меня злятся за это, потому что я не такой безграмотный, как все остальные. Какое падение! Кроме д'Оревилли, Флобера и Сент-Бёва, невозможно ни с кем ни о чем разговаривать. Когда я рассуждаю о живописи, только Т. Готье способен меня понять. *Жизнь мне стала отвратительна*. Повторяю: хочу бежать от этих лиц, особенно — от французских».

Друзей у Бодлера становилось все меньше и меньше, и особенно чувствительным ударом явилась для него случившаяся 17 сентября 1863 года смерть Альфреда де Виньи. Рак желудка превратил последние месяцы жизни 66-летнего поэта в долгую нестерпимую пытку. Тем весомее с моральной точки зрения было его активное участие в тщетных хлопотах младшего собрата вокруг кресла Лакордера. Когда умер Делакруа [август 1863], Бодлер написал о «чувстве возрастающего одиночества», которое у него появилось уже после кончины Шатобриана [1848], Бальзака [1850]... И вот смерть Альфреда де Виньи: «В великом всенародном трауре обнаруживается всеобщий упадок сил и снижение жизнеспособности нации, некое затемнение интеллекта, сравнимое с затмением солнца, кратковременная репетиция конца света». И он с горечью замечал: «Впрочем, я полагаю, что все это особенно болезненно для высокомерных анахоретов...

которым интеллектуальные связи дороже родственных уз».

Еще одно событие больно ударило Бодлера в ноябре 1862 года — финансовый крах и арест за долги Огюста Пуле-Маласси. Он посетил своего друга в тюрьме в Клиши, и оба они сетовали на трудные времена и несправедливость правосудия. В декабре Пуле-Маласси перевели в тюрьму Маделонетт, расположенную в квартале Тамплль. Суд состоялся 22 апреля 1863 года, после пяти месяцев предварительного заключения. Издателя приговорили к месяцу тюрьмы за небрежную бухгалтерскую отчетность, он добился приемлемого соглашения с кредиторами и, как только оказался на свободе, тут же выехал в Бельгию.

Бодлер, после бегства из Франции своего друга, погрузился в глубокие раздумья. Почему бы и ему, по примеру Пуле-Маласси, тоже не уехать от кредиторов за границу? Переменить атмосферу, не видеть больше мрачные лица парижских бумагомарателей, обрести вдохновение в общении с новыми краями? Матери, которой не хотелось, чтобы он вспоминал в книге «Мое обнаженное сердце» о своих обидах, он резко ответил: «Именно так! Книга эта, о которой я столько мечтал, будет книгой обид. О матери и даже об отчине я напишу, конечно, уважительно. Но, рассказывая о моем воспитании, о том, как складывались мои чувства и мысли, я хочу дать читателю почувствовать, что я всегда ощущал себя чуждым миру и его культам. Свой реальный талант дерзости я направлю против всей Франции. Я нуждаюсь в отщеплении, как усталый человек нуждается в бане [...] И разумеется, я опубликую „Мое обнаженное сердце“ только тогда, когда буду достаточно богат, чтобы, если понадобится, скрыться за пределами Франции».

А в ожидании «достаточного богатства», которое позволит ему окончательно покинуть родину, он решил

поехать на несколько месяцев в Бельгию — чтобы посетить там «богатые частные галереи», чтобы читать там лекции, напечатать несколько статей в «Эндепанданс бельж», большой ежедневной брюссельской газете, а также провести переговоры с Лакруа и Фербокховеном, издателями Виктора Гюго, о публикации своих критических статей. Но на поездку у него не было денег. Уверенный в успехе своего предприятия, он написал маршалу Вайяну, министру императорского двора и искусств: «Вот уже давно, несмотря на мои заслуги и достоинства, я материально нуждаюсь из-за непопулярности [...] Я являюсь автором „Цветов зла“, „Искусственного рая“ и т. д., и т. д., а также переводчиком произведений Эдгара По. Я внучатый племянник путешественника Левайяна и пасынок генерала Опики, который, если мне память не изменяет, имел честь быть Вам знакомым. Я собираюсь выехать на некоторое время из Франции и ожидаю от Вашей милости материальной помощи, чтобы совершить поездку». Подобная же просьба направлена им министру народного образования Виктору Дюрюи: «...я надеюсь, что Ваше превосходительство [...] найдет возможным предоставить мне средства для путешествия. Полагаю, что даже если я и не смогу заработать что-нибудь в Бельгии, суммы в 600–700 франков будет достаточно». Отказ был полный со всех сторон.

Тогда Бодлер обратился к Кружку художников и литераторов в Брюсселе, регулярно устраивавшему лекции или «чтения» французских писателей. Артур Стевенс, продавец современной живописи и импресарио своих братьев, художников Жозефа и Альфреда Стевенсов, познакомил его с президентом кружка, Д. Ж. Л. Фервоортом, одновременно являвшимся председателем палаты депутатов, и с г-ном Де Мо, секретарем кружка. Однако переговоры затянулись.



«Эндепанданс бельж» также не спешила публиковать статьи, предложенные Бодлером. Что же касается издателей Лакруа и Фербокховена, которым он хотел бы продать часть своих произведений в прозе, то у них была репутация людей прижимистых: «Все говорят, что это люди недалекие и очень скупые». Чтобы их уговорить, Бодлер не придумал ничего лучше, как призвать на помощь Виктора Гюго. Ведь знаменитый изгнанник — любимый автор этих господ, не так ли? «Хотя я обычно не решаюсь просить что-либо у людей, которых более всего люблю и уважаю, сегодня я обращаюсь к Вам с большой просьбой, с огромной просьбой, — писал он мэтру. — Я узнал, что Вам нанесет визит г-н Лакруа. Моя большая просьба заключается в следующем: скажите ему, думаете ли Вы что-нибудь приятное о моих книгах и обо мне, а также сообщите ему о моем намерении прочесть лекции [...] Я часто интересуюсь Вами. Мне говорят, что Вы прекрасно себя чувствуете. Гению прислуживает здоровье! Как же Вы счастливы, сударь!»

На этот раз слащавые комплименты не принесли Бодлеру успеха. «Я хотел сделать Гюго соучастником моей задумки, — сообщил он матери 31 декабря. — Я знал, что г-н Лакруа будет на острове Гернси в такой-то день. И просил Гюго вмешаться. Только что получил письмо от него. Бури на Ламанше сорвали мой план, и послание мое пришло *через четыре дня после отъезда издателя*. Гюго пишет, что он исправит эту задачу с помощью письма, но письмо не сравнить с *живым словом*». Ответ Виктора Гюго на просьбу Бодлера был передан Полю Мёрису, верному помощнику Гюго. К этому ответу была приписка — несколько строк, многое объясняющих: «Говорят, что он [Бодлер] является моим врагом или почти врагом. Тем не менее я окажу ему помощь, о которой он просит. Думаю, вы согласитесь со мной. Вот, кстати, и мой ответ. Прочтите его и,

пожалуйста, запечатайте и отправьте господину Бодлеру».

Бодлер никогда не узнал, похлопотал ли действительно Виктор Гюго о нем перед бельгийскими издателями. Так или иначе, но Лакруа не спешил приглашать к себе автора «Цветов зла». В общем, одни плохие приметы и дурные знаки. Перспектива поездки, и завлекательная, и одновременно тревожная, мешала ему работать. Тщетно искал он деньги, где только мог. 13 января 1863 года он продал «Цветы зла» и «Парижский сплин» Этзелю. А 1 ноября он продал Мишелю Леви за две тысячи франков, отдал в полное распоряжение все пять томов переводов произведений Эдгара По, включая примечания и предисловия, для издания как во Франции, так и за ее пределами. Мишель Леви обязался заплатить долги поэта нескольким кредиторам из суммы в две тысячи франков, предусмотренной договором, как только будет готов сигнальный экземпляр. Бодлер согласился на эти условия, связывавшие ему руки, лишь потому, что был в отчаянном положении. Этой досадной сделкой он лишал себя права получать в будущем что бы то ни было от совокупности своих произведений, которыми он дорожил как зеницей ока. Еще до подписания договора он жаловался матери: «Дело с Леви сделано. Завтра я потеряю все мои права, получив взамен 2000 франков, которые будут выплачены в течение десяти дней. Это даже меньше половины того, что мне нужно. Значит, остальное должна оплатить Бельгия. Так что я напишу в Бельгию о необходимости составить договор, определяющий цену каждого урока (лекции), количество всех уроков и количество уроков в неделю. Эдгар По приносил мне доход в 500 [франков] в год. Мишель [Леви] решил этот вопрос, как решают продажу бакалейной лавки. Он просто выплатил доход за четыре года». А через месяц, узнав, что мать сочла

несправедливым этот договор, он ей ответил: «Нет, ты не можешь меня упрекать по поводу 2000 франков от Леви. Из них я не получу и 20 франков. Леви взялся распределить эти деньги между несколькими из моих кредиторов, когда он получит последнюю страницу пятого тома, а я как раз сейчас его заканчиваю».

До конца года он предпринимал невероятные усилия, чтобы собрать денег на поездку. Обращался в газеты и к друзьям. Опять векселя налезали друг на друга. Он занимал у одних, чтобы вернуть долг другим. 31 декабря 1863 года, поздравляя мать с Новым годом, он признался: «Лишь бы отвращение от бельгийской поездки не охватило меня тотчас по прибытии в Брюссель! [...] Меня дрожь пробирает при мысли о моей жизни там. *Лекции, правка гранок, присылаемых из Парижа*, гранки статей в *газеты*, гранки от *Мишеля Леви* и, наконец, кроме всего этого, надо заканчивать „*Стихотворения в прозе*“. И все же теплится смутная надежда, что новизна впечатлений пойдет мне на пользу и прибавит энергии». Но только в конце апреля 1864 года он решился наконец паковать чемоданы.

Поездка в поезде до Брюсселя занимала мало времени, а он готовился к ней так, будто ему предстояло пересекать континенты. Возможно, ему вспоминалось путешествие времен его ранней юности, когда родители под тем предлогом, что он «не преуспел» в Париже, отправили его морем в Индию. Понравится ему Брюссель, ему, в свое время отказавшемуся от Калькутты? В сорок три года он чувствовал себя таким же уязвимым и нерешительным, таким же непонятым и неудачливым, как и в двадцать лет. Постарев, он научился только одному: неприязни к себе подобным. Но, быть может, этого достаточно, чтобы создавать нетленные творения?

## **Глава XX. БЕДНАЯ БЕЛЬГИЯ!**

Одни люди, оказавшись в чужой стране, обретают новую молодость, другие — ощущение, будто они вдруг утратили корни и барахтаются во враждебном мире, где никто и никогда не протянет им руку помощи. 24 апреля 1864 года, выйдя из вагона на Южном вокзале Брюсселя, Бодлер не знал, счастлив ли он или несчастен, приехав сюда. Для пущей уверенности он говорил себе, что пребывание здесь будет кратким: прочесть несколько лекций и договориться с бельгийскими издателями. Остановился он в гостинице «Гран Мируар», в доме 28 по улице Монтань. Гостиничный номер показался ему мрачным и нищенски обставленным. Но из соображений экономии нужно было довольствоваться тем, что было, в надежде, заработав достаточно денег, снять затем роскошную квартиру.

Для начала он прогулялся по городу. Ему очень понравились кривые улочки, пивные, церкви и часовни, окруженные тихими домами, богатые кварталы, чистые, строгие и загадочные. Ему не терпелось встретиться, взойдя на какую-нибудь кафедру, с людьми, живущими за этими стенами. В целом, о них говорили, что они поверхностно религиозны, напичканы предрассудками и лишены чувства юмора. Удастся ли ему их расшевелить? Темой первой лекции он выбрал творчество Эжена Делакруа. Назначили ее на 2 мая 1864 года. В этот день сопровождавший его г-н Стевенс приехал с ним в так называемый Королевский дом, дворец в готическом стиле, на площади напротив ратуши. Накануне Бодлер направил приглашение издателю Лакруа, а также юному Гюставу Фредериксу, критику из «Эндепанданс бельж». Лакруа не счел

нужным явиться, но Фредерикс пришел и занял свое место в полупустом зале.

Это было первое в жизни Бодлера выступление на публике. Он нервничал, голос у него охрип, монотонная прерывистая речь утомляла слушателей. Чтобы завоевать симпатию бельгийцев, он похвалил в своем вступлении «интеллектуальное здоровье» их страны, «своего рода блаженство, подпитываемое атмосферой добродушия, к которому мы, французы, не приучены, особенно те из нас, кто, вроде меня, не избалован Францией». Одним словом, он просил Бельгию стать для него матерью, ибо мачеха-Франция лишала его кормящей груди. Подготовив таким образом почву, он напомнил о смерти художника и плавно принялся зачитывать свою статью «Жизнь и творчество Эжена Делакруа». Кончилась лекция под аплодисменты, что ободрило его. Репортаж Фредерикса в «Эндепанданс бельж» оказался одобрителем. Увлекающийся Бодлер открыл в себе новое призвание — оратора.

Чтобы отдохнуть от волнений, он провел два дня в Сталь-су-Юккле, имении богатого промышленника Леопольда Коллара, друга Стевенса. Г-жа Коллар обожала французскую культуру, неплохо рисовала и любила природу, но, увы, имела, по мнению Бодлера, непростительный грех: восхищалась Жорж Санд и верила в прогресс...

Несмотря на теплый прием, он вернулся в гостиницу «Гран Мируар» в отвратительном настроении. Получив письмо от матери, он 6 мая 1864 года написал ей ответ, к которому приложил статью Фредерикса: «Вот заметка о моем первом выступлении. Здесь говорят, что это — огромный успех. Но, между нами говоря, дела идут очень плохо. Я приехал слишком поздно. Здесь все ужасно жадны, медлительны до невозможности и совершенно пустоголовы. Одним словом, бельгийцы глупее французов. Здесь ничего нельзя получить в

кредит, нет никакого кредита — возможно, для меня это и лучше». Он рассчитывал прочесть в Брюсселе еще одну лекцию (за которую, как он пишет, ему заплатят не 200 франков, как он надеялся, а только 50) и организовать турне по провинции: «Вот мои цели: заработать как можно больше денег на лекциях и заключить договор с издательством Лакруа на издание сочинений в трех томах. Но прежде всего — закончить начатые произведения: „Парижский сплин“ и „Современники“».

На вторую лекцию, состоявшуюся 11 мая, он пригласил Фредерикса, Лакруа, Фербокховена, г-жу Коллар... В тот вечер он должен был читать лекцию о Теофиле Готье. Когда он начал, во вместительном зале Художественного кружка было человек двадцать, не больше. Все они сидели в первых рядах. К тому же по ходу лекции несколько человек ушли. Выступал Бодлер во фраке и белом галстуке перед темным и почти пустым залом, обращаясь, как ему казалось, к голым стенам. Керосиновая лампа освещала его бледное, гладко выбритое лицо. Один из немногочисленных слушателей, бельгийский писатель-натуралист Камиль Лемонье, вспоминал: «Я видел его подвижные глаза, горящие, как два черных солнца. Рот его жил независимо от выражения лица. Тонкий и мерцающий, он будто дрожал от смычка произносимых слов. И голова находилась где-то далеко вверху, словно на башне, над испуганным вниманием слушателей». В конце раздались два-три хлопка — благодарность лектору, который трижды поклонился «словно перед полным залом». Это был явный провал.

Три другие лекции, 18, 21 и 23 мая, посвященные чтению длинных отрывков из «Искусственного рая», тоже прошли при почти пустом зале. Осознав несомненность провала, руководство Художественного кружка приняло решение прекратить финансирование и

выслало Бодлеру через технического служащего 100 франков вместо 500 предполагавшихся. А он рассчитывал именно на 500, чтобы оплатить свое пребывание в отеле. «Итак, — написал он матери 11 июня 1864 года, — вот они, эти светские люди, адвокаты, художники, судебные чиновники — народ внешне благовоспитанный, но это не помешало им совершить по существу кражу, ограбить доверившегося им иностранца». И это тем более возмутительно, уверял он Каролину, что лекции «имели шумный успех — никто не помнит ничего подобного». Теперь он захотел «сыграть ва-банк», организовав лекцию в гостиной одного биржевого маклера, предоставившего ему это помещение. И опять он разослал приглашения во все концы города, в том числе и министру Королевского дома. Пригласил он, в шестой раз, и издателя Лакруа, которому все время что-нибудь мешало прийти. «Я хочу собрать высшее общество», — написал он матери. Это было тем более важно, что о нем в Бельгии распространился клеветнический слух. «Неожиданно разнесся слух, что я нахожусь на службе у французской полиции!!!!!! Эта гнусная клевета прилетела из Парижа. Ее распространил кто-то из банды В. Гюго, хорошо знакомого с глупостью и легковерием бельгийцев».

Маклер, который предоставил Бодлеру на один вечер свое помещение, — Проспер Крабб, опытный управляющий делами Стевенса и Коллар. Жил он на улице Нёв, в доме 52-бис, — залы которого, как в настоящем музее, были увешаны прекрасными картинами. Войдя 13 июня в этот дворец вкуса и богатства, Бодлер испугался: не слишком ли высоко его занесло? Потом, обнаружив нескольких гостей, прогуливавшихся по залам, он почувствовал неудержимое желание расхохотаться. Но над чем тут смеяться: над самодовольной глупостью этих господ или над собственной наивностью, заставившей его

собрать их, чтобы что-то им поведать? «Представь себе три огромных салона, — писал он матери, — освещенных люстрами и канделябрами, украшенных великолепными картинами, абсурдное изобилие пирожных и вина; и все это — для десяти-двенадцати человек с очень печальными лицами. Какой-то журналист, склонившись ко мне, говорит: „В ваших стихах есть что-то христианское, что не всегда замечают“. В другом конце салона сидят на канапе маклеры. До меня доносится их разговор: „Он утверждает, что все мы — кретины!“ Вот они, бельгийский ум и бельгийские нравы. Поняв, что от моих речей всем стало скучно, я прервал чтение и принялся пить и есть. Пятеро моих друзей, удивившись, смутились, и только я один смеялся». Это веселье побежденного скорее причиняло ему боль, чем приносило облегчение. Бодлер готов был взорваться. Он смеялся, чтобы не сорваться и не начать раздавать пощечины.

Лакруа не соизволил явиться и на этот раз. Но один из акционеров издательства все же пришел и затем устроил встречу поэта и Фербокховена. У Бодлера проснулась надежда. Но разговор оказался коротким. Фербокховен остался неумолим. Критические статьи ему были не нужны. Разве что роман мог бы его заинтересовать. «Какое лицемерие! — прокомментировал Бодлер. — Он ведь знает, что у меня нет романов». Поскольку с Лакруа-Фербокховеном ничего не получилось, он обратился к «Эндепанданс бельж». К сожалению, у газеты уже имелись корреспонденты в Париже, и к тому же директор опасался этого взрывоопасного француза, который не любил ни Францию, ни Бельгию.

Тут уж гнев поэта против Бельгии превратился в болезненное отвращение. Досада, обусловленная серией неудач, усугублялась еще и нервным



истощением, вызванным прогрессирующим сифилисом. Чтобы успокоить нервы, он принимал опиум и употреблял много спиртного, тем самым окончательно затуманивая свой мозг. Будучи не в силах обвинять отдельных людей, Бодлер обратил свой гнев на всю нацию. Каждый день писал он письма, полные истерической злости, собираясь опубликовать их в «Фигаро». Потом у него возник замысел книги «Бедная Бельгия!», где оказались бы уместными и кое-какие язвительные стихи. Но хотя он и выезжал несколько раз в провинцию, знал он только Брюссель, да и то приблизительно!.. Чтобы его атаки стали более весомыми, было совершенно необходимо повидать другие города. Но билеты на поезд стоили дорого. Как он ни экономил, денег ему ни на что не хватало. Благоразумие подсказывало, что нужно вернуться в Париж, поднакопить денег и уже потом опять отправиться в Бельгию, чтобы пополнить досье. Между тем проходили недели, а он все откладывал и откладывал свой отъезд из брюссельского болота. Использовал любой предлог, чтобы не двигаться с места, сетуя на вынужденную неподвижность. 13 ноября 1864 года он сообщил Анселю, что готов удрать и что его памфлет против Бельгии уже практически готов (что вовсе не соответствовало действительности). «Эта книга о Бельгии, как я Вам сказал, станет проверкой моих когтей. Потом я обращу их против Франции. Я терпеливо объясню все причины моего отвращения к человеческому роду». 18 ноября он уточнил в письме тому же Анселю, что уедет через пару дней. Но и 18 декабря Бодлер все еще продолжал оставаться в Брюсселе и объяснял свою затянувшуюся задержку следующим образом: «В последний момент, несмотря на все мое желание повидать матушку и несмотря на смертную скуку моей жизни здесь, — такой скуки не вызывает у меня даже французская глупость,

от которой я так страдал эти последние годы, — *меня вдруг охватил страх, жуткий страх, ужас* от перспективы вновь увидеть мой ад, очутиться в Париже и при этом не иметь возможности щедро раздать деньги, что могло бы обеспечить мне настоящий отдых в Онфлёре».

Тем временем Бодлер посетил Антверпен, Мехелен, Намюр, где он был гостем Фелисьена Ропса, слегка взбалмошного человека, наделенного несомненным талантом живописца и гравера. Он восхищался памятниками, пейзажами, колокольным звоном церквей, но не изменил своего мнения о жителях, продолжая считать их всех людьми низшей категории. И новогодние поздравления матери 1 января 1865 года он послал по-прежнему из Брюсселя. Он признался ей, что опасается уйти из жизни прежде, чем осуществит все свои планы и искупит свою вину перед ней. Но у него было одно извиняющее обстоятельство: «Я уже столько страдал и так был наказан, что многое мне можно простить». Он уже восемь месяцев прозябал в Бельгии, тогда как должен был пробыть там всего несколько дней. Причина очень проста: «Вернуться во Францию я хочу только со славой. Моя добровольная ссылка приучила меня обходиться вообще без развлечений. У меня не хватает сил для непрерывного труда. Вновь обретая энергию, я буду горд и более спокоен».

Это навязчивое стремление вернуться на родину с высоко поднятой головой теперь царило в его сознании, питало его сомнения и объясняло его бездействие. Он подсчитал, что, съедая столько, сколько нужно лишь для поддержания существования, и выпивая минимум вина, он сможет прожить на семь франков в день. В гостинице номер его был оплачен, но почему-то сложилось мнение, что денег у него в обрез, и хозяйка посматривала на него искоса. «Я же вижу, как они

кривятся, завидев меня. И потом есть масса мелких расходов, помимо гостиницы, — чтобы их покрыть, я вот уже два месяца иду на разные смехотворные хитрости: табак, бумага, почтовые марки, ремонт одежды и т. д. Например, мечта выпить хинной настойки стала в моей голове такой же неотвязной, как мысль о теплой ванне у больного чесоткой. И потом, мне надо бы принять какое-нибудь сильное слабительное. Ничего этого я не могу себе позволить [...] Я страдаю и скучаю. И все же даже если бы у меня было много денег, *я бы все равно не уехал. Я отбываю наказание и останусь здесь*, пока причины наказания не исчезнут. Речь идет не только о деньгах, но и о книгах, которые надо закончить, и о тех книгах, которые надо продать, которые обеспечат мне во Франции спокойную жизнь на протяжении нескольких месяцев». Он не раз прибегал к помощи ломбарда, чтобы выкарабкаться. Заложил, например, часы, которыми дорожил самым сентиментальным образом.

Когда день у него складывался особенно трудно, он отводил душу на бельгийцах, работая над рукописью «Бедная Бельгия!» Все в них казалось ему отвратительным. Запах черного мыла, которым мыли тротуары и дома в Брюсселе, вызывал у него тошноту; бельгийские мужчины, по его мнению, грубы и ограничены, а женщин вообще не было в этой стране — одни самки. К тому же они дурно пахли и не умели улыбаться: «Мускулы лица у них недостаточно гибки, чтобы совершать это мягкое движение». И выглядели все, как разжиревшие «рубенсовские персонажи». «При ходьбе они косолапят ноги, — писал Бодлер. — Большинство важных господ носят монокль на шнурке, висящем у носа». На улицах попадалось много горбунов. Кухня, естественно, была отвратительна, а напитки ужасны. Еще он писал следующее: «Если расположить живые существа по порядку, то место

бельгийца определить трудно. Можно, однако, утверждать, что его следует поместить где-то между обезьяной и моллюском». Немало листов бумаги исписал Бодлер, язвительно перемывая косточки народу, виноватому, как он считал, в его несчастьях, неудачах и хворях.

Обеспокоенная тем, что он никак не может решиться вернуться во Францию, г-жа Поль Мёрис подружески спрашивала его: «Скажите, что Вы делаете в Брюсселе? Ничего. Вы там умираете от скуки, а здесь Вас с нетерпением ждут. Какими нитями привязаны Ваши крылья к этой глупой бельгийской клетке? Скажите прямо». В момент, когда он был склонен к трезвым суждениям, Бодлер ответил ей: «Где бы я ни был, в Париже, в Брюсселе или в любом другом городе, везде я буду неизлечимо болен. Есть такая мизантропия, проистекающая не от дурного характера, а от слишком обостренной чувствительности и от слишком большой склонности обижаться и оскорбляться. — Почему я сижу в Брюсселе, который терпеть не могу? *Во-первых, потому, что я здесь нахожусь*, а в нынешнем моем состоянии мне будет плохо в любом месте. Затем — потому, что я наложил на себя епитимью до тех пор, пока не отделаюсь от моих грехов (а это происходит очень медленно). А еще до тех пор, пока некто, кому я поручил заниматься в Париже моими издательскими делами, не решит некоторые вопросы». А дальше он снова принялся ругать бельгийскую кухню, бельгийские вина и бельгийских женщин: «От одного вида бельгийской женщины я готов упасть в обморок. Самому богу Эросу было бы достаточно раз посмотреть на лицо бельгийки, чтобы вся его пылкость немедленно пропала».

Чтобы поразвлечься в этом мире чопорных и тяжеловесных людей, он ухитрялся их провоцировать. Поскольку шепотом передавалось, что он находится в

Бельгии по заданию французского правительства и шпионит за республиканцами в изгнании, Бодлер распространил слух, что он педераст, что приехал из Парижа специально для того, чтобы вычитывать гранки «развратных произведений», что он к тому же убил своего отца и что его выпустили из лап правосудия только в обмен на услуги в качестве шпика. «И этому поверили! — торжествуя, писал он г-же Поль Мёрис. — *Я плаваю в позоре, как рыба в воде*».

Тем не менее он продолжал посещать Художественный кружок и салоны Коллара и Стевенса. Любил поражать собеседников различными резкими суждениями. Писатель Эмиль Леклерк, свидетель таких разговоров, писал: «Он очень много говорил, причем напыщенно, о пустяках, мог прочесть целую лекцию своим вибрирующим от горечи голосом, что уже само по себе неприятно действовало на нервы. Секрет его успеха в качестве писателя и рассказчика, а если точнее — художника, ибо он был именно художником, — крылся в том, что можно определить как противоречие. [...] Он изображал из себя религиозного человека, а жизнь его, бесстыдно рассказываемая им самим, полностью опровергала мистицизм, который он пытался демонстрировать (...) И тут тоже он предпринимал огромные усилия, чтобы выглядеть человеком небанальным, не понимая, что добивается он лишь пустой выпренности». Что касается французских эмигрантов в Брюсселе, то с ними он не общался. Убежденные республиканцы, бежавшие от режима Наполеона III, продолжали за границей пережевывать свои политические обиды. Единственное, что было у Бодлера общего с ними, — это тоска по Франции. Но они *не могли* туда вернуться, а он *не хотел*.

Он полагал, что его памфлет против Бельгии станет звонкой пощечиной, от которой страна не оправится, и

вместе с тем произведением искусства, которое вознесет имя автора в зенит славы. Виктор Гюго излил свою желчь против империи в «Возмездиях», а он изольет свою — против подданных короля Леопольда — в книге «Бедная Бельгия!». Лишь бы ему дали время собрать все необходимые материалы! День за днем язвительные записи, словно тучи саранчи, покрывали листы бумаги. Например: «Бельгия — это то, во что, возможно, превратилась бы Франция, если бы она осталась в руках Буржуазии. [...] Кто бы тогда захотел прикасаться к этому *дерьму*?» О, если бы холера — эпидемии опасаются в Брюсселе — уничтожила жителей этого города! «Как бы я насладился зрелищем агонии этого ужасного народа) [...] Да, уверяю вас, я бы наслаждался, видя гримасы ужаса и мучений на лицах людей этой расы с желтыми волосами и лиловым цветом кожи!» Какой бы ни была его обида на бельгийцев, как мог он, гениальный автор «Цветов зла», составлять целую книгу из такого рода бесконечных ругательств, не превосходящих по уровню вульгарных надписей в общественных уборных? Близкие ему люди подозревали, что он просто утратил чувство самоконтроля или даже что его психическое здоровье вообще оставляет желать лучшего. Но он продолжал упорствовать в разрушении этой страны и самого себя. «Бедная Бельгия» или бедный Бодлер?

Он находил в Брюсселе поддержку лишь в обществе нескольких «оригиналов» вроде него. Прежде всего это был Пуле-Маласси, приехавший после денежного краха в Бельгию, чтобы там безнаказанно торговать непристойными книгами. Жизнерадостность, задор, дерзость и цинизм этого человека были заразительны. Давнюю ссору с Шарлем он забыл. Они тотчас нашли общий язык прежних лет. Встречались в кафе, ругали писателей, процветавших во Франции, и вполголоса посмеивались над окружающими их бельгийцами. «Мы с

Маласси вовсе не помираем со скуки, как Вы полагаете, — писал Бодлер Сент-Бёву. — Мы научились *обходиться безо всего в стране, где нет ничего*, и поняли, что некоторые удовольствия (например, удовольствие от приятной беседы) увеличиваются по мере того, как уменьшаются некоторые потребности. Что касается Маласси, то я восхищаюсь его мужеством, его активностью и его неистощимой веселостью. Он удивительно эрудирован в области литературы и изобразительного искусства. Ему все интересно, и он из всего извлекает науку. Любимая наша забава — он изображает из себя атеиста, а я делаю вид, будто стал иезуитом. Вы знаете, я могу стать святошей из чувства противоречия (*особенно здесь*), но достаточно меня поместить рядом с *кюре-грязнулей* (грязнулей и физически, и морально), как я тут же стану безбожником». Однако Маласси обосновался далеко от гостиницы «Гран Мируар», находившейся в центре города. Он нашел себе пристанище в небольшом домишке на улице Мерселис, в пригороде Иксель, и жил там с эльзаской Франсуазой Даум, главным достоинством которой являлось кулинарное искусство. Каждый раз, возвращаясь от них, Бодлер облизывался и очень сожалел, что друг его поселился у черта на куличках. «Право, я готов был бы платить ему, как за пансион, лишь бы питаться у него», — писал Шарль матери.

Другим выдающимся чудачком, весьма заметным на фоне благоразумных жителей Брюсселя, был Феликс Надар. Он приехал показать бельгийцам интересное зрелище — полет на воздушном шаре во время праздника Независимости. Надар пригласил и Бодлера подняться в корзине аэростата, и тот с восторгом согласился участвовать в таком воздухоплавательном приключении, но потом из осторожности отказался лететь, предпочитая издалека аплодировать полету

воздушного шара, названного «Гигантом». Позже он ездил с Надаром в Ватерлоо. Но шумная дружба журналиста-фото-графа скоро стала его утомлять. Он не замедлил вернуться в свое привычное состояние анахорета в гостинице «Гран Мируар», не обращая внимания на недоверчивые косые взгляды хозяйки, которые она бросала, когда он проходил мимо ее конторки.

Несмотря на неприязнь к клану Гюго, он считал себя обязанным принимать приглашения на ужин, которые время от времени присылала супруга поэта, — в ту пору она с детьми жила в Брюсселе, в доме 4 на площади Баррикад, тогда как глава дома все еще оставался на острове Гернси. И всякий раз Бодлер возвращался с этих вечеров в угнетенном состоянии. «Вчера я был вынужден ужинать у мадам Гюго с ее сыновьями (пришлось занимать сорочку), — писал он матери. — Боже мой, до чего смешна бывшая красавица, не умеющая скрыть своего разочарования, когда обнаруживает, что ею больше не восхищаются! А эти маленькие господа, которых я знал совсем крохотными и которые хотят всем руководить! Они так же глупы, как и их мать, и все втроем так же глупы, как и глава семьи! Уж они меня мучили, мучили, приставали ко мне, а я делал вид, что я веселый добродушный дядя. Если бы я был знаменитым человеком и имел сына, который подражал бы моим недостаткам, я бы его убил от неприязни к самому себе. Но поскольку ты не знаешь смешных моментов всего этого мирка, ты не можешь понять ни моих усмешек, ни моих приступов злости». Да, тяжело дался Шарлю этот ужин. Он вспомнил о нем и в письме к госпоже Поль Мёрис: «Несколько дней назад я был вынужден ужинать у г-жи Гюго. Оба ее сына усердно просвещали меня по части политики, это меня-то, республиканца уже в ту пору, когда их не было на свете, а я думал о той злой картине, где Генрих IV



изображен на карачках с детьми, сидящими на нем верхом. Г-жа Гюго рассказала мне о величественном плане *интернационального воспитания* (я думаю, что это очередная прихоть великой партии, решившей осчастливить весь людской род). Я не умею говорить легко в любое время дня, особенно после ужина, когда мне хочется помечтать, и поэтому мне стоило большого труда объяснить ей, что были великие люди и до *интернационального воспитания* и что поскольку у детей нет других желаний, кроме как объедаться пирожными, пить тайком ликеры и встречаться с девицами, то и после такого проекта больше, чем сейчас, великих людей не станет. К счастью, меня считают сумасшедшим и относятся ко мне снисходительно».

Бодлер действительно не переносил неизменной напыщенности, чудовищной наивности и медоточивых добреньких чувств, которые от отца передались всему клану Гюго. Он благословлял небо за то, что занимающий везде слишком много места Виктор еще не воссоединился с семьей. Узнав, что великий человек собрался купить дом в Брюсселе, в квартале Леопольд, и переехать в него, Шарль не оставил этот слух без внимания: «По-видимому, он поссорился с самим Океаном. Или у него самого нет больше сил выносить Океан, или это он надоел *самому* Океану. Стоило ли так старательно отделывать дворец на скале! Вот, например, я, одинокий, всеми забытый, я продам домик моей матери только в самом крайнем случае. Но у меня еще больше гордости, чем у Виктора Гюго, и я чувствую, я знаю, что никогда не буду таким глупым, как он. Хорошо жить везде (было бы здоровье, да еще были бы книги и гравюры) даже *лицом к лицу с Океаном*». В этом же письме, адресованном Анселю, он также писал: «Можно иметь *исключительный талант* и быть *глупцом*. Виктор Гюго нам это отлично доказал».

Наконец в начале июля 1865 года Гюго на короткий срок приехал в Брюссель, чтобы за баснословную сумму в 120 тысяч франков передать издателям Лакруа и Фербокховену рукописи сборника стихов «Песни улиц и лесов» и романа «Труженики моря». Бодлер уязвлен: разница между гонорарами мэтра и его собственными представляется ему несправедливой. Он ненавидел Гюго за его удачу в финансовых делах, за всемирную славу, за несокрушимое здоровье. Почему этот человек, которому уже некуда девать деньги, печет книги, как блины, а он, прозябающий в нищете, с таким трудом выжимает из себя две-три строки? Совершив триумфальную поездку по Бельгии и Германии, автор «Отверженных» вернулся в Брюссель, пригласил Бодлера отужинать и с отеческой снисходительностью предложил как-нибудь в ближайшие дни заглянуть к нему на остров. При каждой встрече с ним Бодлер страдал от необходимости быть любезным с этим бородатым полубогом, восседающим на троне в окружении своих приближенных, тогда как в душе он ненавидел его за позерство, за притворные речи и за мнимую щедрость.

Виктор Гюго опять уехал на остров Гернси 24 октября, а через некоторое время Шарль написал матери: «Я не согласился бы получить ни славу его, ни богатство, если бы за это мне пришлось *унаследовать* его чудовищные нелепости. Г-жа Гюго наполовину дура, а два их сына — настоящие оболтусы. Если тебе захочется почитать его последнюю книжку („Песни улиц и лесов“), *вышлю ее тотчас*. Как всегда — невероятный коммерческий успех. И одновременно — полное разочарование всех мыслящих людей, кто успел прочитать книгу. На этот раз он захотел быть легким, веселым, влюбленным и помолодевшим. Но все стихи ужасно тяжело читаются. Во всем этом, как и во многом другом, я вижу еще один повод поблагодарить Бога за

то, что он не наградил меня такой глупостью». Бодлер нашел этот последний сборник стихов настолько посредственным, что даже забыл поздравить автора, — это Гюго обидело, хотя и на расстоянии. Впрочем, Шарля огорчает вообще любая чужая литературная удача, воспринимавшаяся им как критика его собственного бездействия. Он честно признавался в этом матери: «Каждый день я вижу в витринах брюссельских магазинов всю легкомысленную и бесполезную продукцию, издаваемую в Париже. Меня бесит мысль, что мои шесть книг, плод многолетних трудов, если бы их переиздавали хоть раз в год, приносили бы мне приличный доход. Да, поистине, судьба никогда меня не баловала».

Хотя он пообещал г-же Гюго, за одним из обедов, что напишет о «Тружениках моря» статью, он не стал этого делать, может, из-за лени, а может, потому что ему не понравился избыточный мелодраматизм книги. Кстати, его отношение к Адели Гюго постепенно изменилось. Он узнал, что когда-то у нее был роман с Сент-Бёвом, явившийся причиной разрыва между двумя писателями, и иногда, выбрав подходящую минуту, подолгу рассказывал неверной супруге о прежнем любовнике. С каким-то извращенным удовольствием раздувал он угли неостывшей страсти. Бодлера очень забавляла возможность потеснить Виктора Гюго в глазах его жены, пробудив в душе несчастной ее прежние чувства к Сент-Бёву. Он рассказал об этом Сент-Бёву, и тот наивно благодарил Шарля за услугу: «Вы очень любезны, что беседуете иногда обо мне с г-жой Гюго: она — единственная верная подруга, которая была у меня в этом мире». В конце концов, решил Бодлер, эта Адель, быть может, не так уж и глупа, раз ее любили и Сент-Бёв, и Гюго. Однажды, узнав, что Бодлер заболел, она направила к нему своего врача. Он тут же изменил свое мнение о ней и написал матери:

«Г-жа Гюго, которая раньше представлялась мне смешной, на самом деле оказалась славной женщиной».

А тем временем парижские друзья продолжали беспокоиться о нем. Отсутствуя так долго, Бодлер рисковал быть забытым во Франции. А ведь многие молодые поэты охотно увидели бы его во главе новой поэтической школы. Появившись в столице, уверял его Сент-Бёв, он стал бы для них «авторитетом», «советником», «провидцем». Эти начинающие авторы собирались обычно у издателя Лемерра, в проезде Шуазель. Первого февраля 1865 года некий двадцатитрехлетний поэт публикует в журнале «Артист» под общим заголовком «Литературная симфония» три восторженных эссе в форме стихотворений в прозе, где речь шла о Теофиле Готье, Шарле Бодлере и Теодоре де Банвиле. «Зимой, — писал он, — когда мне становится тяжело от моего собственного оцепенения, я с наслаждением погружаюсь в дорогие мне страницы „Цветов зла“». Едва раскрыв своего Бодлера, я тянусь к удивительному пейзажу, возникающему перед глазами с такой же интенсивностью, как то бывает во время глубокого опиумного опьянения». Статья была подписана не совсем обычным именем: Стефан Малларме. Похвала незнакомца оставила Бодлера равнодушным. Зато он проявил неподдельный интерес, когда Сент-Бёв сообщил ему в конце года, что журнал «Ар» выпустил в виде трех брошюр длинное исследование об авторе «Цветов зла». Автор, некий Верлен, юноша двадцати одного года, утверждал, что Бодлер олицетворяет собой «современного человека», «с его обостренными, вибрирующими чувствами, с до болезненности утонченным умом, с пропитанными табачным ядом мозгами, с отравленной алкоголем кровью». А целью поэзии, считал молодой автор, «является Прекрасное,

только Прекрасное, Прекрасное в чистом виде, без примеси Полезного, Истинного и Справедливого».

В глубине души польщенный, Шарль переслал эти «пустячки» матери в доказательство того, как его ценят в некоторых кругах. Но при этом он сопровождал их таким трезвым комментарием: «У этих молодых людей есть талант, однако они чересчур увлекаются! Какие преувеличения, какая самонадеянность молодости! Вот уже несколько лет я замечаю то там, то здесь подражания мне, и эта тенденция меня настораживает. Нет ничего более компрометирующего, чем подражатели, а мне больше всего нравится пребывать в одиночестве. Но это невозможно: оказывается, существует *школа Бодлера*». С другой стороны, когда Эмиль Дешанель, его бывший однокашник по лицею Людовика Великого, расхвалил его в своей лекции, но представил публике «Цветы зла» с позиции «напуганного буржуа», Бодлер, узнав об этом, страшно возмутился и написал Анселю, повинному лишь в том, что он посетил это нелепое собрание: «И Вы оказались *наивным ребенком*, забыли, что *Франция терпеть не может поэзию, истинную поэзию*, что она любит только таких мерзавцев, как Беранже и Мюссе; [...] в общем, что глубокая, сложная, горькая и (внешне) дьявольски холодная поэзия меньше всего создана для вечного пустословия!»

Несмотря на отказ от всякого общения с молодежью, превозносившей его до небес, Бодлер разрешил Катюлю Мендесу напечатать в журнале «Парнас контанпорен» несколько имевшихся у него стихотворений, в том числе тех, которые он был намерен опубликовать отдельной брошюрой под названием «Обломки». Катюль Мендес заплатил автору сто франков, необходимые, как тот утверждал, для покупки лекарств.

Но все это были мелочи. Больше всего его занимали в тот момент поиски солидного издателя. Он горько сожалел, что перед самым отъездом из Парижа заключил с Этзелем договор на пять лет, дававший тому право переиздавать «Цветы зла» и печатать неиздававшийся ранее «Парижский сплин» («Маленькие стихотворения в прозе»). Теперь Этзель, потеряв терпение, умолял его прислать ему рукопись «Сплина», но Бодлер, чувствуя, что он не в состоянии сейчас закончить произведение, отказывался отдать его в печать таким, какое оно есть. Ему хотелось, чтобы какое-нибудь издательство согласилось выпустить в свет не просто две его книги («Цветы зла» и «Сплин»), а Полное собрание сочинений. Он поручил защищать свои интересы майору Ле Жосн, затем — Жюльену Лемеру, бывший критик держал на бульваре Итальянцев книжный магазин. Лемер пытался заинтересовать этой идеей братьев Гарнье, но издатели колебались. А тут возникли некоторые трудности, связанные с Маласси. После примирения с Бодлером тот задумал передать третьему лицу долговое обязательство на две тысячи франков, полученное когда-то от своего бывшего автора. Он ссылаясь на вынужденность этого шага, поскольку ему не давали покоя собственные кредиторы.

И тут Шарль наконец признал, что права мать и правы друзья, уговаривавшие его вернуться во Францию. Несомненно, в Париже он сможет уладить свои денежные дела и договориться о продаже рукописей. Да, да, надо уезжать. Но когда? Каждую неделю он откладывал это столь трудное и столь неотложное решение. Однажды даже приехал на вокзал, чтобы купить билет, но отступил, испугался, подумав, что лишь сменит один «ад» на другой, что ему сразу же предстоит погрузиться душой и телом в парижскую суету, не утихомилив предварительно своих

кредиторов. И, понутив голову, он вернулся в свой номер в «Гран Мируар».

Однако к середине июня он перестал так панически бояться возвращения. Совершил над собой сверхчеловеческое усилие и упаковал чемоданы. Вошел в вагон, словно поднимаясь на эшафот. 4 июля 1865 года он был в Париже, в гостинице Северной железной дороги, на площади возле Северного вокзала. До него доносился беспокойный шум огромного города, особенно отчетливо слышались скрип колес и цоканье копыт по мостовой. 5 июля он написал Этзелю, чтобы объяснить ситуацию (во что бы то ни стало «выудить» две тысячи франков) и заверить его, что скоро он зайдет к нему в контору: «При всей Вашей любезности мне нужно набраться смелости, чтобы прийти к Вам». 6 июля у него состоялась встреча с Анселем, который за это время настолько вырос в его глазах и завоевал его уважение, что Бодлер выслушивал всегдашние мудрые наставления с видом раскаивающегося ребенка. 7-го числа он приехал в Онфлёр. Настоящее царство покоя, этот «домик-игрушка», висящий на скале! Как он мог так долго жить вдали от этого цветущего сада, от этой комнаты с окнами, выходящими на затуманенные серо-голубые дали Ла-Манша, от своей постаревшей матери, плачущей от радости в его объятиях, когда он покрывал поцелуями ее лицо? Но вот, после первого излияния чувств, Бодлер решился признаться матери, что его очень беспокоит долг Пуле-Маласси. Он объяснил, что его прежний издатель, сам находящийся на грани разорения, будет вынужден передать долговое обязательство какому-нибудь дельцу-спекулянту, который, несомненно, окажется менее покладистым. Сидя рядом с вернувшимся сыночком, г-жа Опик сокрушалась: ее бюджет очень скуден, а Шарль — настоящая бездонная бочка. Но ей тяжело было видеть его страдания. Она пообещала распорядиться, чтобы

Ансель одолжил ему нужную сумму. Тут же почувствовав, что гора свалилась с плеч, Бодлер вздохнул с облегчением. На следующий день, 8 июля, он написал Пуле-Маласси: «Так, за две минуты была решена проблема, от которой у меня сводило внутренности всякий раз, когда я о ней задумывался». Как она и обещала, г-жа Опик дала Анселю указание, и тот покорно выдал требуемую сумму в две тысячи франков.

Получив то, что хотел, Шарль не счел нужным задерживаться в Онфлёре. Вечером 9-го числа, оставив мать в растерянности от краткости этого небескорыстного визита, он вернулся в Париж. И с этого момента думал лишь о том, как бы вновь отправиться в Брюссель. В силу какого-то странного противоречия, чем больше он презирал этот город и эту страну, тем сильнее было его желание оказаться там. Подобно влюбленному мазохисту, радующемуся, когда его стегают плетью, Бодлер испытывал потребность страдать среди людей, которых он презирал, поскольку таким образом мог в полной мере насладиться своей необычностью. Во время краткой встречи с Асселино он с пафосом доказывал ему, что не имеет права задерживаться в Париже, так как важные дела и начатая работа требуют его присутствия в Бельгии. Асселино улыбался, слушая эти выдумки, а потом записал в своих «Воспоминаниях»: «Чтобы его подзадорить, я передал ему слова, услышанные однажды от Теофиля Готье: „Этот Бодлер меня удивляет! Как понять эту манию засиживаться в стране, где тебе так плохо? Когда я ехал в Испанию, в Венецию, в Константинополь, я знал, что мне там будет хорошо, а по возвращении я напишу хорошую книгу. Бодлер же сидит в Брюсселе и скучает ради удовольствия сказать потом, что он там скучал!“ Он засмеялся, попрощался со



мной и заверил, что пробудет там не больше двух месяцев».

Бодлеру не терпелось уехать, но у него состоялось еще несколько встреч: с Ипполитом Гарнье, Этзелем и Жюльеном Лемером, на улице Руаяль он выпил кружку пива с секретарем Сент-Бёва Жюлем Труба, поговорил недолго с Банвилем... 11 июля 1865 он сообщил Сент-Бёву: «Уезжаю в ад». Но с места не двинулся. Вечером 14 июля, возвращаясь из пригорода, где он был в гостях, Катюль Мендес столкнулся на Северном вокзале нос к носу с Бодлером, опоздавшим на поезд. Он обратил внимание на приличный, хотя и потертый, костюм поэта, на его усталый вид, на беспокойный и хмурый взгляд. Шарль признался, что освободил номер в гостинице и будет искать другой, на одну ночь, поскольку хочет уехать завтра с первым же поездом. Катюль Мендес предложил ему переночевать у него, в небольшой квартире неподалеку от вокзала, на улице Дуэ. Бодлер согласился, но, расположившись на ночлег, долго не смог уснуть и стал громко рассказывать удивленному хозяину, сколько ему удалось заработать за свою жизнь денег. Он подсчитывал гонорары — за традиционные стихотворения и за стихи в прозе, за переводы, за статьи, за издания и переиздания... И подытожил с горькой усмешкой потерпевшего поражение: «Мои доходы за всю жизнь составили 15 892 франка и 60 сантимов». Катюль Мендес прокомментировал: «Грусть моя, подпитываемая исполненной почтения жалостью, все усиливалась, а потом к ней добавился гнев. Я подумал о модных авторах романов, о плодовитых мелодраматургах, и у меня появилось желание — о, такое детское — вцепиться в горло обществу, а еще мне захотелось крепко обнять этого великого поэта, глубокого и тонкого мыслителя, прекрасного художника, который на протяжении двадцати шести лет трудовой жизни

зарабатывал примерно один франк и семьдесят сантимов в день». Видя удрученную физиономию юного собрата по перу, Бодлер горько засмеялся, потушил лампу и произнес: «А теперь — спать!» Но уснуть ему никак не удавалось. Всю ночь он ворочался на постели, преследуемый кошмаром слагаемых чисел и каких-то гримас. Наутро, когда Катюль Мендес проснулся, Бодлер уже уехал.

В Брюссель Шарль вернулся 15 июля 1865 года. В своем номере в гостинице «Гран Мируар» он находит свои бумаги, свою тоску и нечто вроде запаха логова, где можно укрыться подальше от всех и страдать в тишине. И снова потянулись недели меркантильных забот и монотонной лени. В Париже Гарнье в конце концов отказался от предложений Шарля. Разочаровавшись в своих обычных посредниках, Бодлер обратился к Анселю, умоляя его, несмотря на прежние их размолвки и свои саркастические высказывания о нем, стать его импресарио в переговорах с издателями. Славного человека тронуло это неожиданное проявление доверия. Продолжая сожалеть по поводу того, что его подопечный так чурается проторенных путей к славе, чурается лирической поэзии, добродетели и прогресса, он согласился, однако, взять на себя такого рода хлопоты.

А тем временем Бодлер и Пуле-Маласси занялись в Брюсселе подготовкой к публикации «Обломков» — сборника из двадцати трех стихотворений. В предисловии издатель предупреждал, что большинство из них были запрещены судом или не издавались по другим причинам. Это произведение не для широкой публики печаталось в Амстердаме под издательской маркой «Петух». Тираж 260 экземпляров. Подготовить фронтиспис поручили Фелисьену Ропсу. Бодлер заранее радовался возможности скоро увидеть эту дорогую для него небольшую книгу и принялся составлять список

тех, кому ее непременно надо будет послать. Но у него опять начались сильные головные боли с приступами рвоты. После одного такого приступа он признался Анселю, что никак не может избавиться «от легкого головокружения, от тумана в голове и рассеянности мысли». По его мнению, эти странные явления объяснялись «употреблением опиума, дигиталиса, белладонны и хинина». Врачи посоветовали ему удвоить дозы. Это принесло ему облегчение и позволило сочинить еще несколько ядовитых пассажей о Бельгии, о только что умершем Леопольде 1, «этом жалком негодяе», и о новом короле, Леопольде 11, въехавшем в Брюссель с триумфом, «под шутовскую музыку буфф-паризьен». Бодлер, если и хотел выздороветь, несмотря на отвращение ко всем народам Земли — будь то бельгийцы, французы или китайцы, — то лишь затем, чтобы не дать погибнуть своему творчеству. Кто займется его произведениями, если он не будет подстегивать всех этих издателей, скупых и невежественных? «Ведь мое имя уже предают забвению! — жаловался он в том же письме к Анселю. — А эти „Цветы зла“, которые остаются не востребованной драгоценностью, хотя в умелых руках они могли бы, вот уже в течение *девяти лет*, переиздаваться дважды в год! А другие книги! Ну что за гнусная ситуация!»

Хотя денег у него было совсем мало, к Новому году он послал «дорогой и доброй мамочке» графинчики для растительного масла и уксуса. Он попросил ее сфотографироваться в Гавре и прислать ему фотографию. С удивлением отмечал, что с возрастом он все чаще думает о ней: «Я вижу тебя в твоей спальне или в гостиной за рукоделием, вижу, как ты переходишь из комнаты в комнату, что-то делаешь, выражаешь недовольство, издали упрекаешь меня за что-то. А то вспоминаю свое детство, проведенное рядом с тобой на улице Отфёй и на улице Сент-Андре-

дез-Ар. Но время от времени пробуждаюсь от мечтаний и с ужасом думаю: „Главное — взять себе за правило постоянно работать, чтобы эта неприятная обязанность стала моей единственной радостью. Ибо наступит время, когда других радостей у меня не останется“». Это не помешало ему *в том же письме* обвинить мать в том, что она не поняла его и не помогла в тех битвах, которые он всю жизнь вел против «невезения»: «Через три с половиной месяца мне будет сорок пять лет. Мне уже поздно думать о том, чтобы сколотить хотя бы крошечное состояние, особенно с моим неприятным и непопулярным талантом. Может быть, даже уже слишком поздно рассчитывать с долгами и пытаться сохранить средства, необходимые для того, чтобы обеспечить себе безбедную, достойную старость? Но если я когда-нибудь сумею вернуть прежнюю энергию и работоспособность, я изолью свой гнев, создавая чудовищные книги. Пусть весь людской род ополчится против меня. Это станет моей единственной радостью, единственным утешением. А пока мои книги спят, пока они — всего лишь не востребуемые ценности. К тому же обо мне забывают».

Так порывы сыновней любви чередовались с приступами ненависти ко всему человечеству; послав графинчики любимой матушке, Бодлер вскидывал к небу кулак. Интересно, а был бы он иным, если бы его книги пользовались таким же успехом у читателей, как книги Гюго? Порой он с тоской спрашивал себя об этом. Быть может, под дождем золотых монет и похвал он утратил бы ту демоническую энергию, которая позволила ему написать «Цветы зла»? Быть может, не жаловаться ему следовало, а радоваться, что из-за бесконечных несчастий он оказался осужден на постоянный бунт и мятеж? Быть может, если бы его жизнь сложилась благополучно, не состоялось бы его творчество? Быть может, то, что он называл

«невезением», как раз и оказалось настоящим его шансом по отношению к будущему?

## Глава XXI. ПРОКЛЯТЬЕ!

Наступил момент, когда головные боли и рвота стали ежедневными. Теперь Бодлер мог писать, только обвязав голову тканью, смоченной болеутоляющей жидкостью. Как только начинались боли, он принимает пилюли с опиумом, валерианой, наперстянкой и белладонной. Доктору Леону Марку, осматривавшему его в начале 1866 года, он так описывал свой недуг: сначала путаются мысли, наступает удушье, появляются дергающие боли в голове, головокружение, возникает ощущение, что вот-вот упадешь; затем выступает холодный пот, начинается слизистая рвота, наступает непреодолимая апатия. Но он не говорил врачу о сифилисе. И при тогдашнем уровне медицинской науки доктор Марк не сумел определить природу болезни. Он ограничивался тем, что запрещал больному пить пиво, чай, кофе и вино. Бодлер с трудом переносил эти запреты. Он принимал ванны, пил минеральную воду Виши и предавался отчаянию. Его больше всего беспокоила внезапность приступов. «Я чувствую себя прекрасно, ни крошки во рту, и вдруг, без какого-либо предупреждения или явной причины, замечаю неясность мысли, рассеянность, какой-то ступор, — писал он 5 февраля 1866 года своему другу Асселино. — И дикая головная боль. Если не лежу на спине, непременно падаю. Затем — холодный пот, рвота, долгое заторможенное состояние [...] Болезнь не отступает. И врач произнес приговор: истерия. Я просто отказываюсь понимать. Он хочет, чтобы я много гулял, очень много. Это глупо. Не говоря уже о том, что я стал настолько робок и неловок, что улица меня пугает, да здесь вообще невозможно гулять из-за ужасного состояния дорог и тротуаров, особенно в эту пору».

Встревоженный такими деталями, Асселино показал в Париже письмо своему давнему другу, доктору Пиоже. Тот нашел эти симптомы довольно серьезными, но ставить диагноз без осмотра больного отказался. Со своей стороны, г-жа Опик решила посоветоваться со своим личным врачом в Онфлёре доктором Локруа. По ее просьбе Шарль описал в письме от 6 февраля, как протекают приступы, какие лекарства ему прописали и какой диагноз поставил лечащий врач: истерия. Затем, опасаясь, что он перепугал мать, добавил: «Должен тебя успокоить: знай, что вот уже три дня у меня нет ни головокружений, ни рвоты. Правда, я еще некрепко стою на ногах. Но врач говорит: „Истерия, истерия! Надо побороть себя; надо заставить себя ходить пешком“. Ходить в такую погоду по этим ужасным улицам и разбитым дорогам! В Брюсселе прогуливаться просто невозможно. Смешно, но факт есть факт: если за мной идет кто-нибудь, будь это даже ребенок или просто собака, я готов тут же упасть в обморок [...] Как видишь, все это у меня на нервной почве. Наступят погожие дни, и все пройдет. По-моему, единственное разумное из всего, что я услышал от моего врача, это его совет: „Принимайте холодные ванны и плавайте“. Но в этом чертовом Брюсселе нет реки. Правда, придумали бассейны, где вода слегка подогревается. Но при моем воображении это отвратительно. Я не желаю купаться в искусственном пруду, загрязненном всеми этими сволочами. Этот совет так же трудно выполнить, как и предписание гулять. Попробую принимать холодный душ [...] Должен сказать, что после пяти таких душей, я, кажется, выздоровел. Если еще несколько дней не будет повтора, попрошу доктора предписать мне *постоянную гигиену*. Когда я по собственной воле исключил из рациона *вино, чай и кофе*, он сказал: слишком строго. К тому же питание тут не поможет. Пейте немножко чая и даже немножко

вина. Он настаивает на своем выражении „нервные осложнения“ и на антиспастических лекарствах и всегда добавляет: „Ходите больше пешком, несмотря на вашу застенчивость“ [...] Я не хочу соблюдать постельный режим, но я боюсь работать».

В последующие дни у него пробудилась надежда, он стал лучше есть, в частности жареное мясо и вареные овощи, которые хорошо переваривал его желудок, пил слабый чай и сожалел, что не может позволить себе спиртного. Единственная неприятная сторона такого режима состояла в том, что «слабенькое опьянение от чая» вызывало у него «небольшой прилив крови к голове», «подобный тому, который иногда испытываешь, когда ешь мороженое». У него возникло опасение, что апоплексический удар не позволит ему привести в порядок его дела, и он обвинил бельгийский климат в ухудшении своего здоровья. «Неужели ты думаешь, — писал он матери, — что мне приятно жить в окружении дураков и врагов, где я несколько раз встречал французов, тоже больных, как и я, и где, по моему, не только тело, но и ум со временем сдает, *не говоря уже о том, что, оставаясь здесь, я сам способствую тому, что меня забывают, и что, совсем того не желая, я рву все мои связи во Франции?*» В гостинице к тому времени он уже задолжал несколько сот франков. Хозяйка гостиницы стала для него «чудовищем Гран Мируара». Она просматривала его почту в ожидании ценного письма с деньгами. Эта слежка выводила его из себя, и он попросил Ансея посылать ему письма до востребования. Он ходил за ними на почту, волоча ноги, с головой, увенчанной тюрбаном, который был пропитан скипидаром и разными болеутоляющими снадобьями.

Однажды утром, в середине марта 1866 года, он проснулся с ясной головой и легкостью во всем теле. Что это, выздоровление? Как раз в этот день он должен



был отправиться к тестю своего друга, Фелисьена Ропса, который пригласил провести несколько дней у него в Намюре. Бодлер ни за что на свете не хотел бы пропустить такую поездку. Он тщательно совершил утренний туалет, вычистил ногти, расчесал свои откинутые назад длинные седеющие волосы, осмотрел себя в зеркале и поехал на вокзал с чувством человека, дождавшегося наконец отпуска. Первый же визит был в церковь Сен-Лу. Он пошел туда вместе с Фелисьеном Ропсом и Пуле-Маласси, присоединившимся к ним. В тот момент, когда он любовался исповедальнями, украшенными великолепными скульптурами, у него закружилась голова, он потерял равновесие и упал на каменный пол. Друзья его подняли. Он успокоил их, сказав, что просто поскользнулся. Те сделали вид, будто поверили. Но на следующий день утром у него появились признаки помутнения сознания. Его срочно отвезли на вокзал и посадили в брюссельский поезд. Он стал требовать, чтобы открыли окно купе. Между тем оно было открыто. Его спутники обеспокоенно переглянулись. Он поблагодарил их слабым голосом. Лицо у него было неподвижное и как бы утратившее цельность.

По возвращении в гостиницу «Гран Мируар» он еще смог некоторое время передвигаться по комнате мелкими неуверенными шажками и писать короткие письма. 20 марта он сообщил матери: «Чувствую себя ни хорошо и ни плохо. С трудом пишу и работаю. Потом объясню почему». Через три дня Каролина получила еще письмо. Но написано оно было чужой рукой: он его продиктовал. По-видимому, в промежутке у него случился второй приступ. Расстройство координации движений правой руки и правой ноги. Он попытался дать понять матери, будто это его не тревожит: «Доктор настолько *добр*, что согласился написать под мою диктовку; *он просит тебя не волноваться* и говорит,

что через несколько дней я опять смогу работать». Кроме того, он снова повторил просьбу выслать денег. Хозяйка дома усилила нажим. Надо бросить ей хоть какую-нибудь кость. Пусть Каролина займется этим. «Если можешь, напиши г-ну Анселю, чтобы он отправил *срочно* г-же Лепаж, хозяйке гостиницы, денег — сколько захочет или сколько сможет». Диктовал Бодлер короткие послания также и друзьям, а 29 марта почувствовал себя настолько лучше, что сообщил Катюлю Мендесу о типографских опечатках в «Новых цветах зла», которые должны были появиться в журнале «Парнас контанпорен». 30 марта он продиктовал еще два письма, одно — Анселю с просьбой послать, в соответствии с уже имевшимся согласием г-жи Опик, тысячу франков «этой мерзавке» — хозяйке гостиницы, другое — матери, которой он попытался объяснить, что нет никакой необходимости Анселю ехать в Брюссель: «Во-первых, потому, что я не могу передвигаться, во-вторых, потому, что у меня полно долгов, и в-третьих, мне надо побывать в шести городах, на что уйдет пара недель. Я не хочу, чтобы плоды долгого труда пропали даром».

Однако доктор Марк от себя сообщил госпоже Опик, что хотя состояние Шарля не должно волновать ее сверх меры, все же больному необходимы «строгий режим и семейный присмотр, которых он полностью лишен в Брюсселе». Он посоветовал перевезти его в Онфлёр, и сделать это, по его мнению, следовало через неделю или дней через десять. Но Каролина и сама была слишком нездорова, чтобы ехать за сыном. А Асселино, который готов был бы взяться за это дело, выразил опасение, что Бодлер не вынесет тягот поездки.

31 марта доктор Марк предупредил Пуле-Маласси, что состояние больного ухудшается с каждым часом. Он боялся паралича. Пуле-Маласси тут же послал

телеграмму Анселю с просьбой поскорее приехать в Брюссель. На следующий день он написал Асселино: «Сообщаю, что Бодлер очень плох. Еще неделю назад полагали, что это всего лишь тяжелое нервное расстройство, требующее долгого лечения. Но вчера парализовало правую сторону и появились признаки размягчения мозга [...] Таким образом, надежды спасти нашего друга нет. Я только что пришел от него. Он узнал меня с трудом. Сегодня вечером жду приезда г-на Анселя, доверенного лица г-жи Опик, с которой я переписываюсь вот уже неделю и которой я послал вчера телеграмму с описанием состояния больного. Считаю своим долгом сообщить Вам, что в ходе объяснений с ним, которые мне предстоят, я буду настаивать на том, чтобы издание произведений Бодлера совершалось Вами, если болезнь будет иметь трагический конец, как этого приходится опасаться».

Сразу же по приезде в Брюссель Ансель встретился с Пуле-Маласси и с доктором Марком, чтобы перевезти Бодлера в клинику Сен-Жан-э-Сент-Элизабет, расположенную в доме 7 по улице Сандр, где за больными ухаживали сестры милосердия, монахини-августинки. 3 апреля больной был доставлен в больницу. С остановившимся взглядом, с перекошенным ртом, он едва мог связать два слова, едва мог выразить элементарную мысль. Его положили в общую палату. Доктор Леким, главный врач больницы, подтвердил диагноз: паралич правой стороны тела. Но у Бодлера еще оставалось достаточно ясности ума и силы воли, чтобы говорить «нет» всему, что ему предлагали. «Нет» возвращению в Париж. «Нет» поездке для выздоровления в Онфлёр, к матери. «Нет» предлагаемой ему пище. «Нет» простейшим жестам набожности, которые хотели бы видеть ухаживающие за ним монахини. Настоятельница была так этим удручена, что пожаловалась г-же Опик, и та в отчаянии

написала Пуле-Маласси: «Я получила письмо от настоятельницы [...] Рассказав о состоянии здоровья моего несчастного сына, она пишет, что *он не верит в Бога и что ей очень трудно держать в своей больнице неверующего человека, а потому она просит меня приехать и помочь ей.* Боюсь, она не хочет оставлять его у себя. Что мне делать в таком случае, куда его положить? А еще больше я боюсь, как бы монахини, движимые, разумеется, наилучшими намерениями, не начали его мучить, как бы они не причинили ему вред, слишком рано и слишком настойчиво говоря о Боге. Пусть бы они оставили его на пути постепенного выздоровления, по которому он, кажется, начал двигаться! Раз опасность ему сейчас не угрожает, как пишет настоятельница, то зачем устраивать ему эту пытку раньше времени? Конечно, я была бы очень несчастна, если бы сын мой покинул этот мир без покаяния, но ведь дело еще не так плохо». Несмотря на боль в ногах, она собиралась поехать в Брюссель в сопровождении своей горничной Эме. Она хотела бы снять небольшую квартирку неподалеку от больницы или, в крайнем случае, комнату в приличной гостинице. Подготовившись, 12 апреля она села в поезд. Первый этап — Париж. Передохнув немного, она продолжила путь. 13-го Ансель телеграфировал Пуле-Маласси: «Опик и служанка придут завтра 13 часов. Встречайте вокзале. Поместите гостинице рядом сыном».

В день приезда г-жи Опик, 14 апреля, Пуле-Маласси сообщил Асселино о состоянии здоровья их общего друга: «Дважды за неделю у него были острые приступы размягчения мозга [...] Не исключено, что в любой день подобный приступ унесет его в могилу, а вместе с тем такое состояние может длиться месяцы и даже годы. Вот чего я ему не желаю. Вот уже три дня Бодлер не произнес ни слова, он не может выразить

даже простейшую мысль. Насколько он понимает то, что ему говорят? Неясно. По два часа в день я провожу у его постели, всматриваюсь в его лицо, пытаюсь разобраться в состоянии его рассудка и, право, не решаюсь высказаться, мыслит ли он еще *в какой бы то ни было степени* [...] Лицо его — все еще лицо разумного человека, и мне кажется, что иногда мысли, *словно молнии*, озаряют его мозг. Полагаю, что он *не без удовольствия* слышит, когда произносишь имя кого-либо из друзей. Сегодня в Брюссель приезжает его мать. Ей бы лучше было оставаться дома, поскольку зрелище это не из легких».

Госпожа Опик с горничной остановилась в гостинице «Гран Мируар». Каролине не терпелось увидеть сына, и вместе с тем она боялась, что эта встреча вызовет у него эмоциональное потрясение. Врачи, жалея ее, сказали, что у Бодлера мозг «перетрутился», что он «устал раньше срока». Когда она увидела в общей палате этот живой труп с тупым взглядом, то расплакалась. Куда делся ее Шарль, ее элегантный и заносчивый денди? Кого ей показывают вместо него? Пуле-Маласси, присутствовавший при встрече, тоже заплакал. Потом она взяла себя в руки, попыталась пробудить какой-то интерес у больного, рассказывая ему о его детстве. Временами он обнаруживал желание ответить. Но все его усилия оказывались напрасными — из перекошенного рта вырывались только дикие, нечеловеческие крики. Чтобы развлечь больного, его одели и вывели в сад, на солнце, чтобы он хоть немного прошелся. Поддерживаемый с двух сторон, опираясь на палку и волоча ноги, он молча сделал несколько шагов, потом еще несколько. Пуле-Маласси не отходил от него. «Какой чудесный молодой человек, этот Маласси, — написала потом г-жа Опик Анселю. — До чего же он добр! У этого юноши, должно быть, прекрасная душа!» К ней вдруг пришло решение.

Сейчас она нужна Шарлю больше, чем когда-либо: «Я не уеду, я буду ухаживать за ним, как за ребенком». В этом инвалиде она вновь увидела младенца, которого когда-то так любила. Поскольку он перестал быть похожим на нормального взрослого человека, она опять стала матерью, думающей только о том, чтобы его утешать, баюкать, заботиться о нем. Больничная койка превратилась в колыбель. Вот только сестры милосердия были ужасны. Они тормозили Шарля, требуя, чтобы он перекрестился, прежде чем проглотит пищу. У матери возникло опасение, что так они усугубляют его болезнь. Пять дней спустя Пуле-Маласси и Артур Стевенс по просьбе г-жи Опик забрали его из больницы и отвезли в гостиницу «Гран Мируар». Едва он вышел из палаты, как сестры с молитвой бросились на колени, а затем стали опрыскивать святой водой кровать, на которой лежал этот больной, обреченный на дьявольские муки. Был приглашен священник — чтобы освятить помещение.

Экипаж, в котором ехали Бодлер и два его друга, медленно везла спокойная лошадка. Шарль покачивал головой, косился на улицу и повторял только одно непонятно к чему относящееся слово «нет». Для него отвели просторную, светлую комнату на первом этаже гостиницы. Похоже, она ему понравилась, хотя он продолжал ворчать и говорить «нет». Каролина вздохнула с облегчением, довольная тем, что избавила сына от слишком предприимчивых монахинь. Наконец-то он принадлежал ей, только ей!

А тем временем в Париже журналисты судачили о состоянии Бодлера. 12 апреля Жорж Майяр сообщил в газете «Эвенман», что автор «Цветов зла» тяжело болен: «Опасаются, что он потеряет рассудок, а то и жизнь». Банвиль в той же газете опроверг это заявление. Несколько дней спустя Анри де Ля Мадлен подготовил некролог для газеты «Нэн жон»: «В

Брюсселе, в жалком гостиничном номере, скончался поэт, автор „Цветов зла“. Эта неожиданная смерть вызвала волнение в литературных кругах Парижа». Узнав, что новость ложная, журналист поспешил предварить свой текст таким сообщением: «Когда мы сдавали газету в печать, бельгийские газеты опровергли слухи о смерти Шарля Бодлера. Дай-то Бог, чтобы эта добрая весть подтвердилась и чтобы поэт прожил еще долгие годы! Поскольку я ничего не написал об умершем Бодлере, чего живой Бодлер не мог бы прочесть, я не меняю в моей статье ни строчки». В прессе обсуждалось болезненное состояние поэта; в одних газетах расхваливали его достоинства, в других подчеркивали его странности. В газете «Журналь де Брюссель» Виктор Фурнель написал: «Из-за своей потребности выделиться из массы и от страха перед банальным у него появилась некая литературная навязчивая идея; он растратил свой упрямый талант на создание стихов, порой просто возмутительных».

Друзья Бодлера тяжело воспринимали все эти пересуды.

Состояние больного оставалось стабильным. Мать с ним шутила, словно вернулась та пора, когда она, совсем молодая, прогуливалась с ним в колясочке. Пуле-Маласси находил, что она «добра», «любезна», но «слишком неугомонна для своих семидесяти двух лет». Сын же бывал с ней порой очень резок. Что бы она ни сделала, он всем был недоволен, выражая свое возмущение порывистыми жестами и нечленораздельными криками. Так, после визита парикмахера, он требовал, чтобы мать подала ему щетку для волос. Она протягивала ему щетку, а Шарль, скрежеща зубами и яростно вращая глазами, швырял ее в угол. Щетка его не устраивала. Через пять минут, писал Пуле-Маласси в письме Асселино, у него снова случился приступ гнева против щетки. На этот раз ему

дали жесткую щетку для шляпы. Он опять выразил недовольство, зарычал и злобно засмеялся. Потом успокоился. Однажды Пуле-Маласси решил вывезти его в экипаже за город. Проявляя постоянную преданность, он старался развлечь его в надежде пробудить в нем искорку сознания, нежности, памяти. Но у Шарля был один ответ на все знаки внимания: безразличное или раздраженное выражение лица. «Наконец мы выехали за город, — писал Пуле-Маласси. — Сделали большой круг среди зелени, зашли пообедать в ресторанчик, где я старался говорить по возможности на веселые темы, а затем привез его обратно, а он так и не обнаружил никакого удовольствия, никакой радости от жизни и только время от времени, после тщетной попытки заговорить, поднимал с обреченным видом глаза к небу».

В любом случае оставлять Бодлера в Брюсселе было нельзя. Но куда ехать? В Онфлёр? Как только при нем об этом заговаривали, Шарль ошетинивался. Он выражал таким образом свое нежелание жить там с матерью в окружении провинциальных сплетен. И она, со своей стороны, тоже признавала, что ее самолюбие сильно пострадало бы, если бы ей пришлось вернуться в Онфлёр с сыном, находящимся в столь плачевном состоянии. Она прекрасно понимала, что все тамошние ее друзья, в прошлом являвшиеся также близкими друзьями генерала Опики, настроены к Шарлю враждебно, и если она поселит его у себя, они ее покинут. Не поместить ли его в психиатрическую клинику доктора Бланша, который выразил готовность Бодлера принять. Но Асселино протестовал: «Я же прекрасно вижу, что Бодлер вовсе не сумасшедший, а раз так, то нечего и думать о клинике Бланша и ни о чем другом в таком же роде».

В конце концов г-жа Опик решила по совету Пуле-Маласси увезти сына в Париж и подыскать подходящую



лечебницу на месте. Отъезд наметили на 29 июня. Каролина вместе с горничной Эме поддерживали Шарля под руки. Пуле-Маласси не мог позволить себе рисковать и вернуться во Францию, поскольку годом раньше он был осужден исправительным судом. Но в поездке принял участие Артюр Стевенс. Они заняли недорогое купе. В Париже, на Северном вокзале, Асселино пришел встречать поэта. Бодлер издали узнал его в толпе. Левой рукой он опирался на Артюра Стевенса, правая рука безжизненно висела вдоль туловища, к пуговице его костюма была привязана палка. Узнав друга, Бодлер разразился долгим диким хохотом, таким громким, что у окружающих холодок пробежал по спине.

Несколько дней он провел в гостинице рядом с Северным вокзалом, где его посетили врачи — Пиожей, Лязег и Бланш. Затем больного перевезли в лечебницу доктора Эмиля Дюваля, расположенную неподалеку от Триумфальной арки, в доме 1 по улице Дом, на пересечении ее с улицей Лористон. Переезд туда состоялся 4 июля 1866 года, и поместили его в просторную, хорошо проветриваемую палату на первом этаже, с окнами в сад. Чтобы облегчить расходы г-жи Опик, Асселино направил письмо министру народного образования Виктору Дюрюи с просьбой предоставить Бодлеру «пенсию для покрытия расходов, связанных с лечением, необходимым при его состоянии здоровья». В петиции, в частности, уточнялось: «Эта помощь была бы вполне оправданна, поскольку Бодлер открыл для Франции самого прекрасного писателя Нового Света и вот уже двадцать лет сотрудничает с крупнейшими журналами и газетами». Поскольку это было официальное прошение, то Асселино сознательно опустил название «Цветы зла». Любое напоминание об этом сборнике могло насторожить власти предрежащие. Чтобы придать больше веса этому

прошению, Асселино заполучил для него подписи Шанфлери, Банвиля, Леконта де Лиля и трех академиков: Сент-Бёва, Жюль Сан-до и Мериме.

Четвертого октября Виктор Дюрюи подписал постановление о предоставлении Бодлеру «500 франков для возмещения расходов на лечение». Смехотворная подачка государства одному из величайших поэтов Франции. Друзья были возмущены скупостью правительства. Г-жа Опик со вздохом подсчитывала свои возможности. Она остановилась в меблированных комнатах, в доме 8 по улице Дюфо, каждый день навещала сына, но она так безудержно проявляла свою любовь, что тому было трудно вынести ее старушечью болтовню и нежности. Она словно наверстывала все годы их разлуки, вцепившись в него и не отпуская от себя, причесывая и кормя его с ложечки. Из-за мельчайших пустяков между ними происходят бурные сцены. Когда она предложила купить ему домашние туфли или отдать починить старые, он, задыхаясь от гнева, без конца кричат «проклятье!» — единственное слово, которое ему еще удавалось произносить, — и ей стоило большого труда его успокоить. В другой раз он выходил из себя, потому что она не понимала, чего он хочет, подсовывая ей под нос книгу «Обломки». Он топал ногами на свою вконец затерроризированную мать, истошно кричал и, выбившись из сил, бросался на диван, дергая руками и ногами, как от разряда электрического тока. Когда она рассказала об этом доктору Дювалю, тот ответил: «Избегайте таких стычек — они могут вызвать у него кровоизлияние в мозг. Я уже давно хотел вас просить не ходить к нему, потому что такие приступы гнева бывают у него только в вашем присутствии».

Расстроенная г-жа Опик в конце концов вернулась в Онфлёр. В Париж она потом приезжала время от времени, но ненадолго. Друзья Шарля поговаривали о

возможной поездке в Ниццу, где климат более благоприятен для больного. Она забеспокоилась. Надо ли и ей туда ехать? Материнский инстинкт подсказывал — надо. «Но разумно ли это при моем состоянии здоровья: ноги, почки?» К счастью, от этого проекта отказались. Так же, как и от переезда в Онфлёр. Бодлер остался в клинике доктора Дюваля, его рассудок был замутненным и единственными словами, которые он время от времени изрыгал, были: «Нет, черт возьми, нет!» Его навещали друзья, он им слегка улыбался, словно привидениям. Асселино, сменив Пуле-Маласси, считал своим моральным долгом посещать Бодлера почти каждый день. Сент-Бёв, Ла Мадлен, Банвиль, Этзель, Леконт де Лиль, Максим Дю Кан, Надар, Шанфлёри, Труба, г-жа Поль Мёрис, Мане с супругой по очереди совершали паломничество в палату, где боролось со смертью то, что осталось от Бодлера. Однажды, по просьбе Шанфлёри, г-жа Поль Мёрис согласилась специально для больного поиграть на пианино. Она принесла с собой партитуру «Тангейзера». Он прослушал внимательно и, похоже, с удовольствием. Но сразу после этого впал в прежнее состояние.

Однако даже во время наиболее мрачных кризисов Бодлер продолжал мечтать о творчестве. Когда Асселино привел к нему Мишеля Леви, то поэт стал жестами объяснять издателю, что он хочет дождаться, когда будет здоров, чтобы самому наблюдать за переизданием «Цветов зла». Он даже указывал на возможную дату своего выздоровления, ткнув пальцем на одно из чисел в календаре: 31 марта 1867 года. Однажды, придя к Мишелю Леви, он увидел там Эрнеста Фейдо, беседовавшего с Асселино, подошел к нему и, вместо того чтобы протянуть коллеге руку, взял его за бороду. Дернул, хмыкнул — и вышел из комнаты. «Когда он вышел, — вспоминал Асселино, — Фейдо

сказал: „Я тысячу раз предпочел бы умереть, чем оказаться в таком положении“».

Какое-то время друзья радовались, когда слышали, как он после отчаянных попыток произносил такие слова, как «здравствуй», «очень хорошо», «привет», «прощай», вперемежку с привычным «проклятье!». Они сообщили г-же Опик о небольших победах над афазией речи. Каролина усматривала в этом первые признаки выздоровления. Ее реакция напоминала радость матери, отмечающей, что ее малыш каждый день обогащает свой словарь. Но очень скоро эти обнадеживающие симптомы исчезли. Бодлер все чаще погружался в прострацию, а в беседах участвовал лишь нечленораздельным бормотанием, мимикой и движениями ресниц. И перестал покидать свою постель. От постоянного лежания у него на ягодицах и на пояснице появились пролежни. Когда его перекладывали, он стонал. В остальном же все шло по-прежнему. Он, всю жизнь восстававший против материи во имя духа, оказался жертвой ужасного реванша телесного начала над интеллектом. Ум угасал, а тело продолжало функционировать. В мире духовном уже не было Бодлера, но оболочка все сопротивлялась, словно главное в этом мире — это не искра гения, а размеренное биение сердца, правильное кровообращение, тайная работа пищеварения и дефекация.

Наконец утром 31 августа 1867 года у Бодлера началась агония. Пришел священник. Кто его позвал? Умиравший не мог произнести ни слова. Даже привычное «проклятье!» не вылетало из его уст. И до того, как он испустил последний вздох, его причастили. Вечный бунтарь почил спокойно, без мучений и являл присутствующим умиротворенное лицо человека, преуспевшего в жизни и бесстрашно ушедшего в мир иной.

Г-жа Опик вернулась в Париж еще в июле. Известие о смерти сына стало для нее ударом, болезненным не только физически. Ей стало внезапно ясно, что она всегда недооценивала его. Ансель отправился в мэрию, чтобы сообщить о его кончине. Он переживал, словно потерял собственного сына. Сидя в фиакре, он не мог сдержать слез. Разумеется, всеми хлопотами, связанными с похоронами, стал заниматься он. Стояло лето. Невероятно жаркое. Труп уже стал разлагаться. Всем вспоминалось стихотворение «Падалъ». Надо было спешить. Похороны назначили на понедельник, 2 сентября. Времени оставалось в обрез. Асселино и издатель Эдмон Альбер с трудом успели оповестить друзей.

После панихиды в церкви Сент-Оноре-д'Эйло, в присутствии сотни человек, траурный кортеж направился на кладбище Монпарнас. Всем распоряжался Ансель. За катафалком шли несколько верных друзей: Поль Верлен, Фантен-Латур, Мане, Артюр Стевенс, Надар, Шанфлёр... Над городом царил предгрозовая духота. Сент-Бёв не пришел. Теофиль Готье оказался в Женеве. Общество литераторов не направило ни одного члена своего комитета. Никто не представлял министра народного образования. Бодлера похоронили в семейном склепе, где уже покоился генерал Опик. Странное свидание двух врагов во тьме гробницы. Банвиль произнес короткую взволнованную речь, посвященную поэту, истинному новатору, который не пытался идеализировать современного человека, но принял его и славил его «со всеми его недостатками, с его болезненной приятностью, с бессильными устремлениями, с победами, перемежающимися столькими разочарованиями, столькими горестями». Затем несколько слов сказал Асселино, убитый горем и возмущенный тем, как мало людей взяли на себя труд

проводить Бодлера в последний путь. Он воздал почести своему другу, который выступал всегда только против посредственности и глупости, всю жизнь был «велик сердцем» и «добр сердцем». Его слова прервал раскат грома. Надвигалась гроза. Ветер уже срывал листья с деревьев, бросив несколько из них на гроб. Опасаясь ливня, присутствующие стали расходиться, не оглядываясь. словно участвовали в чем-то нехорошем.

Тотчас после похорон газетчики ухватились за все, что связано с «Бодлером», и началось состязание пустословов вокруг незаурядной личности. Например, в газете «Журналь де Пари» от 3 сентября Виктор Нуар среди прочих нелепостей утверждал, что Бодлер прожил пять лет в Индии, где сошелся с туземкой, впоследствии ставшей известной в Париже под прозвищем «Черное чудовище», что во время судебного процесса над «Цветами зла» публика оглушительно аплодировала Бодлеру и что американцы предпочитают переводы на французский оригинальным текстам Эдгара По. А Жюль Валлес в газете «Ситюасьон» за 7 сентября выступил с настоящим обвинительным приговором: «В нем было что-то от священника, от старухи и от комедианта [...] Сатану, этого конченого, вышедшего из моды бесенка, задался он целью воспевать, обожать и благословлять! [...] А все дело в том, что этот фанфарон аморальности был в глубине души религиозным человеком, а вовсе никаким не скептиком. Он был отнюдь не разрушителем, а верующим человеком, наивной жертвой глуповатого и печального мистицизма, где у ангелов были крылья летучих мышей и лица проституток». Подогреваемый ненавистью к этому так называемому «новатору», который даже не принадлежал к славному классу трудящихся и, хотя и нападал на буржуазию, но очень следил за своей одеждой и целовал ручки дамам, Жюль Валлес сомневался даже в том, что автор «Цветов зла»

употреблял гашиш и опиум и что он действительно отдал какую-то дань пороку в любви. Для него Бодлер всю жизнь был всего лишь кривлякой и комедиантом. Возмущенный этой статьей, Надар напечатал в газете «Фигаро» за 10 сентября протест: «Невозможно и непозволительно промолчать в связи с нападка на человека, который уже не может ответить. Поэтому я хочу рассказать о человеке, о котором так много говорят и о котором так мало знают». И он набросал портрет Бодлера, этого «джентльмена», на вид такого холодного, чей скептицизм скрывал столько энтузиазма и любви к добротной сделанной работе. А за день до этого Теофиль Готье в газете «Монитёр» воздал покойному собрату по перу почести, приличествующие его гению. Прочие некрологи скорее лишь соответствовали своему жанру. Уход из жизни Бодлера не слишком взволновал литературную общественность того времени.

После похорон г-жа Опик вернулась в Онфлёр. Речи, услышанные ею тотчас после смерти Шарля, помогли ей по-другому взглянуть на собственного сына. Но мать слишком его любила, чтобы поверить в то, что она его не понимала. Трогательное письмо Сент-Бёва о покойном поэте окончательно убедило ее, что она дала жизнь исключительной личности. Теперь объектом ее поклонения стала не только память о нем, но и созданные им произведения.

Бодлер не оставил завещания, и поэтому мать была объявлена единственной его наследницей. По ее просьбе подготовкой к изданию Полного собрания сочинений своего друга занялся Асселино. Переговоры с Мишелем Леви оказались долгими и трудными. Тем более что они ставили под вопрос договоры, уже подписанные автором с Этзелем и Пуле-Маласси. Что касается стихов, запрещенных к изданию судом в 1857 году, то об их переиздании не могло быть и речи. Эти

стихи были официально переизданы лишь после того, как Кассационный суд Франции отменил в 1949 году судебное решение от 1857 года. Когда собрание сочинений готовилось к печати, г-жа Опик вдруг заколебалась и попросила Асселино изъять стихотворение «Отречение святого Петра». «Как христианка я не могу и не должна позволять переиздавать это, — написала она ему в ноябре 1867 года. — Если бы мой сын был жив, он, конечно, сейчас не написал бы такого, потому что в последние несколько лет он стал относиться к религии с симпатией. Если сейчас он видит нас, если он помогает Вам в Ваших трудах, если участвует в моем желании увековечить его славу, то он не будет недоволен этим сокращением, — ведь он знал, как я его осуждала в свое время. Сейчас я слишком несчастна и меня ожидает слишком жестокая жизнь, чтобы я не попыталась избежать угрызений совести, а таковые наверняка будут, если я позволю напечатать этот стих. В моем несчастье мне нужно хотя бы не обвинять ни в чем себя».

Пораженный этим требованием Асселино резко ответил, что если она будет настаивать, то ни он, ни кто-либо еще из друзей ее сына не станет больше заниматься подготовкой издания. Сухая отповедь возымела действие, и Каролина уступила: «Вы прислали мне очень жесткое письмо, в котором я увидела слово „отставка“. Уже этой сокрушительной угрозы было бы достаточно, чтобы поколебать меня, однако магические слова: „Шарль уже не может себя защитить“ произвели мгновенный переворот в моем сознании, отчего я так же мгновенно хотя и со слезами на глазах решила перед его портретом пожертвовать своими угрызениями совести и дала обет, что его мысль останется неизменной и будет воспроизведена такой, как он ее выразил. И находясь под этим



необыкновенным впечатлением, я прошу Вас сохранить стихотворение».

Первый том Полного собрания сочинений Шарля Бодлера вышел в декабре 1868 года в издательстве братьев Леви, в серии «Современная литература». Том начинался с длинного и взволнованного предисловия Теофиля Готье, которое г-жа Опик прочла с благодарностью. Странно, что ее сын, несмотря на свой дурной характер, сохранил столько добрых друзей. Наверное, такова привилегия гения? Она приглашала Асселино и Банвиля посетить ее в Онфлёре, переписывалась с матерью Банвиля. Все, что напоминало о Шарле, стало для нее священным. Ей тяжело было продолжать жить — ведь со смертью сына ее жизнь утратила смысл.

Каролина умерла 16 августа 1871 года в возрасте 78 лет в «доме-игрушке», высоко на скале, от апоплексического удара — от той же болезни, которая унесла ее сына! При последних мгновениях ее жизни присутствовали Фелисите Бодлер, вдова Альфонса, и Эме, прислуга. Тело ее перевезли в Париж и похоронили на кладбище Монпарнас, в том же склепе, где уже покоились останки генерала Опики и Шарля. Имущество ее, в том числе и все, что оставалось от наследства сына, было поделено между Анселем, Эмоном и Фелисите. Эта последняя получила, в частности, все письма Шарля ее семье. Опасаясь запятнать фамилию, полученную при замужестве, эта жеманница отказалась передать частные документы, оказавшиеся в ее руках, друзьям поэта. Чем меньше будут говорить о нем, тем ей будет спокойнее. Ведь он причинил столько беспокойства бедному Альфонсу! Умерла она в 1902 году, и только тогда с памяти о Бодлере оказались сняты все запреты.

Куда-то исчезла с горизонта и другая тень, долго сопровождавшая Шарля: Жанна Дюваль, та самая

мулатка, которую он так любил, так ненавидел и с которой расстался так нехотя. Она почти полностью ослепла и наполовину потеряла рассудок. Надар уверял, что видел ее где-то примерно в 1870 году. Она брела на костылях по бульвару.

Выход в свет семитомного Полного собрания сочинений Бодлера и краткой биографии, написанной Асселино в 1870 году, пробудил любопытство публики к писателю, который при жизни своей интересовал лишь любителей сенсаций. Так, Эдмон де Гонкур не считал нужным даже упомянуть в своем «Дневнике» о кончине автора «Цветов зла». 12 января 1879 года, раздосадованный активностью поклонников Бодлера, он написал: «Безумие писателя или художника (например, Мериона и Бодлера) способствует их популярности после смерти. Оно привлекает внимание к их творчеству, подобно тому, как гильотина взвинчивает цены на автографы тех, кто взошел на эшафот». А еще через четырнадцать лет он стал сетовать на витающий в воздухе *бодлеризм*, который, по его мнению, являлся признаком дурного вкуса. Наконец, 27 января 1895 года у Гонкура случилась новая вспышка возмущения против нечистоплотной литературы: «Кого в настоящее время обожествляет молодежь? Бодлера, Виллье де И'Иль Адана, Верлена. Конечно, все они талантливы, но один из них — богемный садист, другой — алкоголик, третий — педераст и убийца».

В своей посмертной борьбе за Францию «богемный садист» располагал только одним оружием — «Цветами зла». Да, «Парижский сплин», «Искусственный рай», переводы Эдгара По, критические статьи отступили на второй план. Теперь имя Бодлера связывали прежде всего со 152 стихотворениями, вдохновенная ярость и совершенство языка которых поражали молодежь. Последние представители группы «Парнас» и такие

авторы, как Верлен и Малларме, берущие начало в этом движении, через Бодлера породнились с символистами. В 1892 году по инициативе Леона Дешана, главного редактора журнала символистов «Плюм» (Перо), был создан комитет по сооружению памятника на могиле Бодлера. Но деньги собрать не удалось, и проект пришлось отложить. 15 января 1895 года в журнале «Плюм» появился «Сонет Бодлеру» за подписью Малларме. Вскоре тот же журнал посвятил специальный номер портретам Бодлера. Все больше и больше писателей разных направлений отзывались о нем в почтительном тоне. 26 октября 1902 года новый комитет продолжил работу, начатую в 1892 году, и наконец на кладбище Монпарнас, неподалеку от могилы, где покоится Бодлер, был установлен памятник работы скульптора Жозе де Шармуа. Из стелы поднимается поясная фигура некоего демона, склоненного над лежащим человеком, спеленутым наподобие мумии. Эта странная группа вызвала весьма суровую критику последователей поэта. Непонятно было, что она означает и нужна ли она вообще. Однако на церемонию открытия памятника пришла огромная толпа студентов. Если официальные круги явно держались в стороне от этого культа, молодежь казалась словно заколдованной. Бодлера читали потихоньку в школах, кто-то пытался подражать в ученических стихах его сатанизму и презрению ко всему миру.

В 1917 году, через пятьдесят лет после смерти поэта, согласно законодательству, его творчество стало общественным достоянием, и теперь его стихи мог публиковать кто угодно. Хотя шла война, сразу несколько смелых издателей выпустили «Цветы зла» в новом оформлении. Попытка удалась. Вскоре наступила мирная жизнь, и многие люди с радостью открыли для себя ранее запрещенного и проклятого поэта. Стали

выходить роскошные иллюстрированные издания, заполнившие книжный рынок. При этом спрос не уменьшался. В домашних библиотеках порядочных людей эти книги соседствуют с произведениями Виктора Гюго.

Так из поколения в поколение слава Бодлера все растет и растет. Она перешагивает границы и вызывает отклики на всех языках. Но чем больше его комментируют, тем загадочнее выглядит личность самого Бодлера. Кого хотел он напугать, взывая к дьяволу, — читателя или себя? Вполне ли он был искренен, крича о своей ненависти к человечеству? Какую часть его творчества составляет искусный вымысел, а какую — личный опыт? Был ли он утонченным комедиантом, сыгравшим свою жизнь, или бессильной жертвой собственных страстей? И, в общем, хорошо, что на эти вопросы так и нет ответа. Когда намерения писателя остаются неразгаданными, у его творчества больше шансов на долгую жизнь.

## ИЛЛЮСТРАЦИИ



***Жозеф Франсуа Бодлер, отец поэта.***



***Внезапная любовь. Ж. Ф. Бодлер.***



***Площадь Эстрапад в Париже в 1839 году.  
Литография Шампэна с рисунка Ренье.***



***Улица Отфёй, по которой Шарль сделал свои первые Шаги.***





***Единственное дошедшее до нас фото, на котором запечатлена Каролина Опик, мать***

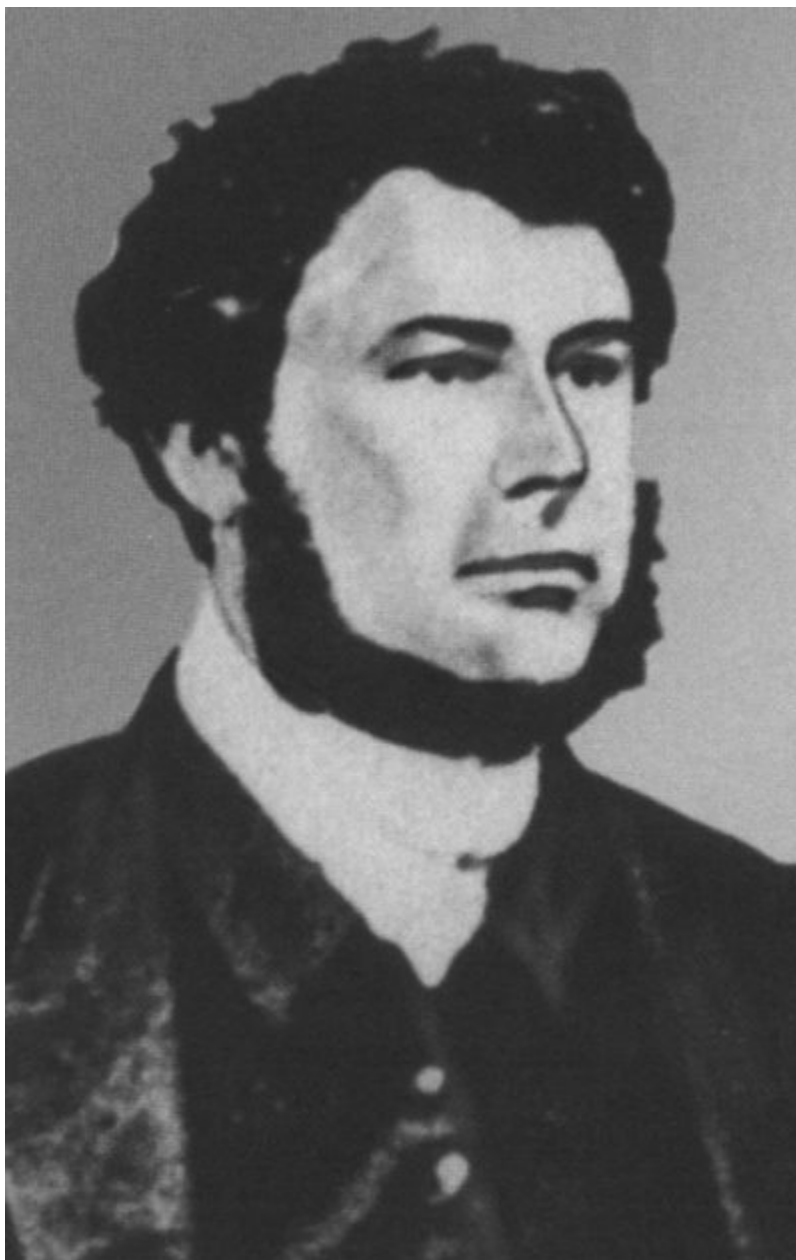
***Шарля Бодлера.***



***Жак Опик, отчим поэта.***



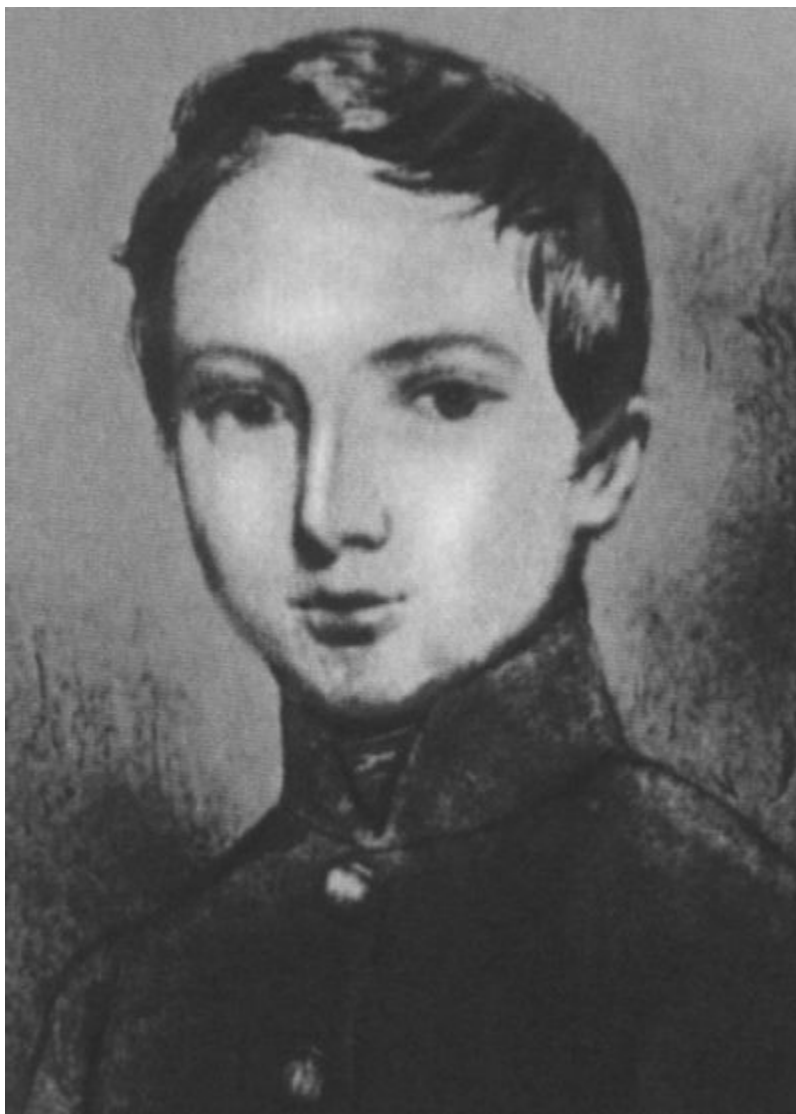
***Вид Лиона. С гравюры Фонвилля. 1851.***



***Альфонс Бодлер, старший брат Шарля по отцу.***



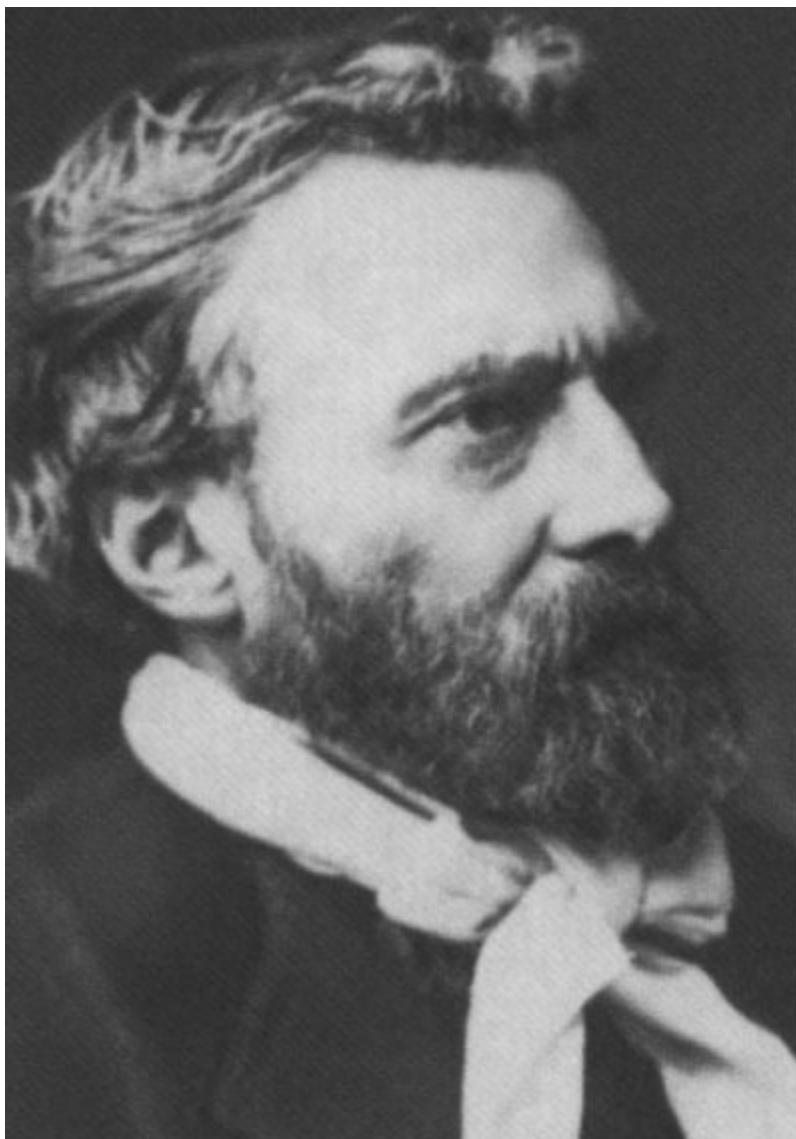
***Лицей Людовика Великого в Париже во времена Бодлера. Фрагмент литографии Башелье.***



***Шарль Бодлер — ученик лицея.***



***Бодлер в двадцать лет.***

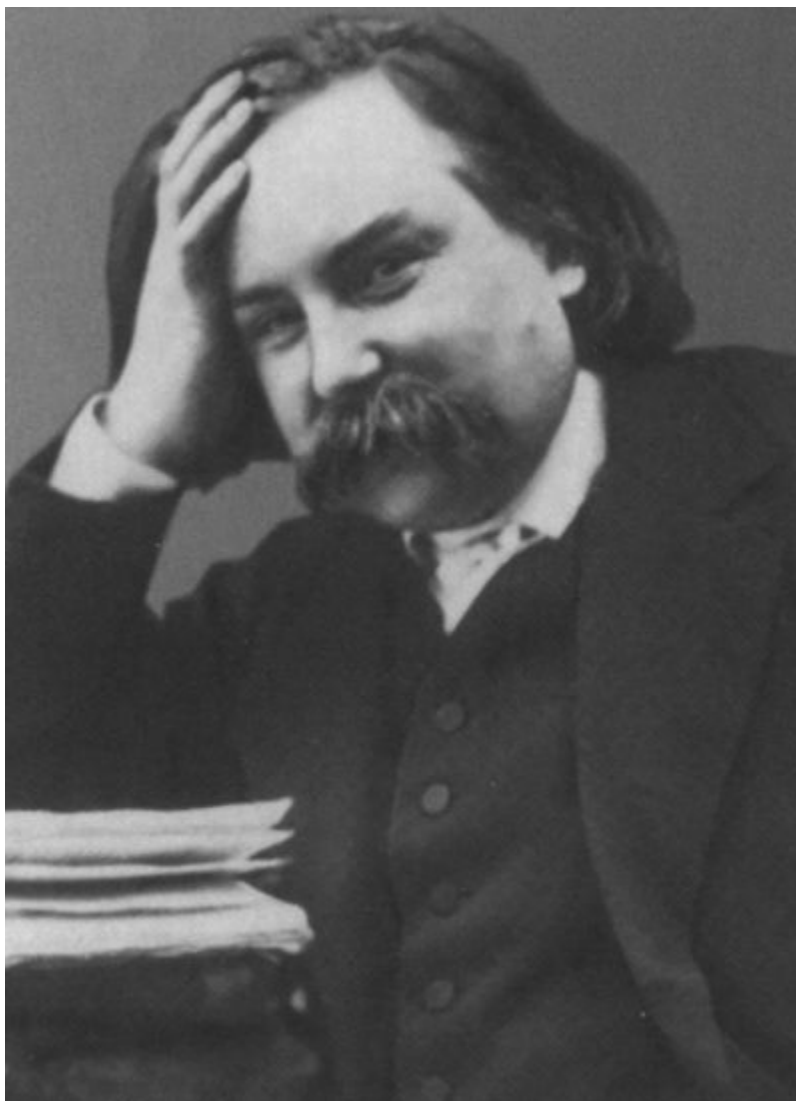


***Эрнест Пранон.***



***Филипп Шенневьер.***





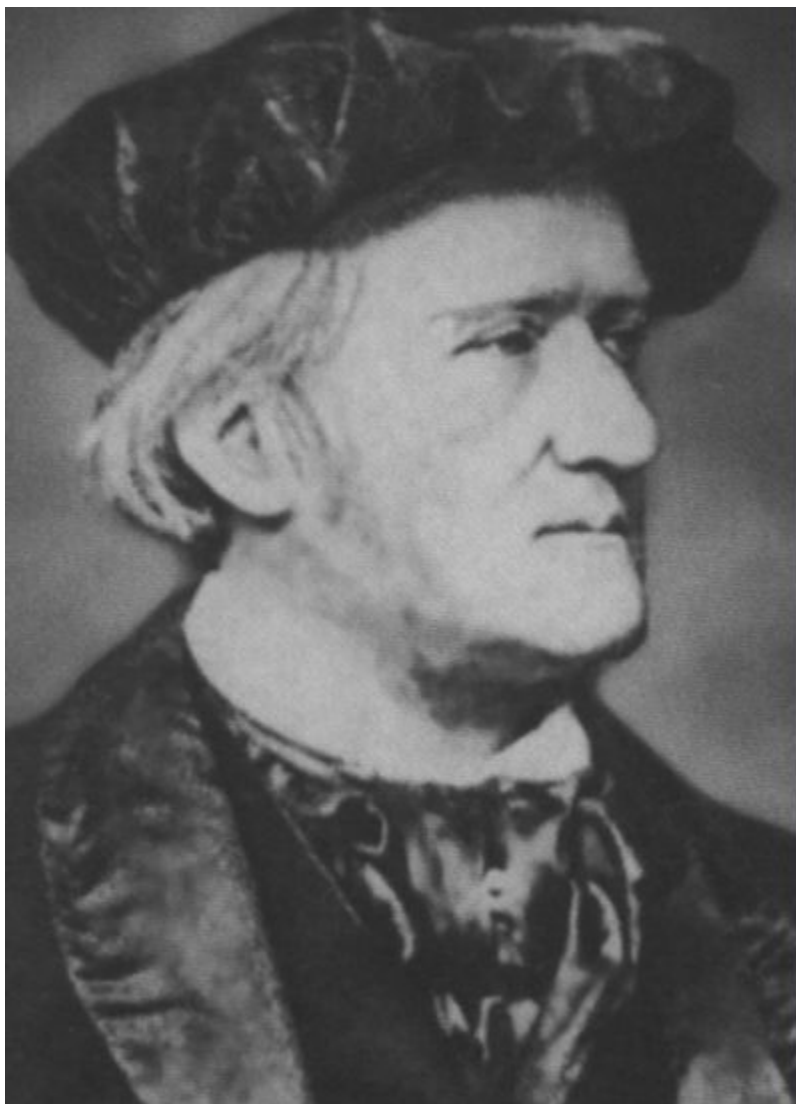
***Шарль Асселино, друг всей жизни.***



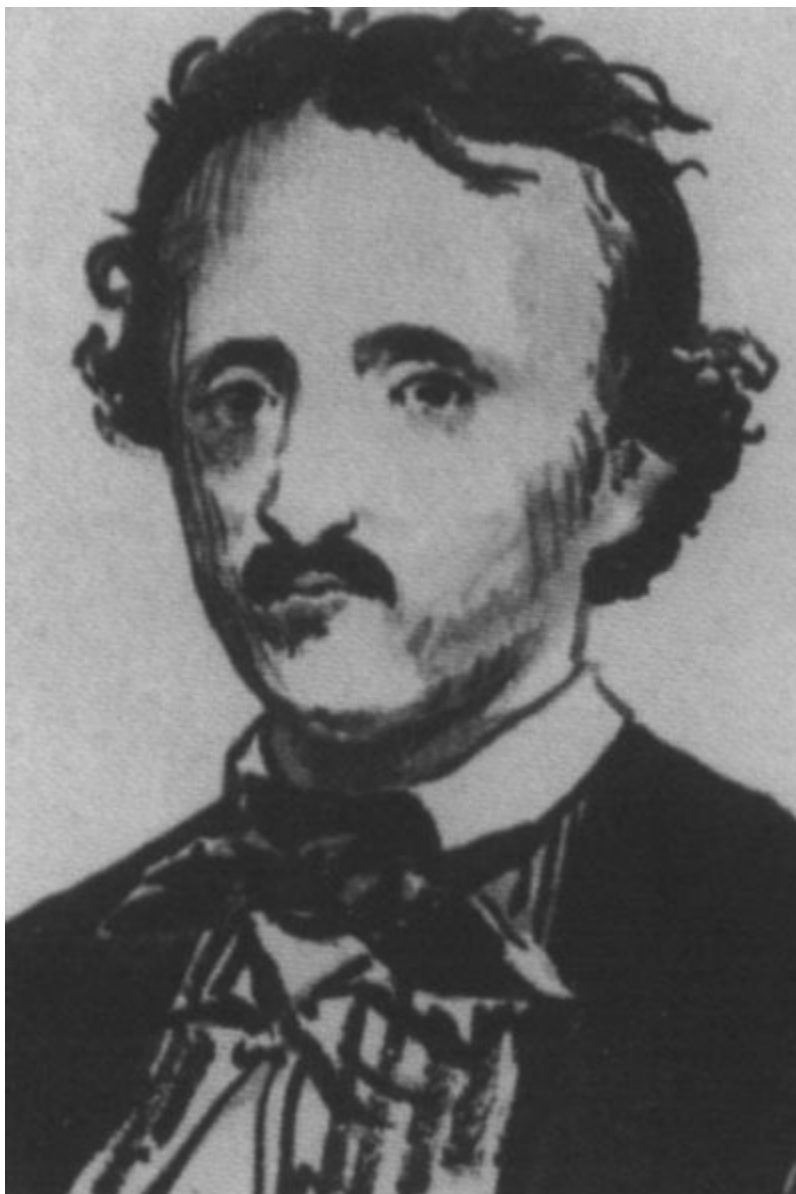
***Госпожа Отар де Брагар.***



***Порт-Луи на о. Маврикий.***



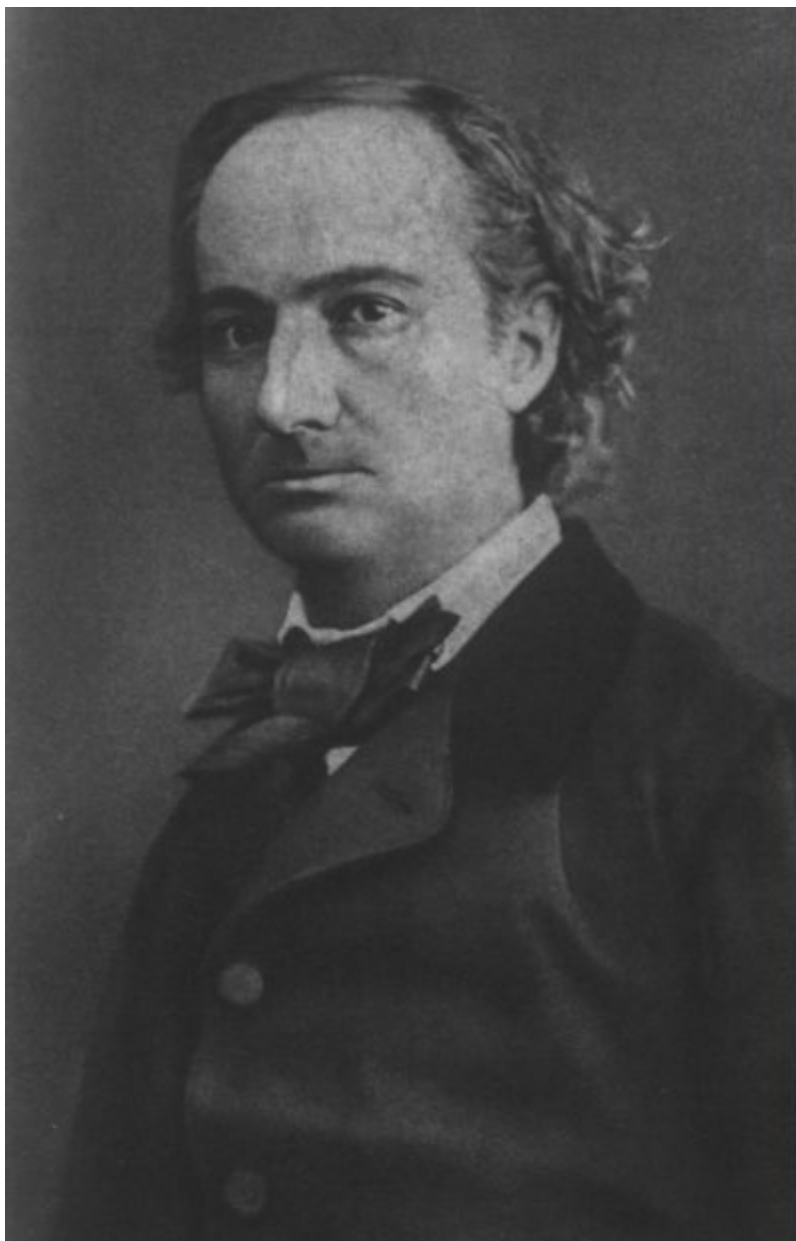
***Рихард Вагнер.***



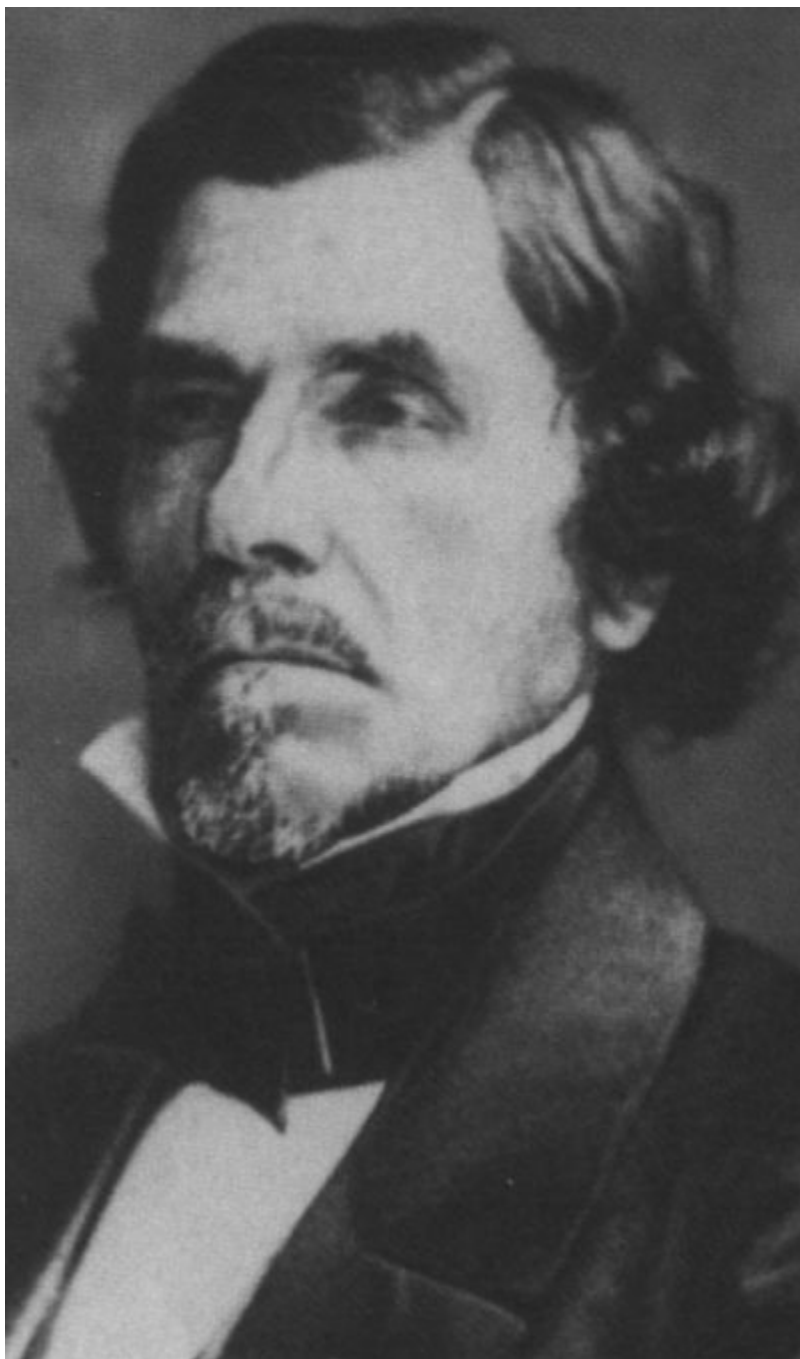
***Эдгар По.***



***Жорж Санд.***

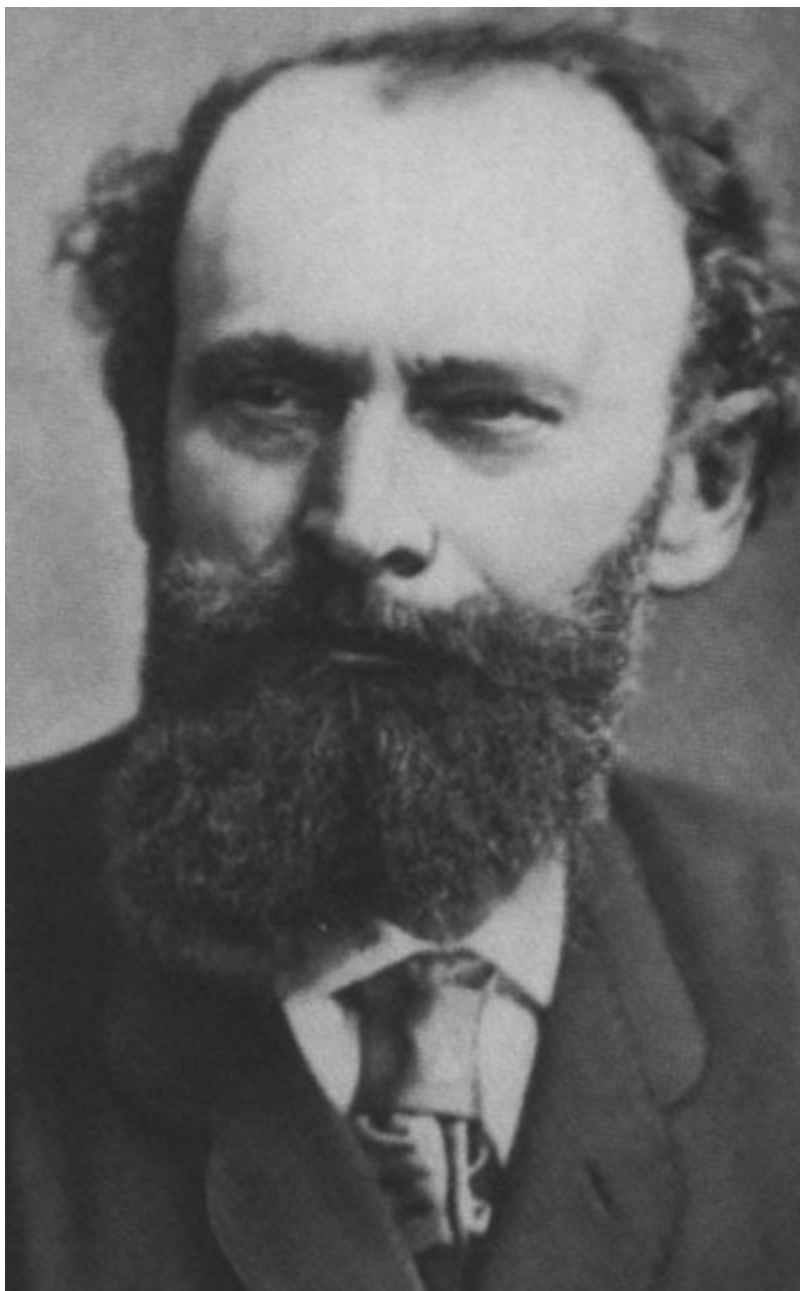


***Шарль Бодлер. Фото начала 1850-х гг.***

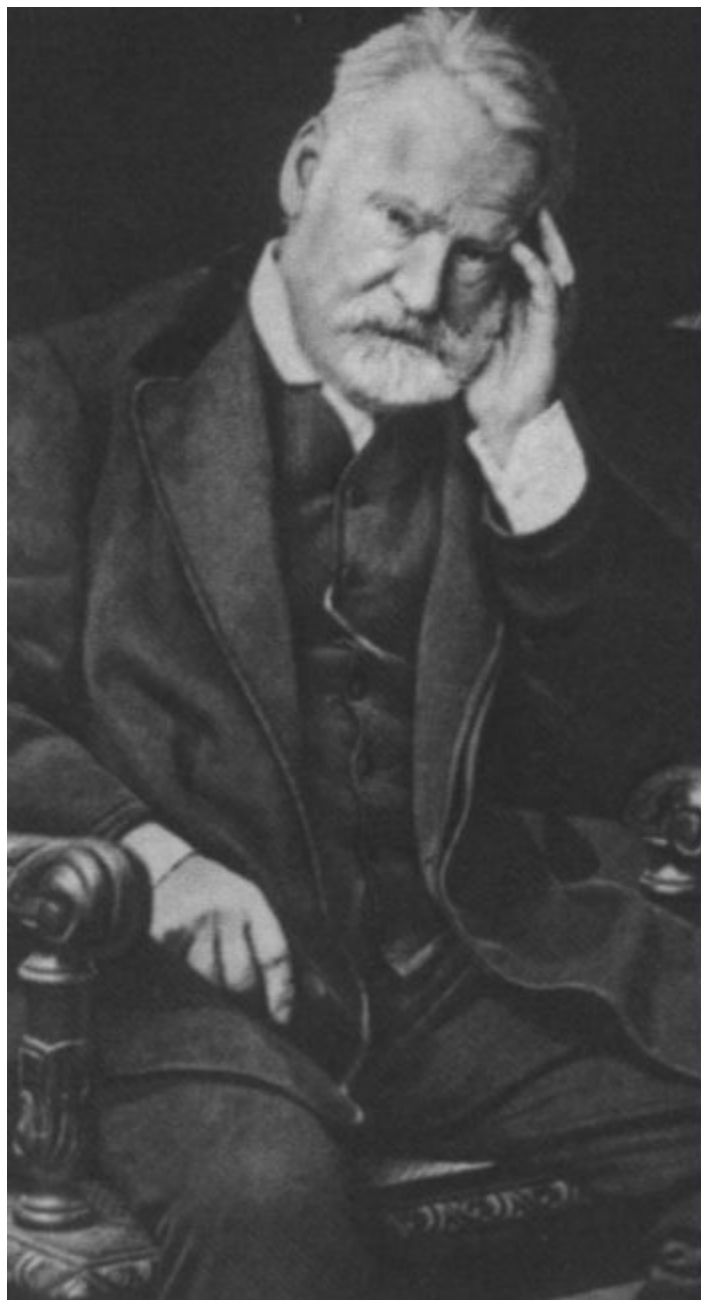


***Эжен Делакруа.***





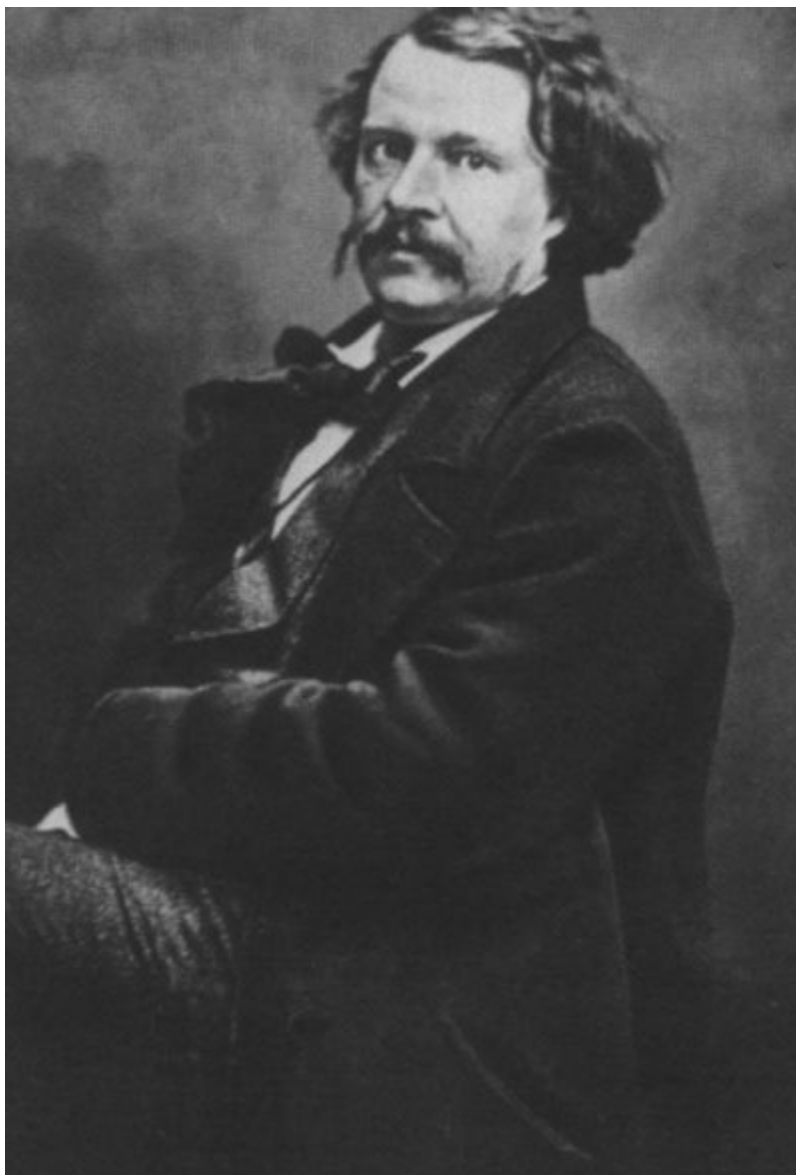
***Эдуард Мане.***



***Виктор Гюго. Фото 1879 г.***



***Гюстав Курбе. Фото Надара.***



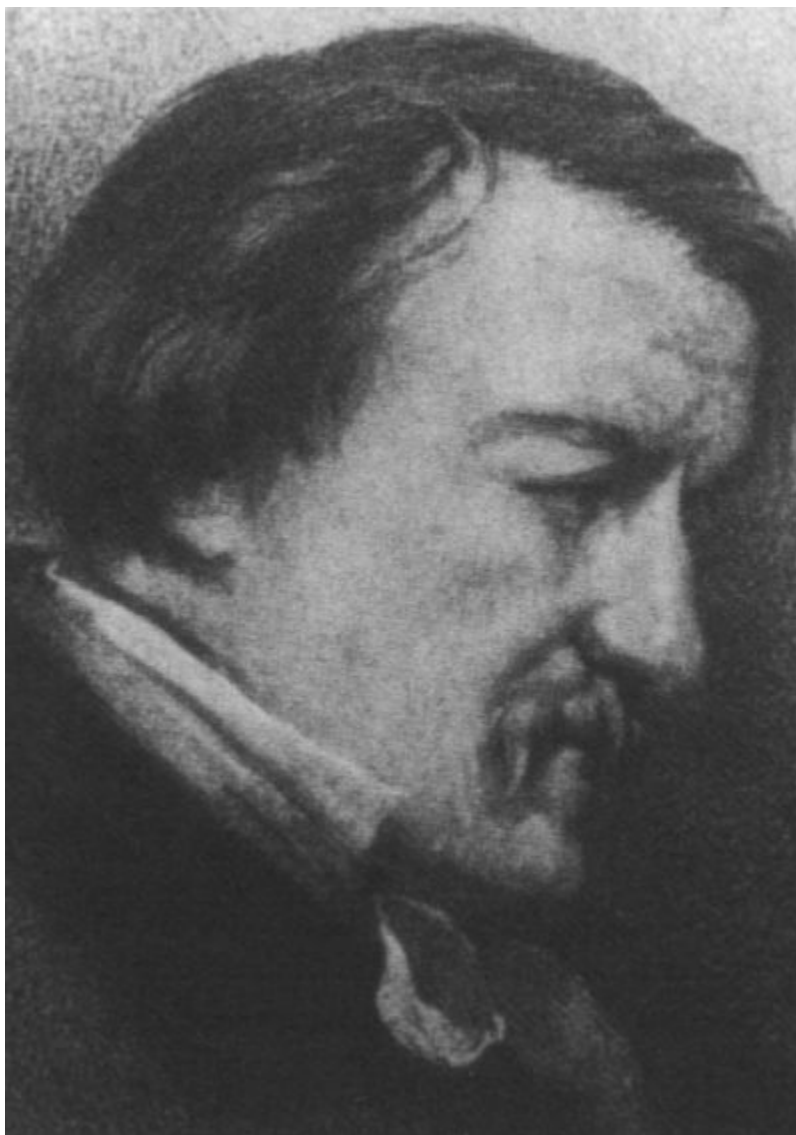
***Феликс Надар.***



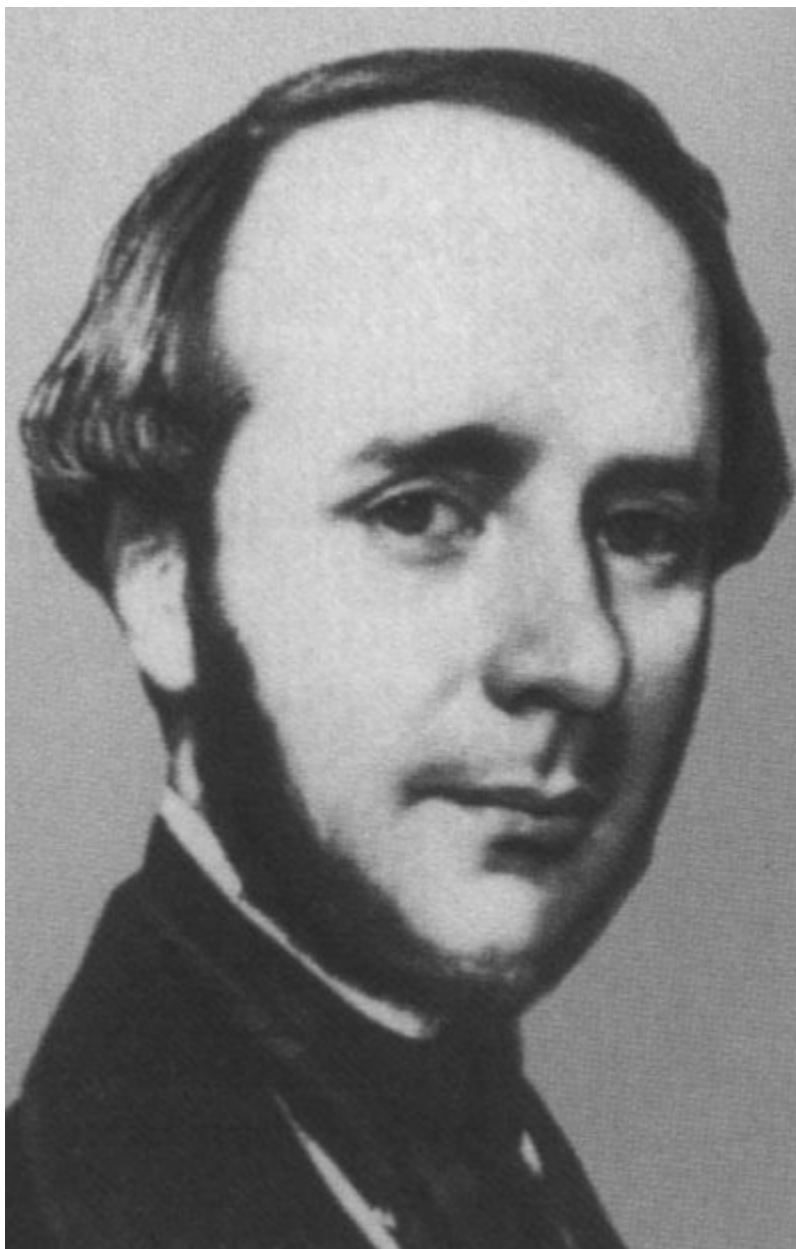
***Теодор де Банвиль.***



***Сент-Бёв.***



***Нарсисс Ансель.***



***Шанфлери (наст. имя Жюль Юссон).***





***Актриса Мари Добрюн, возлюбленная Теодора де Банвилля.***



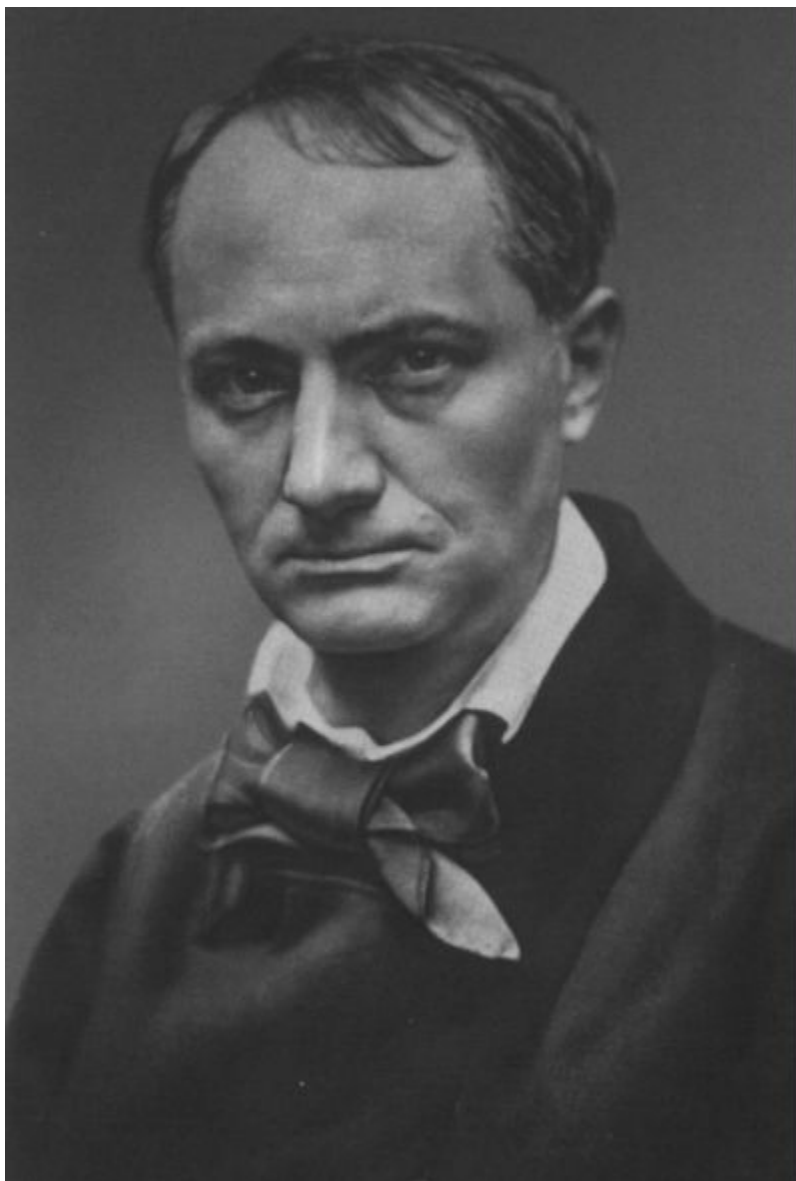
***Париж середины XIX века.***



***Госпожа Сабатье***



***Госпожа Сабатье в образе Венеры. Скульптура О.  
Клезенже. 1847. Париж, Лувр.***



***Шарль Бодлер. 1855.***



***Пуле-Маласси, издатель «Цветов зла».***

L'ES  
FLEURS DU MAL

PAR  
CHARLES BAUDELAIRE

On dit qu'il faut enlever les écorchées roses  
Dont le goût de l'écaille et du serpentin éprouve,  
Et que par les efforts le mal ennuie et  
Induit à la gloire de la généralité.  
Mais le vice n'a point pour mère la science,  
Et la vertu n'est pas fille de l'ignorance.

(FLEURS, Avertissement, Les Tragiques, III, 11)



PARIS  
FOULET-MALASSIS ET DE BROISE  
LIBRAIRES-ÉDITEURS  
4, rue de Buci.

1857

**Титульный лист издания 1857 года.**

Rêve Parisien  
à Constantin Gay

I

De ce fastueux paysage, n'en vit  
cel qui jamais mortel ne vit  
De pareil, à maten l'image,  
vague et lointain, ne savait.  
La nuit est pleine de mirages!

**Рукопись стихотворения «Парижский сон».**

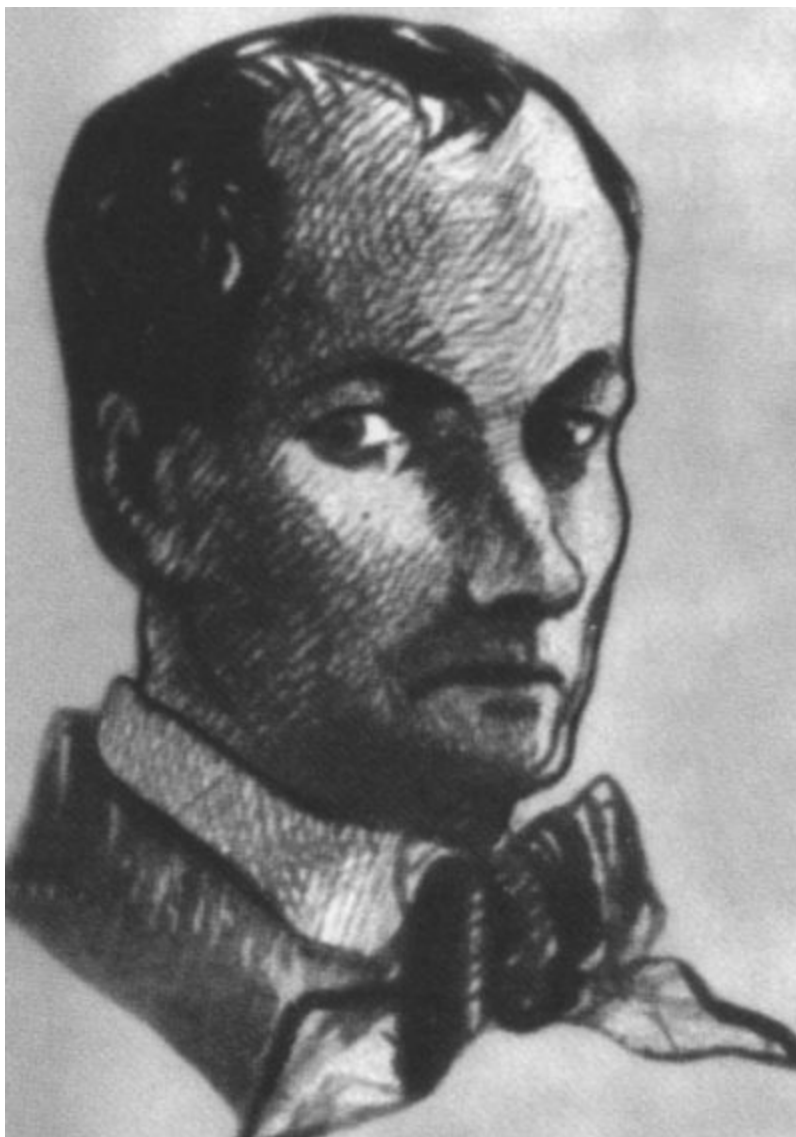




**Жанна Дюваль. Рисунок Ш. Бодлера.**



***Жанна Дюваль. С портрета работы Э. Мане.***



***Автопортрет.***



**Литография О. Редона к «Цветам зла».**



***Рисунок О. Родена к «Цветам зла».***



***Пляска смерти. Иллюстрация к «Цветам зла».***



***Иллюстрация О. Родена.***



***Смертельные объятия. Иллюстрация А.  
Рассанфосса.***



***Иллюстрация А. Матисса.***





***Иллюстрация А. Рассанфосса.***



***Девочка на кладбище. Э. Делакруа.***



***Кающаяся Магдалина. П. Бодри.***



***Собирательницы колосьев. Ж. Ф. Милле.***



***Часовая башня Парижа. Ш. Мерион.***



***Прогулка в Булонском лесу. К. Гис.***



***Полевые цветы. Ж. Л. Жанмо.***



***Вилль д'Аврэ. К. Коро.***



***Иллюстрация Э. Мане к поэме Эдгара По «Ворон» в переводе Бодлера.***





**Рисунок Бодлера к новелле «Фанфарло». 1847.**



***Автопортрет. Около 1844 г.***



***Внутренний вид церкви Сен-Лу в Намюре, Бельгия.  
Около 1860 г. С литографии Ф. Струбэнта.***



Могила Бодлера на кладбище Монпарнас в Париже.  
фото В. Никитина.



***Шарль Бодлер в последний год жизни.***

## ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА ШАРЛЯ БОДЛЕРА

**1821**, 9 апреля — В Париже в семье Жозефа-Франсуа и Каролины Бодлер родился сын Шарль-Пьер.

**1822**, 9 апреля — Рождение Аполлонии Сабатье, будущей возлюбленной Бодлера.

**1827**, 10 февраля — Смерть Жозефа-Франсуа Бодлера, отца поэта.

30 сентября — Рождение Мари Добрен, будущей актрисы и возлюбленной Бодлера.

**1828**, 8 ноября — Второй брак матери Бодлера Каролины с майором (будущим генералом) Жаком Опиком (род. 1789).

**1831**, 7 декабря — Отчим будущего поэта Ж. Опик получает перевод в Лион и забирает жену и пасынка.

**1832-1835** — Учеба в королевском коллеже Лиона.

**1836**, 9 января — Ж. Опик (к этому времени уже полковник) переводится на службу в Париж.

**1837**, 1 марта — Бодлер начинает учебу в лицее Людовика Великого в Париже. Получает вторую премию на лицейском конкурсе латинских стихов.

**1839**, 12 августа — Бодлер получает степень бакалавра.

**1840-1841** — Знакомство с Жераром де Нервалем и Оноре де Бальзаком. Нерегулярное посещение лекций по юриспруденции.

**1841**, 20 октября — Во время промежуточной остановки на о. Бурбон (в Индийском океане) Бодлер отказывается от путешествия в Индию и решает вернуться в Париж.

**1842**, 15 февраля — Бодлер получает свою долю отцовского наследства (75 тысяч франков) и снимает

отдельную квартиру. Начало связи с Жанной Дюваль, актрисой театра Сент-Антуан.

**1852-1857** — Бодлер публикует в различных периодических изданиях стихотворения из будущей книги «Цветы зла».

**1857**, 25 июня — Выход в свет «Цветов зла».

20 августа — Бодлер и его издатель присуждены к штрафу и изъятию шести стихотворений из сборника «Цветы зла».

**1860**, август — Выход в свет книги «Искусственный рай. Опиум и гашиш».

**1861**, февраль — Выход второго издания «Цветов зла» без шести изъятых стихотворений, но с добавлением тридцати пяти новых.

**1857-1864** — Бодлер публикует в различных изданиях статьи о живописи и музыке, позже собранные в сборник «Романтическое искусство».

**1864-1866** — Поездка с лекциями по Бельгии. Болезнь и депрессия.

**1866**, март — Возвращение в Париж.

**1867**, 31 августа — Смерть Бодлера.

2 сентября — Похороны на кладбище Монпарнас.

## **КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ**

### **Издания сочинений Ш. Бодлера**

Baudelaire Ch. Oeuvres completes, P., Seuil, 1968.

Baudelaire Ch. Les fleurs du mal / introd. et notes par A. Adam, P., Ed. Gamier Freres, 1961.

Бодлер Ш. Цветы зла / Подгот. изд. Н. Балашов, И. Поступальский (серия «Литературные памятники»). М.: Наука, 1970.

Бодлер Ш. Цветы зла. Стихотворения в прозе. Дневники. М.: Высшая школа, 1993.

Бодлер Ш. Цветы зла и Стихотворения в прозе / Пер. Элліса. Томск: Водолей, 1993.

Бодлер Ш. Об искусстве. М.: Искусство, 1986.

### **Работы о жизни и творчестве Ш. Бодлера**

Crepet E. et J. Baudelaire. P., 1907.

Blin G. Baudelaire. P., 1939.

Porche F. Baudelaire. P., 1945.

Ruff M. Baudelaire. P., 1966.

Starkie E. Baudelaire. NY., 1968.

Turnell M. Baudelaire. NY., 1978.

Готье Т. Шарль Бодлер. СПб., б. г.

Нольман М. Шарль Бодлер. Судьба. Эстетика. Стил. М., 1979. Сартр Ж. П. Бодлер / Пер. Г. Косикова // Бодлер Ш. Цветы зла. М., 1993. С. 318-449.

---

**notes**



## Примечания

**1**

Цветы зла, XCIX, перевод Эллиса.

Во Франции отсчет классов идет от выпускного к младшим, а не наоборот, как в России. (Прим. пер.)

**З**

Перевод П. Якубовича.

**4**

Имеется в виду Фелисите, жена Альфонса. (Прим. авт.)

Так ему кто-то сказал. (Прим. авт.)

Бартельмо — кондитер галереи Монпансье, в районе Пале-Рояль; Жиру — фабрикант писчебумажных изделий и «поставщик изысканных товаров для подарков», продававшихся на улице Кок-Сент-Оноре (ныне улица Маренго). (Прим. авт.)

Шарль-Жан-Франсуа Эно (Henault) (1685–1770) — французский драматург и историк, автор «Краткой истории Франции вплоть до кончины Людовика XVI», прозванный «президент Эно».



Один из друзей полковника Опики. (Прим. авт.)

Перевод В. Зайцева.

Перевод В. Зайцева.

На этом месте сейчас находится улица Бонапарта.  
(Прим. авт.)

Генерал Пажоль командовал 1-м военным округом.  
(Прим. авт.)

Пост охраны замка Тюильри. (Прим. авт.)

Курортное место в департаменте Марна. (Прим. пер.)

Пуля попала в кость левой ноги, выше колена. Много лет спустя она вышла наружу, что вызвало болезненный разрыв ткани. (Прим. авт.)



Коммуна в Бельгии, где 16 июня 1815 года пруссаки были разбиты французскими войсками. *(Прим. пер.)*

Перевод В. Зайцева.

Перевод В. Левика.

Перевод В. Левика.

Французский поэт и драматург (1793–1843).

Популярная песенка на слова Беранже. *(Прим. пер.)*

Перевод В. Зайцева.

Перевод Эллиса.



Перевод В. Зайцева.

Перевод П. Якубовича.

Прежнее название острова Реюньон. (Прим. авт.)

Перевод А. Энгельке.

Сейчас это здание № 22. (Прим. авт.)

Ныне улица Ле Регратье. (Прим. авт.)

Перевод В. Шора.

Перевод В. Зайцева.



Династия Помарэ царствовала на острове Таити с 1762 по 1880 год. Королева Аимата («Помарэ IV»), известная своим легким поведением, из-за благосклонности к протестантскому миссионеру чуть не вызвала конфликт между Францией и Англией. (Прим. авт.)

Иллюстрированная книжица, дарить которую на память было модным в эпоху романтизма. (Прим. авт.)

«Незабудка». (Прим. авт.)

В 1845 году Бодлер уже опубликовал чудесный мадригал «Даме креолке». (Прим. авт.)

Перевод М. Квятковской.

Намек на генерала Опика. (Прим. авт.)

Франсуа Понсар (1814–1867) — французский драматург, автор пьес в стихах, возглавил антиромантическую школу в драматургии. (Прим. пер.)

Сейчас — улица Альбер-Тома. (Прим. авт.)



Перевод Эллиса.

73-летняя мать Жанны была похоронена на кладбище в Бельвиле (рабочий квартал Парижа, 20-й округ). (Прим. авт.)

Настоящее имя: Аглая-Жозефина Саватье. (Прим. авт.)

Перевод В. Микушевича.

Перевод Н. Анненского.

Перевод В. Левика.

Перевод Эллиса.

В гостинице «Марокко», на улице Сены, где Бодлер тогда обитал. (Прим. авт.)



Перевод Эллиса.

Перевод А. Эфрон.

Изданы посмертно, в 1868 году. (Прим. авт.)

В ту пору: глава правительства, что соответствует премьер-министру. (Прим. авт.)

«Хмель убийцы», «Отречение святого Петра» и два других стихотворения из раздела «Мятеж» под запрет, к счастью, не подпали. (Прим. авт.)

Выражение, употребленное Бодлером в его письме к Пуле-Маласси от 9 октября 1857 года. (Прим. авт.)

Соответствует 192 страницам журнала. *(Прим. авт.)*

Отец юмориста Альфонса Алле. *(Прим. авт.)*



Перевод повести Лермонтова, осуществленный  
Ксавье Мармье и опубликованный Мишелем Леви.  
(Прим. авт.)

Устарелое французское слово «gouge» имеет два значения: 1) прислуга; 2) проститутка. Русский переводчик стихотворения сумел обойтись без этого слова. (Прим. пер.)

Ныне пассаж Принцев. *(Прим. авт.)*

Автор этого описания, по-видимому, князь Урусов.  
(Прим. авт.)

Служанка, ухаживавшая за ним, когда он был ребенком. *(Прим. авт.)*

Все произведение было опубликовано после кончины Бодлера в книге «Романтическое искусство». (Прим. авт.)

Эжен Скриб умер 20 февраля 1861 гола. (Прим. авт.)